

Дмитрий Глуховский



регистрация

роман

Страницы автора в Сети



Instagram



Facebook



X (Твиттер)



Сайт автора

Дмитрий Глуховский

регистрация

роман

Издание второе
исправленное и дополненное

2026

1.

Почему Ульяна тянула?

Потому что страшно было, вот почему. Потому что было лучше не знать, чем знать: пока наверняка не знаешь, можно еще старой жизнью пожить, своей собственной. Просто надо было как-то тревогу отгонять, как-то отвлекаться — в свободные минуты рилсы или тиктоки скроллить, болтать с Кристиной — а по вечерам, пока макары себе варила или картоху жарила, на громкой связи включать радио-маму: что там соседки, что там в магазине, что там в огороде. Потом сериальчик, потом душ-кипяток, потом жужжалкой себя пощекотать, потом брык — и в черноту. А там еще один такой же день, и те же люди, и так же можно убить время.

Может быть, если подождать, оно само рассосется. Надо только не думать про него: вот как оно туманом или тенью болтается где-то рядом, так пусть там и болтается. Имени ему не давать, не вызывать его. Просто потянуть время. Ему надоест, и оно пройдет.

Но оно не проходило.

Как бы Ульяна ни старалась его не пускать, как бы от него ни откручивалась, оно сгущалось потихоньку все равно. Что-то загуствовало у нее в животе и одновременно — зеркально животу — тяжелело в солнечном сплетении: опухоль не опухоль, рана не рана, не предчувствие, а уже понимание. Догадывалась Ульяна, каким будет ответ, и потому так боялась задать вопрос.

Но там-то все равно тикало, секунды тянули минуты, минуты — часы, дни перещелкивали, и накапливалось, накапливалось. Об этом думать было нельзя, а ни о чем другом не получалось.

Ульяна все вспоминала разы — последний, предпоследний. Спрашивала себя, как могло так получиться, вроде же они осторожничали. Но не все в памяти возвращалось — были провалы, были спиртом заблюренные ночи, из которых сохранялись только короткие вспышки, и неясно даже было, это сны она вспоминает или такую дикую явь.

Считала дни, пересчитывала, но из этих счетов ничего понять было невозможно: Ульянино тело все было разболтано, разрегулировано, никогда нельзя было надеяться на его пунктуальность, вечно у нее то так, то сак — особенно после того, как она таблетки забросила. А зачем забросила-то? Дура.

В голове у нее стал кисель, и воздух стал кисельный, и через этот холодный кисель она еле плыла. Ульяну спрашивали о чем-то люди: клиенты, начальник, Кристинка, мать, а до Ульяны доходило медленно и отвечала она туго, потому что через кисель звук трудно проникал. Холодный кисель этот был страх.

Тянула, потому что знала: надо будет принимать решение. А одной ей решение принять было невозможно.

Сколько раз брела мимо аптеки и смотрела на крест, и не могла заставить себя зайти. Но в одно утро проснулась и поняла четко: сейчас встанет, умоеется и пойдет. Может, это во сне что-нибудь такое было — ночная Ульяна скомандовала себе дневной дальше не откладывать, а об отданном приказе по пробуждении забыть. Или просто стало ясно, что пора резать нарыв. Ульяна поднялась, кашу себе сварила, сыпанула туда себе побольше сахара для решимости и потопала в аптеку — не в свою обычную, а в чужую. Не глядя аптекарше в глаза, попросила тест. Вернулась домой, сделала.

Ну что, две полосочки.

• • •

Татьяна клеила обои. Обои были с орнаментом: еле заметными силуэтами листьев, вроде акации. Бежевые, бледные, безмятежные. Можно было в дурдоме такие смело клеить, чтобы буйных утихомиривать. Виталья стоял на стремянке, на верхней приступке балансировал, светя Татьяне в глаз желтым ногтем через дырку в носке, и вдавливал в белый клей верхний край рулона, а Татьяна раскатывала потихоньку рулон вниз, разравнивала его, теснила наружу воздушные пузыри, чтобы все было ровненько.

Виталья сопел и матерился, ему было вверх стремянки не по себе, колени у него дрожали. Татьяна-то, хотя ростом и доставала Витале едва по грудь, смогла бы залезть на самую верхотуру и стоять там твердо и хладнокровно, но доверить Витале разглаживание обоев было невозможно. Руки у него были неверные, и он совершенно точно бы раскатал рулон криво, перемазал бы уже поклеенное и уничтожил бы весь труд. Он так уже делал, был за это руган и бит и тем не менее грешил снова, покуда не был отстранен.

Обоев на гостиную хватало еле-еле: лучше уж купить подороже и поменьше, чем подешевле и с запасом, так Татьяна решила. Слишком долго ждали этого ремонта, этой квартиры. Всю жизнь, получается, ждали. Так что сейчас компромиссов не хотелось, сейчас хотелось шиковать. Кто знает, будет ли у них еще когда-нибудь ремонт. Не будет уж теперь, наверное.

Татьяна шпателем гнала пузыри к краю, листья акации прижимались к побеленной стене, и с каждым взмахом становилось лучше. Становилось ровно, становилось чисто. Жизнь наконец слушалась Татьяну. Подчинялась ее дутым пунцовым, словно ошпаренным, рукам, приглаживалась, строилась рядами.

И даже Виталья, который делано страдал под потолком, набивая себе цену, чтоб этот калым ему зачелся в какую-нибудь будущую поблажку, особо не раздражал — пока стоял, пока дер-

жал, пока Татьяна раскатывала полосу за полосой по гостиной этот умиротворяющий бежевый лес.

Нужна была работа. Надо было что-то делать. Что можно делать — то делать и нужно. А чего не сделаешь — того и не сделаешь.

Виталья заныл, запросился по нужде. Татьяна пригрозила ему, чтоб не рыпался: жди до конца рулона, не вздумай мне тут. Известно, что будет — запрется в сортире, будет курить. Но и совсем уж тиранить его было нельзя, болезного.

Бежевая полоса встала в ряд бежевых полос, последние пузырьки вышли из нее, как из утопленника, и Татьяна взялась за ножку стремянки: слазь, ладно.

Виталья заперся в туалете и, конечно, засмолил, а Татьяна прошла в кухню. Кухня пока что выглядела так, как будто ее после бомбежек восстанавливали: линолеум еще драный, а кафель уже положен красивый, одна стена зашпаклевана, а другая ободрана и в трещинах, стол и табуретки временные, из досок, а раковина уже куплена стоит.

Делали так: что из оплаченного приходило, за то и хватались. Квартира была от этого похожа не то на цыганскую хату, не то на наркоманский притон, но через раздрай и грязь постепенно проступало светлое будущее: Татьяна с Виталей заделывали старое новым, закрашивали плесень белым, заклеивали рванину бежевым. Чужая квартира, обшарпанная и загаженная, но трехкомнатная, семидесятидвухметровая, полоска за полоской перекрашивалась в собственную, в которой и спальня будет своей спальней, и у детей наконец будет по комнате.

Татьяна смахнула крошки со стола, пригладила полотенца, поставила чайник на газ. Села напротив Сашкиного иконостаса, который занимал чуть не весь подоконник. Посмотрела на сына.

Тут было три фотографии: на первой он в школьной форме стоял с букетом цветов, букет его перевешивал. В первый класс пошел, белобрысенький, худющий, с вытаращенными глазами,

с испуганной улыбкой. На второй фотографии он уже после техникума — сидел с бабушкой, Татьяниной матерью, на скамейке подле ее дома, приобняв свою *баушку* загорелой рукой. За спиной — обесцвеченные временем доски, с краю в снимок лезут яблоневые ветви, на лице тень и солнечные зайчики, лучи через листву пробились. *Баушка* склонила голову к нему, улыбалась морщинисто, а у него глаза были закрыты: камера не в тот момент щелкнула, а переснимать уже ему стало лень. На третьем снимке Сашка стоял в военной форме, и этот снимок был самый свежий, двухмесячной всего давности, поэтому он на нем был больше всего на себя похож, но и меньше всего похож на себя тоже. Тут была на нем наклеена та же испуганная улыбка первоклашки, еле держалась, спина тоже была сгорблена как от набитого учебниками рюкзака, хотя и не было никакого ранца на этой фотке, и из-за того, что башка была обрита, уши торчали лопухами. Рядом стояли, взяв Сашку под локотки, Виталя и сама Татьяна. Все глядели прямо в объектив: Виталя глупо, Сашка растерянно, Татьяна твердо.

Этот подоконный триптих был окружен зарослями герани, и тут же, среди зелени и цветочков, торчал нос фаянсового гнома в красной шапке, словно гном сидел в засаде.

Татьяна взяла детское Сашкино фото, протерла полотенцем стекло: было чисто, стали жирные разводы. Засмотрелась, не сразу услышала, как чайник засвистел.

— Кипит ведь, Тань! — из туалета крикнул Виталя.

— Не глухая! — ответила ему Татьяна и очнулась.

Вернула маленького Сашку на место, вздохнула — не для звука, а просто чтобы грудь разжало, и стала разливать кипяток по кружкам, мазать батон, кромсать докторскую: пусть перерыв уже тогда.

Виталя рефлекторно поискал глазами пиво, но нашел только черный как чифирь чай, уткнулся своими водянистыми глазами в Татьяну, спорить не стал — сам знал, что для пива время еще не

настало, лучше о нем и не заводить разговора. Ожегся кипятком, поморщился, ожегся снова и зажевал упругую, такого розового цвета, будто нарисованную детским фломастером, колбасу.

— Позвонить бы, Тань.

— Я звонила. Они ничего по телефону не хотят говорить.

— Дак сходила бы.

— Слушай-ко. Вот ты б и сходил бы! А то все меня посылает.

— Да я-то что там? Кто меня там послушает? А ты хоть шороху наведешь. Они матерей боятся.

— Шороху... Конечно. Да там таких матерей у них — хоть жопой жуй.

Помолчали, прихлупывая. Надо было, конечно, идти — Сашкин телефон молчал уже третью неделю, материнские причитания висели с одной галкой, недоставленные.

От чавканья молчание сделалось более слышным и тягостным. Татьяна включила тогда телевизор, чтобы он их заболтал, пока жуют. Телевизор зажегся синим, завелся с пол-оборота:

— Боевая работа. Начался взлом последней линии обороны ВСУ в Донбассе по линии Краматорск — Славянск — Константиновка. После того, как наши войска завершат прорыв, им останется преодолеть только естественную преграду — Днепр. Тем временем в ночь с четверга на пятницу наша авиация продолжила наносить удары в глубоком тылу противника по объектам военнотранспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ. На этих кадрах видно поражение дамбы тяжелой авиабомбой «ФАБ-500».

Виталья устался в телек, засосало мгновенно, и с колбасой дело сразу поживей пошло. Холеный ведущий расхаживал по студии на фоне огромного панорамного экрана, который показывал изъеденную и расковырянную украинскую землю глазами не то птицы, не то бога. Ведущий взмахивал рукой — и внизу, по мановению его пальцев, лопалась материя и гибли насекомые-люди, расцветало пламя и набухали клубы черной гари.

Виталья удовлетворенно подпрыгивал каждому удару. Татьяна глядела напряженно.

— Сегодня домой из украинского плена вернулись сто восемьдесят семь наших бойцов. Это произошло в результате обмена на такое же число боевиков ВСУ.

Потекли кадры из автобусов, в которых возвращались в Россию пленные — откормленные, но припухшие и как будто зарезанные. Татьяна сделала громче, припала к телевизорному стеклу, чтобы ни одного лица не пропустить. Чужие все были хари, чьи-то чужие мужья и сыновья посторонние. Надо было бы Татьяне порадоваться за их матерей, а получалось только злиться. Повезло этим-то: нашли, признали, поменяли. Этим-то повезло... А Сашки среди автобусных лиц не было. Несправедливо.

— Не надо было хохлов возвращать, — вдруг произнесла очень четко Татьяна. — Нельзя. Они ведь, это самое, ничего не поймут, выводов не сделают. Назавтра же обратно наших ребят убивать пойдут.

— Ну а как? — спросил Виталья.

— А вот, — Татьяна пожала круглыми плечами. — В расход их, да и все тут.

• • •

— Спа-салон «Седьмое небо», добрый день, — в трубку сказала Ульяна. — Да, массаж делаем. Джакузи, сауна, солярий. До одиннадцати. Нет, ночью не работаем. Нет. Ага, все тогда, ждем.

Положила трубку, посмотрела на Кристинку. Та, с ногами на фиолетовом дерматиновом диване, утопла в телефоне. Над диваном растянут был на стене напечатанный на брезенте тропический остров — сахарный песок, покосившиеся пальмы и химического синего цвета, как будто плотно прохлорированный, океан. У океана стояли пустые шезлонги, приглашая Ульяну с Кристинкой раздеться и загорать, а потом бежать купаться. Тут столько

было белых крупинок на этом острове, сколько в песочных часах за годы скучной Ульяниной работы медленно осыпалось. Краски в раю уж выдохлись, побледнел океан, солнце выгорело, и установилось невеселое понимание, что волшебный остров сфабрикован в фотошопе и что попасть на него из этого подвала нельзя будет никогда.

— Крис! Покурим? — предложила Ульяна.

Кристинка, не отрываясь от экрана, кивнула и спустила ножки. Она была маленькая, ладная такая брюнеточка с челочкой, как у мультяшных пони, дочерна закопченная в их бесплатном солярии. А руки у нее были сильные, и застывшие мышцы они мяли легко, как котлетный фарш.

Они поднялись по ступеням, вынырнули из экваториального безвременья подвала в солнечное и прохладное вологодское лето. Достали электронки, стали ими дышать: у Крис была с клубникой, у Ульяны дынная.

По Лермонтова тархтели иногда машины, за дорогой текла густая и медленная, как сгущенка, река; в сгущенку влипли речные трамвайчики, на трамвайчиках пили пиво и смеялись. По ту сторону в сочной зелени белела Успенская церковь с гроздью мелких куполов, и каждый купол отдельно тянулся к небесам своим собственным крестом.

Над входом в их подвал была вывеска «7 НЕБО».

Салон как будто бы прятался во дворах, но на деле располагался стратегически: район был непростой, хотя по виду казался зеленым, пустым, пыльным и сонным. Под его крышкой самые разные провода вологодской жизни сплетались в клубок, и в клубок — как попало, без логики — тут спутывались названными в их честь улицами эпохи и Вологды, и всей страны.

Успенская церковь стояла на набережной не своего имени, а имени какой-то Шестой армии, а Пречистенская набережная была ровно напротив, через реку, и на ней стояла больница МВД. За церковью шел областной наркодиспансер, а у больницы МВД

были раскиданы низенькие университетские корпуса. Тут же были и горадминистрация, и нарядный мемориальный дом, где Варлам Шаламов то ли родился, то ли умер, и тут же огромный Ленин в свободном, как у эксгибициониста, плаще на огромном, как надгробье великана, гранитном постаменте, и Казанская церковь, и проспект Победы, и улица Мира, и церковь Иоанна Златоуста, и улица Марии Ульяновой, и площадь Возрождения, и Комсомольский сквер, и Пушкинская улица, и Галкинская улица, и венерологи, и мясные рестораны, и управление по делам миграции, и шаурма, и барбершопы, и суши-бары, и пельменные, и песочный памятник Героям революции, и мрачная бронзовая Девочка с мороженым и котенком, и «Мир забытых вещей», и кафе «Гагарин», и кафе «Парижанка», и Музей кружева, и развлекательный центр «Зазеркалье», и Управление по контролю за оборотом наркотиков, и церковь Зосимы и Савватия, и спа-салон «Седьмое небо».

История заносила Вологду названиями, как речным сором, как илом, от каждого времени застревало на мели, путалось в придонных корягах что покрупнее, налипало и оставалось тут уже навсегда, названия приживались, а смыслы забывались, имена бывших врагов срастались, спаивались ржавчиной и друг другу в своем беспамятстве больше не противоречили.

Все учреждения размещались в дореволюционных двухэтажных особняках, выкрашенных в цыплячий желтый и грязный белый, все церкви были подлатаны, все дороги — широки, растресканны и пусты, деревьев было больше, чем домов, и больше, чем людей, прозрачное небо начиналось сразу же, как заканчивались кроны, и растрепанные облака ездили вологжанам чуть ли не по головам.

Кристинка дописала сообщение и сунула телефон в карман. Затянулась, зажмурилась.

— Ну че там? — спросила Ульяна.

— Короче, ну повел меня в «Золотой дракон» рядом с Драмтеатром, это суши который, назаказывал там — и филадельфия,

и калифорния, и с угрем до кучи, смотрит на меня такой гордо, оценю я или не оценю, что он такой весь из себя благодетель, самобранку, типа, раскатил, а я чисто с лососем поклевала, чтоб особо не охуевать, ну и пусть думает, что я по жизни бюджетная... Пришлось ему самому всю филадельфию доедать, чуть не лопнул, но доел дочиста, бедняга, сразу видно: голодное детство. Ну и потом он такой: хочу пригласить на прогулку вдоль набережной, а я думаю — вот мне только вдоль набережной не хватало, сейчас я там знакомых рож насмотрюсь, а они меня... И все, пиздосики.

Кристина засмеялась, и Ульяна засмеялась тоже. Кристина смеялась клубнично, Ульяна дынно. А от обшарпанного больничного корпуса тянуло карболкой, а от реки — тиной.

— Ну вообще-то он как? Норм?

— Ну как «норм»? Он на той неделе знаешь что мне говорит? Говорит: ну ты скажи, если тебе что-нибудь будет нужно. Ну я, конечно, киваю, а сама думаю — ну вот что это за вопрос? Если тебе что-нибудь будет когда-нибудь, вдруг... Женщине нужно все и всегда! Все и всегда! А ты должен это понимать, если ты адекватный мужчина. Ты же вот хочешь, чтобы я была киска, чтобы я вся плыла и сияла, а где мне на это брать ресурс, если я впахиваю с утра до ночи? Я не хочу быть бабой-Рэмбо, я хочу плыть и сиять! Ну я не права?

— Плыть и сиять было бы супер, — усмехнулась Ульяна.

— А у тебя-то как? Нету новостей?

— Не-а.

Ульяна обняла себя: стало зябко. Не было сейчас у нее сил делиться своими новостями. Не хотелось ни сочувственных вздохов, ни советов, ни участия; надо сначала было с самой собой разобраться, что это за новости вообще.

Это все происходило не так, как она рассчитывала.

Под Новый год ее Тикток завалило гороскопами на Козерогов, с ее асцендентом в Скорпионе звезды обещали ей серьезные перемены, чудесные превращения и другую совсем, новую жизнь.

Ульяна механически лайкала, загипнотизированная, а Тикток подсекал, подхалимничал и тут же подкидывал ей новые многозначительные намеки: седые тарологи и астрологини в бикини наперебой прорицали ей трансформативный год.

И вот — осуществилось. Но как осуществилось.

Сколько лет она воображала себе, как в ней однажды заведется маленький человек, наполнит ее собой, все осмыслит за нее в ее этом бесцельном валанданье в вологодской тухлой сгущенке; как направит Ульяну, на следующий уровень игры ее переведет, на следующий уровень реальности. Потому что на нынешнем уровне Ульяна все постигла и ничего хорошего, да даже хотя бы и просто интересного, от него уже не ждала.

Этот уровень оказался заколдованным. Тут выше головы было не прыгнуть никак. Зарплата была шестьдесят тысяч, ну иногда чаевые, но о повышении в непростые нынешние времена даже и заикаться не стоило. На эти, ладно, допустим, семьдесят, если вместе с чаем, тысяч можно было что? За квартиру, за коммуналку заплатить, еды купить, особо не шикуюя, шмотку раз в месяц какую-то, в баре раз в две недели посидеть с подругами — по коктейлю, ну и чуть-чуть отложить — на телевизор с экраном побольше, на телефон помодней, на морюшко. Море, правда, оставалось несбыточно, потому что все на него накопленное каждый раз как-то спонтанно и бездарно прожигалось. Хорошо еще, в салоне ноготочки по дружбе можно сделать и солярий фришный.

А чем же Ульяна жила? Вот этим, получается, и жила — отбывала работу, как срок, ждала зарплату, мечтая будто бы то о кружевном белье, то о новом «Самсунге», а на самом деле — о себе в кружевах, о другой Ульяне, восхитительной и неодолимо соблазнительной, или о себе с последней моделью телефона, о классной новой Ульяне, на которую сразу, стоит лишь его выложить в кафе на столик, обратят внимание совсем другого, высшего сорта мужчины. Выходит, что на самом деле Ульяна жила затянувшимся ожиданием судьбоносной встречи, а всеми этими

покупками просто приближала себя к ней, подстегивала судьбу. Они были как лотерейные билеты, которые приходилось сгребать пачками, чтобы повисить шансы на джек-пот.

Но и топы, и туфли, и наушники, и телефоны все оказывались пустышками: время и силы они забирали, а поменять в Ульяниной жизни ничего не могли. Под наростом вещей Ульяна оставалась сама собой, не расколдовывалась, от платьев в диснеевскую принцессу не превращалась, только еще больше прокисала и выгорала, копя разочарование и все более пристально разглядывая себя в вогнутое косметическое зеркало, которое раздувало каждую из ее ранних морщинок — и ее страх перед вжикающими мимо годами.

Застряла.

Застряла в этом ненастоящем настоящем, в зоне ожидания, где время бесило и где не жаль было убивать его сериальчиками и рилсами, проматывать его от зарплаты к зарплате, от одной модели телефона до другой, пока не найдется среди них тот волшебный гаджет, по которому ей позвонят и наконец вызовут в будущее.

Так. А каким Ульяна себе это будущее вообще представляла?

Ну... Наверное, таким рекламным роликом, типа ипотечно-го. Из постеров нарезанные и клипом смонтированные образы: мама-папа-я, все улыбаются. Квартира побольше. Еще собака чтобы — или такса, или далматин. Обнимашки там семейные перед широким экраном, под пледом. Отдых вместе, на острове вроде их подвального, только чтоб краски поярче. Милота всякая, в общем. Счастье.

Когда Ульяна видела пары с детскими колясками, заглядывалась на них, голова сама поворачивалась. Такое вот тоже представляла себе: прогулки втроем в парке, в одной руке мороженое, в другой коляска красивая, а в коляске кто-то гукуает. Мальчик или девочка? Когда девочка, а когда мальчик.

И хотя замужние одноклассницы, перестав жаловаться на одиночество, после короткой паузы принимались жаловаться на мудил-мужей, и хотя у самой Ульяны отец отсутствовал — сначала бросил их с матерью, потом женился на другой, потом спился, а потом и вовсе сгинул, — это все в Ульяниных глазах идею замужества никак не дискредитировало. Ну, была, допустим, вокруг тысяча примеров неудачного брака, но какое отношение она имела к мечте об обнимашках под одеялком, о сладком безделье при деловом и желательно немногословном муже и о гугукающем малыше? Никакого. То жиза, а то сказка. Верить-то в сказку надо!

Ну да, Ульяна хотела этого: а чего еще хотеть нормальному человеку?

Но вот с кем это все? От кого?

Как объяснить... Вот иногда в фотостудиях ставили такие ширмы — пираты на них были намалеваны или там красноармейцы, а вместо лиц были проделаны круглые прорезы, чтобы в эту прорезь сунуть голову и так сфотографироваться. Вот и у Ульяны такая ширма всегда имелась с собой. Она сама там была нарисована счастливая и красивая, а рядом с ней две фигуры, мужская и детская — вакантные, безликие. Начинала с каким-нибудь встречаться — подставляла его туда. Иной раз вроде получалось неплохо, смотрелись. Потом пробегала между ними кошка, и приходилось кандидата из ширмы выковыривать и выбрасывать на свалку истории. Кандидат иногда головой застревал, не отдирался, рвалась счастливая ширма на куски, Ульяна плакала, но проходило время, она заклеивала кое-как разрывы на своих мечтательных рисунках, заново обретала веру в любовь и в возможность счастливого будущего и за руку подводила нового, пока что интересного и перспективного парня, к этой своей ширме — на примерку. И, хотя много сказано в диснеевских мультфильмах и турецких сериалах о том, что надо ждать единственного, избранного, к ширме Ульяниного счастья подходили многие.

И даже Сашина лопухая голова в это отверстие пролезла.

Ульяна пропустила Кристинку в подвал вперед себя, а сама еще задержалась на поверхности — внизу мобильный ловил плохо. Пыхнула еще раз клубникой, разблокировала экран, зашла в последние набранные. Там уходила вниз, как лестница из скоб на дно колодца уходит, чередой безответных Ульяниных звонков: «Саша, Саша, Саша, Саша, Саша — Командир Алекс. Серг., Саша, Саша, Ростов-Морг, Димон Друг Саши Армия, Военкомат, Саша, Саша...»

Этот колодец был бездонный.

Она краешком пальца, чтоб крашеный ноготь не мешал, нажала на верхнего Сашу. Сжало опять в животе: вдруг сейчас разговор огласят? Но там, конечно, только пропиликало, что абонент недоступен. Они все стали недоступны — и Алексей Сергеевич, и Димон, и другой Сашин сослуживец, Марат. Куда-то они там зашли, в такую землю, куда не проникали радиоволны и откуда свет не доходил. В черную дыру.

Думала позвонить снова в морг, но уже не хватило решимости. Подымила еще курилкой — вдох-выдох, вдох-выдох, быстро, как ныряльщик перед погружением, только не кислородом запасаясь, а спокойствием — и пошла вниз.

— Не отвечает, — сказала она Кристинке на ее немой вопрос.

Та помолчала, подошла, приобняла. И надо бы ей было на этом остановиться, но Кристинка остановиться не умела.

— Я, если честно, не понимаю, — брякнула она, — как ты его вообще отпустила?

Ульяна сразу окаменела.

Правда была в том, что Сашино решение подписать контракт с ней никто и не согласовывал. Это просто случилось: пришел человек однажды и говорит — я, мол, решил пойти. Они к этому моменту вместе были полгода, без малого семь месяцев. Достаточно уже, чтобы к ширме семейной жизни Сашу приладить и убедиться, что, в принципе, сойдет. Это, правда, не была уж такая любовь, как в сериалах, но такой любви с Ульяной с десятого класса

не случалось. Ну, приладиться к Саше она приладилась быстро, он у нее часто на ночь оставался, щетка его у нее прописалась, все шло к тому, чтобы съехаться вообще. Заикались даже и про свадьбу, когда после пьяного секса мозг плавился. Были препятствия, но Ульяна пустила тут все на самотек, и Саша сам в своей мягкой манере эти препятствия не штурмом брал, а по сторонам обтекал. Его не приходилось заставлять делать следующие шаги, не надо было за ниточки дергать — все как будто двигалось в этой истории само собою, и от этого Ульяна расслабилась.

— А что я тут могла-то? — произнесла Ульяна.

Она вообще свою жизнь смотрела как кино.

Пассажиром ехала. События происходили с ней, она их принимала, соглашаясь с ними или не соглашаясь, удивлялась иногда, иногда плакала, иногда смеялась. Но к ней редко даже приходила мысль о том, что можно было тут или там схватиться за руль и вывернуть в другое место — не туда, куда несло. И если подростком ей еще казалось, что можно где-то газануть, а где-то по тормозам дать, то прошедшие с тех пор пятнадцать вологодских лет привили другое чувство: что вечный гололед под колесами, и нельзя с него никак вырулить, и остановиться не получится. Можно только угадывать, куда зашвырнет — гороскопами там или гаданиями нащупывать, или свечку в церкви поставить на желаемый результат. Больше от Ульяны не зависело ничего. И особенно в последние четыре года, как СВО объявили.

Такие вещи, как СВО, были для Ульяны слишком велики. Тут что человек может сделать? Ничего. Это даже не то, что принять и смириться надо, тут как цунами, как вспышка сверхновой или угасание Солнца: принимай или не принимай, никому твои чувства не интересны.

И все же Ульяна ругала себя за то, что позволила Сашу отправить на войну. Корила себя за то, что быстро смирилась, что недостаточно громко плакала, что не придумала беременность заранее, до настоящей беременности — чтобы разжалобить его

и остановить. И сейчас, когда она осталась с Сашиним ребенком внутри — одна, одна осталась с решением, которое в одиночку было принимать так страшно, она ругала себя за это еще больше.

Почему позволила?

Потому что засомневалась: а вдруг это все же не то? Не судьба? И решила пустить на самотек, как обычно.

— Я б своего ни за что не отдала, — покачала головой Кристинка.

— Знаешь что? — сказала тогда ей Ульяна. — Своего! Ты сначала хоть отношения нормальные себе заведи, а не просто поебушки, а потом учить меня будешь! Пизда с ушами.

• • •

Татьяна не хотела ей открывать, но притворяться, что дома никого нет, уже было поздно, а оставлять Ульянку на лестнице было уж совсем как-то не по-людски. Татьяна матюгнулась, кинула на застекленного Сашку сердитый взгляд: вот же, связался! — и потопала отпирать. Виталья было сунулся первым, но Татьяна его одним шиком отогнала. Виталья-то не был против Ульянки, дурачина.

Показался тоже Тема, младший сын, смотреть — кто пришел. Стоял, раздирал на подбородке прыщ.

— Возьми поди планшет свой, где глажка спрятала, и чтоб из комнаты не вылазил! — приказала ему Татьяна.

Он обрадовался и побежал играть.

Ульянка в глазке стояла, сгорбившись, уткнувшись в телефон, но пока Татьяна шерудила замком, успела приосаниться — и смотрела теперь на хозяйку сверху вниз, со своей жирафьей высоты. Что-то она скромно была одета, будто в церковь собралась.

— Здравствуйте, Татьян-Николавна.

— Ну, привет.

Торчала в дверях, а Татьяна не спешила ее внутрь звать. Осматривала ее сначала, рентгеном сканировала. Надо было определить, с чем Ульянка пришла, что принесла с собой к ним в дом.

— Я поговорить.

— Мы не больше твоего знаем, — предупредила ее Татьяна. — Завтра вот в военкомат пойду.

— Я не об этом. Ну, то есть, и об этом тоже...

И тут Татьяну захолонуло тяжелое предчувствие. Как бы на рентгене не вылезло то, чего она опасалась.

— Ладно. Зайди. Разуйсь только.

Ульянка послушно скинула туфли, озираясь по сторонам, прошла в кухню.

— Ремонтируетесь?

Татьяна кивнула ей на один обляпанный краской табурет, сама села на другой, чтобы урвануться с Ульянкой в росте. Чай предлагать не стала, чтобы не рассоливать.

— Ну?

— Я... У меня... Это. Короче, ну, беременна я.

Как будто окно зашторили — так у Татьяны в глазах потемнело. К шее прилило, щеки запекло сразу нехорошим жаром, и стало ломить голову. Она подождала, ничего не ответила, чтобы сначала отпустило, чтобы слабину не показывать.

— Покажь.

— Да что я вам, с собой что ли тест таскать буду?

Татьяна взвесила: верить или нет? Ульяна тоже сидела красная, глаза бежали.

— Когда узнала?

— Да вот только и узнала.

— А чего тянула?

— Ну у меня цикл гуляет вообще. Вот стало совсем... Я и сделала.

— Цикл у нее гуляет... Гляди-ка.

Татьяне трудно было дальше сдерживать себя: она притворяться не умела и не любила. Она привыкла в лоб сразу, а не миндальничать. Спектакли пусть вот такие шаболды ломают, как эта.

— И что делать собираешься? — проговорила она жестко и раздельно, так, чтобы Ульянка сама уже поскорей догадалась, что ей надо со своей беременностью сделать.

Та вскинула на Татьяну растерянный взгляд.

— В смысле?

— В коромысле.

Ульянка осознала, насупилась, помычала; наскребла, видать, решимости, распрямилась и нависла над Татьяной.

— Как вы так говорить-то можете? Это Сашин, между прочим, ребенок. Ваш внук.

— А кто знает.

— В смысле — кто знает?!

До сих пор они шушукались, но тут она заговорила громко, визгнула даже. На визг заглянул из коридора обеспокоенный Виталия, шею вытянул. Подслушивал, гад, точно подслушивал.

— Выйдь отсюда! — скомандовала ему Татьяна. — Обожди у себя и не суйсь!

Виталия испуганно шарахнулся назад и канул.

— Ну что ты мне, святую корчить, что ль, будешь? Слушайко, — Татьяна и снизу вверх могла Ульянку глазами шпарить, не надо было и подниматься, пусть стоит, каланча. — Администраторша блядушника... Да и сама-то еще, небось! Он пока, Сашка, развлекался с тобой, это для пацана нормально, я еще, ладно, молчала...

Сашка всеми тремя своими ипостасями следил за ними внимательно, слушал разговор. Это и его касалось. Ну, пусть слушает. Связался с давалкой, да еще и чуть не под венец ее. А она, думаешь, тебе только, что ли, дает? «Там чаевые еще хорошие». За что ж, дуралей, ей, по-твоему, чаевые-то сыплют? Балда ты, балда. У самого-то ума не хватило разобраться, теперь вот мамке

за тебя приходится. Не твой это, не переживай! Для твоего уж все сроки пропущены.

— Да ничего вы там не молчали, я не знаю, что ли?!

— Ну и не молчала. А тут дело другое. Одно дело развлекаться, а другое дело... Короче. Я тебя в дом наш не приму!

— Это ваш ребенок, ваш внук! Как вы можете такой тварью-то быть?

— Все. Хорош. Выметайся!

— Да как мне его растить-то? — Ульянка как будто снова включила дурочку.

— А, милая. Вот. Вот оно!

Татьяна кивнула удовлетворенно: несложно оказалось Ульянку расколоть.

— Да что «вот»-то?

— А ничего. Только одно на уме, только деньги. И всегда так было. Выметайся, слышишь? Марш!

Она теперь и сама вскочила, чтобы своей огромной тяжелой грудью, как бульдозерным ковшом, сгрести и вычистить Ульянку вон из своего дома.

Но та вцепилась в стол, уставилась в Татьяну, подбородком своим длинным махнула на три Сашкиных фотографии и сказала, змея:

— Зачем ты его туда вообще послала? Это из-за тебя с ним это... И мне одной теперь еще...

Голос у нее задрожал, как будто она была готова зареветь. Но она удержалась, не заревела, и оттого разбесила Татьяну еще круче.

— А ты не каркай, что ты каркаешь-то? Что «это»? Что — «это»?! Нормально с ним все! Слышала?! Хоронить она мне его тут будет, сучка драная, паскуда ты этакая! Сына моего!

Она толкнула Ульянку в грудь, но попала в живот, потом схватила ее за худое синюшное запястье и рванула, чтобы от стола отклеить. Но Ульянка уже и сама пошла, испугалась ее

наконец. Еще и побежала вперед, как будто это она сама решила от них уйти, а не Татьяна ее выставляла. Сунула торопливо, промахиваясь, жилистые ноги в туфли. Виталя из комнаты наблюдал Ульянкино изгнание с жалким лицом.

— Он Родину, между прочим, защищать пошел! Ясно тебе? Как в Великую Отечественную! Куда тебе, шаболде, такое понять!

— Да где хоть Великая Отечественная, и где вот это вот?! — крикнула еще Ульянка с лестницы, и тут уж Татьяна шваркнула ей в лицо дверь.

2.

Стояла Ульяна на улице. В ушах звенело. Во рту было солоно. Разжала кулаки и поняла, что один ноготь сломан. Ухало и ворочалось что-то в груди.

Маячила перед ней Татьяна перекошенная, свекольная харя, эти свиные глазки злые и глупые под белесыми ресницами, зубы желтые и редкие, жгло запястье от ее солевых пальцев, от ее цепкой хватки, как от борщевика, и запах ее — кислый, дурной — все еще лип, не рассеивался.

Там, в квартире, Ульяна просто опешила, просто по-человечески охуела от этого натиска, от этой ненависти, которую она ничем не вызывала и не заслуживала. Там не хватило ни слов себя защитить, ни наглости, ни времени. И сейчас Ульяна, пытаясь отдышаться, рассказывала себе, что это она просто решила не опускаться до уровня Сашиной матери, до ее мерзкого базара, до запрещенных, нечестных ударов — и осталась выше этого всего. Но чувство было такое, что ее испачкали, чуть ли не что изнасиловали. Будто бы она вслепую проиграла что-то очень важное, может, честь, а может, надежду — и только теперь узнала, что вот такая в этой игре у нее была ставка.

И как-то особенно гнусно было, что Татьяна ее именно перед фотографиями сына захотела унижить, а тот никак не смог Ульяну от своей матери уберечь. И обвинения эти ее... Она разве за деньгами туда пришла?

Что деньги?

Ей просто нужно было себя в этом во всем не одной почувствовать. Нужно было услышать, что хотя бы теперь, с Сашиним ребенком внутри, ее принимают. Одной ей было страшно его оставлять; хотелось увериться, что не только ей в целом свете нужен этот ребенок, от которого пока еле тень из будущего, только одно смутное ощущение под ложечкой, у которого еще ни глаз, ни улыбки, и из документов-то — только две полоски синие, а он уже готовится всю Ульянину жизнь под себя перепахать и перестроить.

Ульяна это зерно ей в двух ладошках несла, не дышала, своей родной маме еще не успела сообщить, Сашина первой узнала: примите, Татьяна Николаевна! Как кошка новорожденных котят хозяевам тащит. И вот тебе вместо благословения: помоев ведро. С ходу про деньги. И это: что делать собираешься? Такая вот подсказочка, для тупых. Ну не сука?

Наконец она подумала о Саше. Набрала ему. Никого.

С Сашей они о детях не заговаривали, Саша сам-то еще был безусый, Ульяну называл своей первой серьезной историей, а чем такие истории обычно кончаются, как будто бы не догадывался.

Хороший он, Саша. Трудновато его было прямо уж всерьез воспринимать, потому что на три года младше, потому что работы нормальной у него не было — круглое катаем, плоское таскаем, такая вот у нас занятость, а из образования — школа да путяга; это тебе не принц на БМВ, не из тех, от кого веет стабильностью. Из хорошего в нем, по сути, только беззлобность была... И как он только с этой своей беззлобностью на войну подписался? Мамка прожала.

Должна Ульяна такому мальчику ребенка рожать?

А если он там убитый лежит — тогда должна?

Если от него только это вот и останется, от Саши — вот эта половина, которая в ней растет, а больше ничего? Вот если так и не найдут его? Или если найдут и домой пришлют в черном пакете? Тогда как?

Тут Ульяна уже шла по улице, вслепую шла, наобум, в самый последний момент уворачиваясь от людей и машин. У нее было свободное время — не думала, что так скоро кончится разговор со свекровью. Ноги сами вынесли ее к ТЦ: там она обычно утешалась всегда чем-нибудь.

На площади стояла тачка с мороженым. Разморенная солнцем продавщица лениво пропускала через себя очередь. Ульяне вдруг остро захотелось шоколадного, подсластить горечь. Странно: она вообще-то к сахару относилась спокойно, а тут как будто кто-то взял ее за шкурку и поставил в очередь.

Набрала Саше.

Взгляд пристал к здоровенному рекламному билборду, который первым встречал всех перед торговым центром. Билборд был синий, как задник у новостной программы по телеку, и по нему тоже развеялся триколор. А на переднем плане стоял парень в киношном каком-то камуфляже и смотрел вдаль, мимо Ульяны, красивыми глазами. Он, наверное, и весь был красавец, но его лицо скрывала балаклава, поверх которой был надет лакшери-шлем с пылевыми очками, как у американских спецназовцев в кино. Где они такого нашли? На Сашиных фотках солдаты по-другому все были упакованы, в простое.

Еще на плакате были буквы, про то, что нужно было присоединяться к своим, и цифры — 5500000, это рублей, и это только за первый год службы. В руках у красавца был автомат, тоже особенный какой-то, тоже красивый.

Пять миллионов пятьсот тысяч, прочитала внутренним голосом Ульяна. Это вообще сколько? Квартуру за четыре можно взять, если попроще и на выселках, и жить себе в ней спокойно всю жизнь. А вот если это на семьдесят тысяч разделить, на месячный ее доход, с чаевыми если, это сколько? Семь на семь — сорок девять, семь на восемь — пятьдесят шесть... Восемьдесят месяцев. Это что же, как семь лет ей пахать? Получается, семь.

А охраннику какому-нибудь, у которого край — тридцатка в месяц выходит, — вообще лет пятнадцать.

Вот они, деньги-то. Деньжищи. Здравствуй, Татьян-Николавна.

— Женщина, очередь задерживаете, — строго сказала мороженщица.

Ульяна очнулась. Оказалось, не ей. Впереди застряла бабуска какая-то, не могла свои копейки посчитать. Смотрела в заскорузлую расчерченную ладонь: там лежали кругляшки белые и желтые.

— Ба, тебе чего? Давай помогу, — предложила Ульяна.

— Расплываются, — беспомощно призналась бабка. — Я «Советское» вот, в стаканчике. За сто рублей.

Ульяна, как сорока клювом, наклевала своими ногтями у нее из пригоршни монет, еще от себя пятак добавила, осчастливила бабку. Тогда дошла и до нее очередь.

— Мне шоколадный рожок, «Магnum».

Лизала она этот рожок, воздух пах бензиновой гарью и сиренью, теплый ветер шевелил березовые веники, солнце было не яростное, а аккуратное. Вот в такие дни казалось, что жить стоит. Мороженое работало, как мороженому и положено: примораживало и подслащивало.

— Да на хуй ты иди просто, и все тут, — сказала Ульяна последнее слово в ссоре воображаемой Татьяне Николаевне. — Чисто назло тебе рожу.

• • •

Военкомат стоял на Челюскинцев, за забором, за елками, и с виду был как обычный четырехэтажный дом, сложенный из белесых и коричневых кирпичей. Не было в нем ничего ни торжественного, ни зловещего. И забор был невысокий, прозрачный, сваренный из тонких железных прутьев, как будто просто парк

огораживал. Это был начальственный военкомат, областной. Городской, на Мальцева, обшарпанный и замызганный, Татьяна уже исчерпала: там, знай, отнекивались. Послали ее сюда вот, этажом выше.

Рядом с воротами только плакат торчал: «Верю в себя, думаю о будущем, служу России!», и четыре бойца на нем в бронежилетах и чудных касках с квадратными очками, вроде мотоциклетных. Плакат был синий, форма зеленая, флаг красный, но дожди все это выстирали, и стало оно все голубым и розовым, и лица у солдат стали неразличимые, как на черно-белых снимках с позапрошлой еще войны.

У крыльца курили и хорохорились обритые пацаны, курили и перешучивались пузатые дядьки в коротких зеленых курточках с погонами, молча смотрела в пустоту чья-то зареванная мать; приехали семьей провожать мужика с испитой харей — зашуганные белобрысые дети, хмурая баба в теле, все молчали.

Татьяна двинула через них всех напролом, по проторенной. Дежурному строго сказала, что в канцелярию, в канцелярии — что уже подавала заявление, когда три недели с Сашкиной пропажи прошло, и что у заместителя военкома уже была, поэтому ей теперь к самому военкому уже нужно. Там ей сразу отрезали, что к военкому ей не попасть, но зам примет заново, ладно уж, раз пришла.

Пошла по памяти по коридорам бежевого цвета — чуть с розовым, как будто каплю крови капнули в краску; поднялась на этаж, села в очередь, стала смотреть плакаты и портреты. Путин молодой там хмурился в военно-морской кепке с ушами, беззвучно кричал «Ура!» строй морпехов, тянули мысок на кремлевском параде гвардейцы. В углу притулился дистрофичный манекен в противогазе и в форме такой, как у Сашки была, когда прощались, — мешком; а камуфляж дурацкий, ничего-то он и не закамуфлирует. Видимо, поставили для красоты.

Перед Татьяной рядком сидели тетки, и все чем-то на нее похожие. Кряжистые, красномордые с огородов. Пахло луком, женским потом. У одной в ногах был пакет, из которого коньяк выглядывал, у другой — коробка конфет. Татьяна пришла с пустыми руками. Она тут никого подкупать не собиралась. Ей все было и так положено.

Вызвали.

Кабинет был шпоном оклеен, за спиной у зама — Путин в костюме и на фоне флага, заматеревший — лет уж пятнадцать как с моряцкой кепки прошло; столы как школьные парты, за одной — сам заместитель военкома, желтый, жилистый, усатый, за другой — еще какой-то военный, гладко выбритый и помладше, покруглее, порозовей: у зама тоже свой зам есть. Перед усатым стол был свободный; гладкий сидел перед компьютером с черным экраном, с обратной стороны чем-то похожим на надгробие.

— Когда заявление подавали? — спросил усатый.

Все он, конечно, за десять дней забыл — и Татьяну, и за кого она просила. А вот она его хорошо помнила.

— Месяц прошел, — сказала она. — Больше.

— Лазаренко? — повторил гладкий, стуча по черным клавишам.

— Лазаренко Александр Витальевич. По телефону просто не говорят ничего.

— Дак нету пока информации, товарищ подполковник, — не Татьяне, а начальнику своему объяснил гладкий. — Ну вот последнее, что есть, — двадцать девятого мая две тыщи двадцать пятого года отправился на выполнение бэ зэ в районе населенного пункта Часов Яр, в составе мотострелковых подразделений второй армии, а именно...

— Это я все знаю. Но что с ним случилось? Случилось-то что?

— Ну вот я вам читаю, что у меня написано.

— И в части ведь не говорят, понимаете?

— Ну нечего им сказать если. Что вы хотите, чтобы они вам сказали?

— Что живой.

— Ну тут... — развел руками подполковник.

— Или, если случилось что, пусть тоже скажут! Просто вот так вот — не зная, это тяжело, понимаете?

— Понимаем-понимаем.

Зам зама встал, потянулся, стал шарить по ящику, нашел там пластмассовую красную зажигалку, чиркнул колесиком, кремнем запахло.

— Перекур, Пал Семеныч?

— Ага, минута, — мигнул ему начальник.

— Что это за отношение? — возмутилась Татьяна. — Я вам сына своего доверила!

— Послушайте... Татьяна... Николаевна... — он сверился с бумажкой. — Это же война, что вы как маленькая? Мы его что, не ищем? Ищем. Найдем — сообщим. Вон у нас некоторые по полгода ждут, и ничего, терпят. А кто и больше!

Он тоже стал подыматься, давая Татьяне понять, что разговор кончен, а та упрямо сидела, ей нельзя было на этом уходить. Теряя уверенность в своей силе, она засуетилась:

— Ну тогда может хоть справочку дайте, может?

— Какую вам справочку?

— Что пропал без вести. Мне вот в фонде сказали, что без справки ничего не могут сделать.

— Так он пока что не пропал без вести, — уже достав сигаретную пачку из кармана и в нетерпении нюхая табак, ответил подполковник. — В каком это фонде?

— Чтобы страховые получить.

— А... Ну да. Страховые, — он невесело улыбнулся, будто бы сразу разочаровавшись в Татьяне. — Ясненько. А что вам, к спеху?

— Да ведь дело в том, у нас ипотека оформлена, — тут уж совсем затараторила Татьяна. — Саша, Александр, нам должен был каждый месяц денежку посылать, с получки. А теперь второй месяц пошел. А у нас все посчитано, понимаете? Платить надо, банк же требует... Была бы справочка, мы бы хотя бы страховые получили, закрыли бы. Как нам полгода-то ждать?

— Понабирают ипотек и канючат, — недовольно покачал головой гладкий. — Денюшка да денюшка... Он там долг выполняет, между прочим! Перед страной.

— Я понимаю, что долг, я разве говорю... Мы гордимся!

— Ну дак. А мы вам ничего не можем пока что дать, — развел руками подполковник. — Справку. Потому что он у вас не без вести пропавший, а безвестно отсутствующий.

— Так это разве не то же самое? — вскрикнула Татьяна, решив, что над ней издеваются.

— Разные вещи! — тоже повысил голос гладкий. — Есть процедура. Пропал-то он пропал, но справку можно дать, только если его не нашли. А пока ищут, не можем дать. Ищут пока, ясно вам? Они там еще ищут, а вы тут уже все, крест на сыне ставить!

— Я не ставлю! Я не ставила и не ставлю!

— Ну вот и все тогда. Вот и ладушки, — примирительно сказал усатый.

— А как быть-то? — растерянно и просительно выговорила Татьяна.

— Ну... — подполковник уже стоял у двери, уже открыл, уже приглашал рукой в провал Татьяну. — Если нас ждать не хотите, через суд можете. Но это тоже не быстро.

— Сына отправила, понимаете? — совсем сдалась она.

— Дак ясное дело, что сына, — усатый опустил углы губ книзу. — У нас ведь тут все чьи-то сыновья!

• • •

Курили опять каждая свое, ароматное, смотрели на далекие кресты за рекой, прозрачное небо нигде не кончалось, по проспекту за домами урчали машины, а воздух был той приятной температуры, при которой можно было забыть о дурацком, вечно то мерзнущем, то потеющем теле и думать, что ты есть просто безоболочковая душа. Такого времени в Вологде хватало за год от силы — на месяц, и очень жалко было просиживать его в подвале.

Крис не умела долго обижаться. На следующий же день память у нее обнулилась, и она уже снова выдавала Ульяне свой суточный отчет.

— На дачу, короче, зовет, — рассказывала она. — На выхи. С родиками, типа, знакомиться.

— Ого. Реально?

— Прикинь.

— Ну че, прогресс! У Тельцов, кстати, прогноз хороший на романтику на этот месяц, я для тебя посмотрела.

— Сплюнь-ка.

Ульяна послушно сказала «тьфу-тьфу-тьфу», улыбнулась Крестинке и провела рукой по ее вороным волосам. У нее тоже никогда не получалось долго злиться на Крис.

— А ничего, что он недогадливый?

— В смысле?

— Ну что это... Говорит, скажи, если надо что-нибудь будет...

— Слуш... Хоть интересуется. Есть материал, работать можно.

— Ну дай бог, че.

— Воистину!

Кристина засмеялась и перекрестилась в шутку на крестовое соцветие Успенской церкви за рекой.

Крестине было двадцать пять, Ульяне — тридцать. На пять лет больше всяких нестыковок с мужчинами, то по одному, то по другому поводу не сложившихся пазлов: незаслуженных обид,

невыполненных обещаний, непрощенных обманов, неоправдавшихся надежд. На пять лет сложнее поверить в то, что именно на этот раз получится, и что случайный человек окажется неслучайным, и что кончится уже затянувшаяся дурацкая стадия куколки, и что настанет уже наконец-то долгожданная стадия бабочки. Но Кристинкина щенячья радость, ее детская готовность, обнулив списком все предыдущие разочарования, опять поверить в то, что на сей-то уж раз все точно будет взаправду, перекинулась и к Ульяне, и ей стало за подругу тепло и волнительно. Не было зависти. Было такое пожелание: пусть хоть у кого-нибудь из них двоих выйдет по-человечески.

Докурили. Набрала Саше.

Постояли еще немного, воткнутые каждая в свой телефон.

— Ютуб вообще не пашет, — пожаловалась Ульяна.

— Бабуль, ну ты че, — отвлеклась от своего Кристинка. — У тебя випизна нету, что ли? Дай поставлю. И Ютуб будет летать, и запрещенка всякая. И еще тебе ИИшку поставлю америкосовскую, чатик. Он все ищет, что Яндекс не дает, и менты не узнают. А то эти ща вообще запретят все, ни порнушки тебе не будет, ни Инстаграма, одни Госуслуги, и все, пиздосики.

— Вот прям заебали уже, реально, — согласилась Ульяна, отдавая свой телефон.

Кристина потыкала там куда-то своими кошачьими подушечками, убрав коготки, сделала из губ букву «о» — задумалась.

— Тебе какую страну выставить? — спросила она. — Типа, ты откуда сидишь?

— Кроме России?

— Ну нормальную выбери себе какую-нибудь. Штаты? Францию?

— А... — подумала Ульяна. — Ну давай Францию.

— Отличный выбор, — пыхнула дыней Крис. — Все, считай, ты уже там. Телепортировалась.

— Прикинь, реально бы так можно было. Раз... И в Париж.

— В Хуиж, — сказала Кристинка. — Не в этой жизни.

— Ну, значит, хоть так, — Ульяна приняла у Кристины налаженный телефон. — Мерсишки.

День был весь пустой, летние пятницы всегда такие; кто попроще — по деревням, по огородам, полет-поливает, кто при деньгах и при власти — в заказниках и угодьях вымещает на зверье свою злобу. Спа-салоны зимой жир копят, когда на улице дрянь и мрак.

Но часов в семь лязгнула наверху дверь, и на лестнице раздались шаги — каменная поступь пьяного человека. Ульяна повернула голову и увидела лакированные ботинки. Блестящие. Размера они были сорок шестого, наверное.

Потом тяжелая башка пролезла в подвал — как лиса к полевым мышам в нору заглянула. Принюхалась и широко растянула жирные губы: якобы улыбка. Рот был большой. Понравилось башке, что она там увидела.

В костюме, в галстук. Рубашка на пузе колоколом. Выбритый.

— Здравствуйте, красавицы! — так он это сказал, что захотелось ответить ему «Здравия желаю!», хоть он был и в штатском.

Как будто бы веселый, но к этому веселью никак было не подключиться. Может, потому что глаза не смеялись, а может, потому что это веселье вообще было только ему одному понятно. Кристинка улыбнулась вежливо, Ульяна не стала. Район центральный, вокруг много всяких учреждений разбросано, и не во всех работают добрые люди.

— Массажик бы мне. Спина забилась. Сделаете? — он повел буграми; плечи у него были борцовские.

— Спину тыща семьсот, — назвала Ульяна. — Общий если, три тысячи. С прогреванием три семьсот будет.

— Давай тогда общий, с прогреванием, по максималке, — он осклабился теперь именно Кристине, больше не глядя на Ульяну. — Только уж прогрей как следует.

Крис прыгнула с дивана и убрала телефон в карман своего рабочего комбинезончика. Комбез сидел на ней славно, точно по

всем ее округлым линиям, хотя и был серьезный, даже строгий скорее — такой, как медицинским работникам положено.

— Проходите в массажный кабинет, пожалуйста, — промяукала она. — Там предбанничек, можете раздеться, и на стол.

Клиент протиснулся мимо Ульяниной стойки, обдав ее тяжелой смесью пота, перегара и въевшегося, прогорклого сигаретного дыма: выглядел прилично, а пахло как от водителя маршрутки. Взглядом окинул еще раз ресепшен, цепко, как будто запоминал — так, тут вход, тут телефон, кабинетов раз, два, три... И нырнул в массажку, больше ничего не сказав.

Ульяна осталась за стойкой у компьютера. Сняла трубку, набрала начальнику.

— Анатолий Сергеевич? Ага. Ульяна. Ну вот еще один. Три семьсот, целиковый. Ну получается двенадцать тысяч сегодня только. Ну как есть. Ну а я что сделаю? Да. Лето, ну. И то! Да я понимаю. Закрою, ага. Ну все.

Когда клиент за три семьсот берет, ему и на чай триста не сложно кинуть. Чаевые они пополам с Крис разделят, как обычно. Ерунда, конечно, но все-таки. На мороженое.

Ульяна стала бесцельно водить мышкой по экрану. Потом вбила: «у меня пропал парень на СВО что делать». Насыпало ответов, из десяти первых девять были одинаковые: «Как связаться с бойцом СВО, который пропал без вести или не выходит на связь. Алгоритм действий».

Алгоритм действий. Алгоритм действий. Почему именно алгоритм, почему это странное механическое слово для такой ситуации? Чтобы успокоить, может? Алгоритм был такой: убедитесь, что боец действительно пропал без вести, а не просто остался без связи. Подождите месяц или шесть недель. Обзвоните горячие линии Минобороны... Фонд поддержки участников СВО... Военный комиссариат... Потребуется свидетельство о заключении брака, если обращается супруга, или свидетельство о рождении, если обращаются родители...

Родители или супруга. А она Саше кто?

Да никто.

И тут в глубине, за закрытой дверью массажки, глухо взвизгнули. Ульяна оторвалась от бесполезной инструкции, обернула ухо. И снова. Девчачий визг.

Ульяна привстала. Там что-то происходило за закрытой дверью, чего точно не должно было происходить.

— Крис? — позвала она. — Все в порядке?

Та не отвечала, и Ульяна выпрыгнула из-за стойки, зашла в коридор. Но тут дверь массажного кабинета сама распахнулась, и Кристина выскочила наружу — перекошенная, с круглыми глазами.

— Скажи ему, Ульян! Скажи ему!

Она бросилась к Ульяне, полезла к ней, как к мамке, прятаться. А за ней вылез клиент — огромный, с рыжим волосом по груди, по барабанному пузу, на слоновьих тумбах-ногах и с гуттаперчево покачивающимся вздернутым членом. Член целился в них обеих. Ульяна убрала Кристинку за спину, отгородила собой коридор.

— Мужчина! Оденьтесь немедленно! — строго и холодно, как воспиталка в детском саду, приказала ему Ульяна.

— Да что ты, глупенькая, испугалась, что ли? — сквозь Ульяну, не замечая ее вообще, обратился к Кристине клиент. — Ну давай я штуку еще накинута, чтоб веселей пошло!

— Скажи ему, Ульян! Скажи, что у нас тут не дровичья! — задыхаясь, попросила Кристина.

— Одейся и на выход, — раздельно произнесла Ульяна.

— Да что я попросил-то? Только и попросил ручкой подергать, хосспаде боже мой. А вы начинаете тут.

Он не уходил, он смеялся над ними, скалился, и член у него не падал от Ульяниной строгости — наоборот, она его подзадоривала, что ли.

И от испуга, или от его самоуверенности, или оттого, что он так откровенно на них обеих как на мясо глядел, Ульяна заорала на него так, что у самой в ушах заложило.

— Живо портки надел и вон отсюда! Тут тебе не бордель, ты не понял, что ли?!

— Это как так? Везде бордель, а тут вот не бордель?

Клиент сделал еще шаг к ним. Крис не выдержала и сбежала за стойку. Ульяна скрестила руки на груди и стояла на месте. Злость за то, что ее опять в шлюхи записали, не давало отступить.

— Мне полицию вызвать?!

Это его еще больше развеселило.

— Это я тебе полицию вызову, курица ты тупая. И Санэпиднадзор еще. И прикроем вашу шарашку в два счета. Не будет у вас домика, пойдете на трассу трудиться.

Она выхватила телефон, сделала вид, что ловит, попикала кнопками. И вот только тогда он развернулся и пропал в проеме. Ульяна обернулась к Кристине: не ссы, прорвемся, не таких видали и уделявали. Кристина улыбнулась ей жалко и благодарно — но из-за стойки, пока точно все не кончилось, вылезать не торопилась.

А оно ничего и не кончилось.

Этот снова выпер в коридор. Опять голый. А в руке держал красную книжечку, ксиву, и пихал ее в лицо Ульяне. В ксиве была его харя и прыгающие буковки: вроде как губернатор, что-то там управление, печать, подписи.

— Читать умеешь? Читай.

Не могла Ульяна прочесть все эти значки, они у нее оплавились и слиплись. Но смысл и не из них складывался, а из орла на обложке, из орла на печати, из слова «управление», из наглости этого мужика и из его бесстыдства.

— Ну что, поверила? — он щелкнул удостоверением у нее перед носом.

— Мы тут правда эти услуги не можем оказывать, — тихо сказала Ульяна, горло у нее сдавило. — Ну правда.

— Ну вот, послушай теперь. Не залупалась бы ты, милая, я б, может, и ушел. А теперь не уйду. Если она не хочет, — клиент окинул Ульяну оценивающим взглядом, — можешь подменить подругу, разрешаю. Минута на размышления.

Развернулся; заходили важно обвислые ягодцы — он неспешно прошествовал обратно. Скрипнул под его центнером массажный стол.

— Пиздец, — прошептала Ульяна, оглядываясь на Кристинку.

— Это кто вообще?

— Да кто-кто! Что ты как маленькая-то? Оттуда! — она кивнула вверх.

Развернулась к Кристине все корпусом, уставилась на нее. С такой ксивой человек мог, конечно, и прикрыть их салон. Мог и похуже чего. Тут в полицию, действительно, без толку было. Тут только одна надежда оставалась — что ему лень станет возиться. Но по его запавшим глазам, по толстым скривленным в улыбку губам Ульяна понимала: этому будет не лень. У этого азарт загорелся: унизить.

— Крис... — Ульяна наклонила голову.

— Что «Крис»? Что «Крис»?! — отчаянно зашептала та. — Я не буду! Я не хочу! Он мерзкий!

— Мерзкий, — согласилась Ульяна. — Я что, говорю, что не мерзкий, что ли? Просто нам тогда все, Кристин. Хана.

Вот сказала это вслух, и только теперь до самой это дошло, и стало страшно по-настоящему. Что ей, сложно что ли, вдруг подумала Ульяна. Он и просит-то... Ну и пошла бы и передернула ему по-быстрому, что целку-то из себя корчить? А если реально закроют? Она положила руку на живот. Тогда что? Куда? За квартиру платить как? Ее-то саму, Ульяну, кто пожалеет?

Бессилие, вот что она чувствовала. Это было как выйти на пути перед летящим товарняком на сто вагонов, в десять тысяч

тонн, который гудит тебе предупреждающе, но который точно не остановится. Ульяна знала, что они, даже когда сбивают людей, не останавливаются, смысла нету. Пык — и дальше: на станции помогут. И ведь это Крестинка ее на пути вывела.

Дура.

— Я не буду! Я не шлюха!

— Девочки! — проревел из массажки человек. — Остыва-аю!

Крестинка заплакала.

— Ну и я не шлюха, — вздохнула Ульяна.

Она — левая рука на животе — двинулась в коридор, по коридору, на деревянных ногах. Встала на пороге массажного кабинета. Посмотрела на его разваленные мяса, на его съехавшие брылы, на заплывшие зенки. Затошнило от омерзения, даже испуг отпустил.

— Сегодня больше не работаем, — сказала она негромко, но уже окончательно и щелкнула выключателем, отрубая свет. — Надел портки и вышел.

Зато почувствовала себя человеком.

• • •

Татьяна зашла первая, Виталия сзади. Повела головой вправо-влево, думала, за очередь придется биться, но людей никого не было. Тумба с экраном по выдаче талончиков ненужная пылилась. Тумба была корпоративного кумачового цвета, как и стойка со служащей, как и у служащей галстук ее кокетливый наподобие пионерского, как и банковский герб у нее над головой. Потолок был низкий, грязный, пенопластовый, разлинованный на квадраты, и вместо одного зияла квадратная дыра.

Служащая скучала, тыркала что-то в телефоне.

— Так! Женщина, — поздоровалась Татьяна. — Мне тут из вашего банка звонят все время, и эсэмэски. Что я просрочила выплаты. Сегодня уже только два раза звонили!

— Покажете?

Она передала этой кумачовой девке свой телефон, показала смс-угрозы из банка. Та почитала.

— Ой. Ну, значит, вон туда, в отдел ипотечного кредитования.

Отдел весь был такой: красный стол и два пластиковых стула. Третий, для Витали, пришлось в отделе потребительского кредитования брать. Пришла другая такая же девчонка, дожевала бутерброд, села. Посмотрела паспорт, поворошила бумаги какие-то, открыла планшетик.

— Ну у вас тут два месяца уже просрочки. У нас все автоматом ведь. Понятно, что шлют.

В ее голосе было тоже автоматическое, и Татьяна поняла своим безошибочным чутьем: зря только пришли. Но надо же было попробовать.

— У нас сын на СВО, — рассказала ей Татьяна.

Та не стала ничего на это говорить, только ждала, куда Татьяна дальше поведет.

— Мы из его полочки платим. А он задерживает. Пропал!

— Сочувствую вам, — ответила девчонка равнодушно, — только пени все равно начисляются. И в Бюро кредитных историй ушло уже, что вы неплательщики. Это компьютер все делает. А если больше трех месяцев будет, то пойдет на комитет.

— Что за комитет?

— Ну рассматривать, что делать с квартирой. Она же не ваша квартира считается, пока все не выплачено. Она банка. Если помесячно не можете, или потребуют заплатить сразу весь остаток по ипотеке, или через суд квартиру отберут.

Вот это вот чутье, которое было у Татьяны, по малейшим колебаниям голоса — полнотки вверх, полнотки вниз — позволяло ей определить быстрее, чем образовывалась мысль, кто тут из них кого главнее будет. И если у другого было власти хоть чуточку больше, Татьяна, еще не успев ничего даже осознать, начинала уже лебезить. А если у нее самой власти было больше

на грамм — надо было из этого грамма изобразить тонну, чтобы другого человека поприжать, а если нужно будет, то и вовсе раздавить. Так ее жизнь научила, еще с детства. Кого можно нагнуть, того надо нагибать с ходу, не рассусоливая, иначе самого тебя всегда нагибать будут. А если уж нагнули тебя, то надо это сразу дальше кому-нибудь передать, как одна костяшка домино — другой, иначе от этого жгучего гнета не избавиться, и будет ныть, будет припекать; так и заболеть недолго!

— А сколько хоть у нас осталось-то? — жалобно спросила она.

— Дак вы только начали.

Девка открыла в своем планшете приложение-калькулятор, стала пальчиком стучать. Татьяна следила взволнованно.

— Три миллиона девятьсот пятнадцать тысяч триста пятьдесят шесть рублей. Это если вы сейчас прямо погасите. А будете тянуть — вырастет.

— Ну не можем мы вернуть... Из чего мы вернем-то?

— Не знаю. В принципе, у вас до пенсии еще есть время. На двоих можете распополамить, по восемьдесят тысяч в месяц получится. Заработаете, — пожала плечами эта сучка.

— Ой. Ой! У него вон чтоб восемьдесят тысяч? — Татьяна махнула на бессловесного Виталю так, словно торговалась за него на птичьем рынке. — Да кому он хоть нужен-то! Его и за тридцатку-то никуда отродясь не брали!

Девчонка оценивающе осмотрела Виталю и, кажется, с Татьяной согласилась. Потом посмотрела на дыру в потолке и придумала решение:

— Ну вы, кстати, можете тоже на СВО его оформить. Первой выплатой и долг погасите, и сразу на год вперед перекроетесь, а там думать будете.

Виталя заморгал, съежился.

— Совсем совесть потеряли... — он вопросительно посмотрел на жену.

— Сиди-ка хоть, — сказала ему Татьяна.

Клацнула по привычке, чтобы не лез без спросу, но потом почувствовала, как кольнуло под ребро шильце-жалость, жалость и к Витале, и к себе самой, и боязнь все вообще теперь в жизни потерять.

— Куда дети без отца? У нас двое еще.

— Ну, сами тогда разбирайтесь.

— А можно, чтобы не звонили пока?

— Говорю же, оно автоматом.

Люди заходили и выходили. Хлопала дверь. Кто-то бубнил тоже рядом, тоже уговаривал роботов. Звякнула лампочка, загорелся номер. Время вышло.

— Следующий, — сказала служащая.

Виталья еле дотерпел до своей папиросы, так распереживался.

— Злая какая, сука, — закашлялся он.

— Да уж не пошлю я тебя, — пожалела его Татьяна. — Тьфу ты, «МММ» какое-то.

• • •

Солнце уехало за крыши, земля еще догорала по периметру, а сверху ее уже накрывало синей крышкой. Ульяна стояла у кухонного окна, смотрела на закат, на двор, на гаражи-ракушки, на сломанную карусель, на школоту, которая хлестала в песочнице пивас. Смотрела и резала салат.

Кухня была пять метров: тут шкаф, тут мойка, тут столик на двоих. Не развернуться. Хорошо, что она хоть окном примыкала к огромному миру, и хорошо, что в этом мире она была расположена не слишком низко.

Резала помидоры, лук, укроп, огурцы. Огурцы у матери на огороде свои росли, и от этого выходила серьезная экономия: покупные теперь стоили чуть не как мясо из-за какого-то перекоса в сельском хозяйстве. Так-то в этом салате все с материнского

огорода было, из магазинного только сметана и соль. Бюджетненько.

Резала и говорила как раз с мамой. Ну как говорила? Там, как обычно, все было в одну сторону.

— Дак вот ведь, — вещала мать по громкой связи. — У Алевтины Ильиничны радикулит прихватило, она сама полоть не может, ну я по-соседски ей поделала, получается, внаклонку, и оно вроде, знаешь, Ульяш, так нормально, а потом домой зашла, в глазах темно, за стол схватилась, думала, упаду, еле до дивана доползла, ну и потом валокордина, но-шпы, и так-то оклемалась помаленьку, вот сижу, смотрю сейчас «Поле чудес», там эти парнишки в форме, одному вот машина светит. Вот гляжу и думаю о Сашке о твоём, вернется и тоже может в телевизор...

Ульяна резала, резала, думала: говорить ей или не говорить про беременность, не говорить или говорить, и вдруг захотелось промахнуться мимо огурца и отрезать самой себе палец, даже призадержалась на секунду, представляя, как кровища хлынет, потом продолжила снова шинковать шайбы белые, раз, раз, раз; потом отбросила от себя нож.

— Мам...

— А у Морозовых-то, у Морозовых, говорила я тебе? Чуть дочка ихняя не утонула, поехали на реку, зашли в воду, а там топляки, плывут по самому верху, не видно их, и вот ее в голову бревном, Аркадий только отвернулся, а ее уж сносит, еле догнал, слава тебе господи, к берегу оттащил, ну очухалась как-то... У Горностаевых-то так ведь и утонул их Костя, ты Горностаевых помнишь? Ну он пьяный, правда, в воду полез, трезвый-то, может, и выбрался бы еще, да они там столько водки выпили, и вода-то ведь на майские еще ледяная, куда полез! А на Девятое мая его как раз и хоронили, на праздник попало, я ведь тебе рассказывала, нет, или ты не знаешь Горностаевых?

— Мама.

— А? Что, Ульяш? Солнце мое.

— Да ничего. На работе сегодня день дурацкий. Я пойду, ладно? В душ хочется.

— Ну походи, походи.

— И еще с Татьяной посралась. С Татьяной Николаевной. С Сашиной.

— Ох. Чего опять не поделили-то хоть?

— Я... Зашла узнать, вдруг новости какие-то. А она прям как зарядила с ходу...

— Ну... Да и в жопу ее, больно надо. Не любит она тебя и пусть не любит. А ты перед ней не очень-то и лебези.

— Да я не лебезю. Лебежу. Короче... Жирно ей будет, чтобы я лебезила.

— Ну ладно.

— Ну ладно.

Не сказала. Хотелось облегчения, но побоялась советов. Материнские советы, они такие — липкие, как цыганские предсказания. Не хочешь, а сделаешь. А Ульяне самостоятельности хотелось, ей всегда хотелось самостоятельности.

Взяла с сомнением нож, достругала салат, проглотила, не жуя, — огурцы горло царапали. Даже телевизор не стала включать, не было сил слушать это все. Набрала Саше. Прошла в единственную комнату — кровать, кресло, постер с котами, стянула майку вместе с лифчиком через голову. Створку гардероба открыла, там зеркало в рост. Посмотрела с сомнением на себя голую. Потрогала маленькую грудь. Представила, как разбухнет, если кормить ей. Провела пальцем по впалому животу. Странно. Невозможно представить. Нельзя, что ли, блин, было сделать как-то, чтобы почкованием размножаться?

• • •

Телефон начал звонить за час до будильника. Ульяна не ждала, поэтому первый раз пропустила, скинула только его на пол.

Он не унимался: и второй раз зажужжал, и третий. Она наконец очнулась, нашарила его.

«Анатол. Серг. 7 НЕБО Хозяин». И пропущено от него же.

— Да, Анатолий Сергеевич?

— Хули ты творишь?!

Пока добралась до работы, там уже все было кончено. Менты уехали, пожарные уехали, остались сидеть на бордюре рядом с опечатанным подвалом Кристинка и Анатолий Сергеевич. Начальник был весь пунцовый, как будто из парилки только что, Кристинка с потекшей тушью — после выволочки.

— Кто это был? Кого вы выставили?! — заорал он с ходу, стоило Ульяне показаться во дворе.

— Это... Он не сказал сам, показал только. Книжечка такая красная. Удостоверение. Контрольное управление какое-то.

— Ты дура?!

— А что мне делать было? Он знает, чего хотел? Знаете, чего?! — Ульяна сделала круглые глаза.

— И что?! В первый раз такое, что ли?!

— А вдруг если провокация? — пришло ей в голову объяснение. — Чтобы потом закрыть нас... Я подумала...

— Подумала? Я тебе не за то плачу, чтобы ты думала! Ты! Мне! Должна! Была! Звонить! Мне! Ты знаешь, какой штраф они мне выкатили? И решать отказываются! Провокация, ептыть!

— А что он с нами, как с говном? — не вынесла Ульяна.

— Да потому что! Да потому что мы для них и есть говно! И вы, и я! Ты вчера, что ли, родилась?! Ты чего за мой счет-то это все решила, а? Я теперь от них ввек не откуплюсь! Может, мне с вас взять?

— У нас нету столько, Анатолий Сергеевич, — обратно заплакала Кристинка.

— Ну давайте хоть в ментуру поедете со мной? Мне еще разбираться, подскажите там... Про говно, про провокации! Не хотите?!

Ульяна молчала, Крис всхлипывала. Анатолий Сергеевич кивнул им горько: понятно, кто ж хочет.

Он выбил из пачки сигарету, не сразу дочиркался до огня. Сидел, смотрел на растрескавшийся асфальт, на муравьев. Девушки стояли молча, переглядывались. Наконец он докурил, щелчком отправил бычок в полет.

— Обе на хер уволены.

3.

Ну и вот: сидели на ступеньках у зеленой реки, сосали пиво, пряча его от ленивых ментов. Ульянка думала взять себе нулевку, но взяла с градусом — ничего ему, там, внутри, от одного пива не будет. Заедали сухариками, вкус как у собачьего корма.

Рядом был серый низкий мост, тут же горделивый вологодский Первый электрический фонарь, сам себе памятник, а вокруг тусовались суетливые голуби в расчете на свой процент от кириешек. Река ехала конвейером времени, хуй ты в нее два раза войдешь. Что сделано, то сделано.

— Топиться не будем, — за двоих решила Кристинка.

— Трудно тебе, что ли, было? — все-таки высказала ей Ульяна.

— Ну фу! Ну он реально же отврат! Ну сорьки. Ты вот сама смогла бы?

— Отврат, — вспомнила Ульяна. — Реально. Ладно, чего там.

— Че делать будешь?

— Да хер знает.

Она допила пиво, сходила в ларек, взяла еще две бутылки. Открыла о бордю, вручила Кристинке ее долю. Сделала большой глоток, поперхнулась. Крис засмеялась, приснула пивом, и Ульянка засмеялась тоже. Сидели вот так и хохотали, как две истерички.

— Мудила очкастый, — сказала про Анатолия Сергеевича Ульяна.

— Да пошел он в пизду! — согласилась Кристинка.

— Воистину.

Сделали еще по глотку.

— Бля, вот была бы такая жизнь, чтобы никто не мог уволить! — вздохнула Ульяна. — Как же я заебалась, божечки.

— Ну такая бывает разве?

— Да потому что надо самой себе хозяйкой быть, а не горбатиться на дядю. А то и проболтаешься так всю жизнь, как говно в проруби.

— Возьмешь меня к себе, когда будешь хозяйкой? — улыбнулась Крис.

— Возьму, конечно. Было б куда брать только.

Расцеловались. Глупо, но стало полегче на минутку. Крис взяла в руку Ульянины пальцы, погладила. Облака раздвинулись, упал луч на землю. Ульяна бросила кириешек голубям, те заворковали от счастья. Сложилось ощущение, что еще можно было как-то существовать дальше.

— Но если у тебя там у первой маза какая-нибудь нарисует-ся... По работе... Ты тоже, типа, сигнал, — попросила Ульяна.

— Океюшки.

Обнялись еще раз. Пиво кончилось, пришла пора прощаться.

— Ну, все.

— Ну ладно тогда, че.

— Ага.

Побрела домой — и в отрыве от Крис, которая ее гелиевым шариком тянула вверх, опять Ульянку ебучим тяготением к земле прижало. И пиво сразу выветрилось, падла.

Осталась она одна. Во всем космосе одна осталась.

Хозяйка чего, бля? Ничего. Мечтай, дура.

Вот и сбило ее поездом. Сдохла и сама виновата. Знала, что так будет? Знала. Зачем ты мужика этого выкинула? На что рассчитывала? На удачу? На справедливость? Нету в мире ни удачи,

ни справедливости, сука ты тупая. Сила вот — это да, есть. А слабые хавают. Когда ты уже повзрослеешь, когда думать научишься?

По пути остановилась, присела на лавку, открыла телефон.

Что-то все кружилось, и мир расклеивался на бессвязные части. И низкие дома, и зеленые кусты, и пыльные дороги, и люди потерянные, и небо пустое, все в какую-то бессмыслицу превратилось, в обломки разбитой чашки. Не было за осколками, сметенными в совок, больше видно прежнего целого. На хера это все и было? Реально только в мусорку — и забыть.

Стала искать: «Как сделать аборт Вологда».

Предложений было много: «Прерывание беременности от 3700р вакуумный мини-аборт, медикаментозный 4500р, хирургический 4000р, одним днем, без госпитализации». Почитала, сделалось еще хуже. Недорого это все было за такую услугу, удобно и быстро. Слишком дешево за то, чтобы оборвать первую беременность, слишком просто. На Ульянину зарплату таких вон хоть пятнадцать раз в месяц делай. Так можно прямо и сегодня пойти — и чик!

А что? Промыть внутренности хлоркой. Сделать, забыть, начать с чистого листа. Отказаться от квартиры, вернуться к маме, поплакать три дня, ну три недели, ну три месяца. И потом — с нуля. Найти новую работу, найти новую квартиру, начать собирать мир обратно по кускам.

Вакуумный мини-аборт. Горло схватило чьими-то руками в резиновых вонючих перчатках. Мини. Вакуумный. А какой выход? Сейчас с брюхом мыкаться, искать, где подадут, объявления обзванивать? Продавщица в ларек, тридцать тысяч? Воспитательница в детский садик? Тридцать две пятьсот. Может, на панель сразу уже?

Нет. Не для кого оставлять его. Некому.

Был бы Саша — можно было бы посоветоваться. Только он, наверное, испугался бы взрослеть и сам попросил бы убрать ребеночка. Хотя, может быть, и наоборот, запретил бы убирать —

неизвестно, как там война на мужчинах сказывается. Но где этот Саша?

Набрала ему. Временно недоступен.

Сожрала плитку шоколада, поломала на квадратики и все квадратики один за другим слопала.

Хорошо, что матери вчера ничего не сказала. Так легче будет притвориться, что ничего и не было. Никаких фантазий, никаких тревог, никакого «а если бы». Нет у нее такого будущего и не было, причудилось просто.

Везло Кристинке: ей было заплакать, как пописать. Со слезами как-то сразу вся дрянь у нее из организма выходила. Пореветь — как подвисший телефон принудительно перезагрузить, раз — черный экран — и новая жизнь, все работает, едем дальше. А Ульяна не умела плакать, и муть в ней копилась, не было такого шлюза, чтобы слить ее разом. Сидела вот, рвала зубами губы изнутри. Нравилась ей на вкус ржавчина, и нравилось, что саднит.

• • •

Ржавая девятка съехала с асфальта и, ухая амортизаторами, запрыгала по ямам; к маткиному дому асфальт не приходил, надо было по грязи еще повихлять. Хорошо хоть, лето было жаркое, все подсохло, а вот осенью... Одна печаль.

— Украинские формирования испытывают дефицит в мотивированных солдатах, об этом рассказывают те, кто попал в плен к нашим частям, а таких все больше, — с выражением читало радио. — По их словам, зверские действия ТЦК, так называемая «бусификация», когда прямо на улицах Киева устраивают облавы на мужчин, не разбирая возраста, вызывают все большее недовольство на Украине. Среди тех, кого таким образом «бусифицировали» и сразу, без боевой подготовки, забросили на фронт, чтобы отправить в мясные штурмы, уровень выживаемости стремится к нулю. Поэтому практически все пытаются дезерти-

ровать. Некоторым везет, и они живыми оказываются в плену у наших бойцов.

Виталья вцепился в руль обеими руками, Татьяна прижимала к груди пакет с гостинцами. Мать выезжала из деревни редко, а в самой Бушуихе один только ларек был с хлебом и водкой, да и в Хорошевском поселковом продмаге выбор был бедный.

Детей оставили в городе, старшая смотрела за младшим. Раньше их можно было к бабке на целое лето забросить, из тины не вылезали, а теперь волоком было не затащить. Повзрослели.

А Сашка бы поехал сейчас с ними. Сашка *баушку* любил свою, она его и растила, и тащила, пока Татьяна с Виталей каждый на своей работе от гудка до гудка — Виталья на ТРЗ, а Татьяна на птицефабрике.

Бушуиха была рассыпана неровно по обе стороны от речки Лежи, заболоченной и обросшей камышом. Комарам тут было раздолье, местные их не чувствовали уже: едят и пусть едят, только у Татьяны каждый раз распухало и чесалось, за это она Бушуиху не любила. За это и еще за многое.

Бушуиха, если и Зимняк с Горой считать, была домов на двести. Тут и вологодские дачники жили — от города час по трассе, — и местные, деревенские. В Зимняке больше уже коттеджи были, ну или хоть покрашено, а на Горе, где маткин дом, — обшитые доской избы, от времени все черные.

Дома стояли в проплешинах между лесопосадок, за рощами начинались поля, за полями опять леса, и все было до горизонта плоское, как будто господь эту землю бульдозером ровнял. Собирался строить что-то, но отвлекся на что-то более интересное, а тут пока что, в ожидании, все само разной плесенью поросло.

Доехали до дома, Виталья хрустнул ручником, Татьяна закряхтела, выбираясь. Альяма смотрела на нее равнодушно, чуть-чуть только постукала хвостом. Дверь была приоткрыта, Татьяна шагнула сразу в сени: пахло сыростью и пропаном, стоял вечный полумрак. Ступени в избу перекосило, они стонали. На приступке,

которая к чердаку вела, на газете были разложены сыроежки. В углу ждала взведенная мышеловка. Все как и сто лет назад, когда Татьяна девчонкой была.

Дернула на себя вторую дверь, которая в дом. Низкий потолок, запахи щей и ладана, чеснока и старости. На окнах кружево самодельное. На стене ковер и календарь за восемьдесят седьмой год. Это у матери от отца увлечение осталось, высчитывать, какие годы по числам и дням недели совпадают, чтобы вместо новых календарей старые вешать. В восемьдесят-то седьмом отец и жив еще был, и выглядел вот как на фотоснимке на этом, и Тане двадцать лет было только, она еще на другую совсем судьбу рассчитывала, думала, выскочит замуж и укатит из Бушуихи. Но Бушуиха ее далеко от себя не отпустила.

— Мам!

Не было ее тут. Мухи отчаянно жужжали об стекло, хотели вырваться, а внизу подоконник был усыпан сухими трупиками тех, кто до них пытался пробиться через прозрачную стену, своими мушиными мозгами не понимая, что это стена. Гудел и дребезжал бессменный советский холодильник. С улицы поскрипывал винт еще отцом сколоченного краснозвездного самолетика-флюгера на покосившемся шесте, и откашливался Виталя, затянувшись папиросой.

— В огороде, что ли... Мам!

Это вот привычное чувство: не померла ли хоть? Такое странное чувство, между тревогой, облегчением и стыдом за это облегчение, все в кучу, все за миг.

Обогнула дом, вышла в огород — нет, не померла. Вот на скамье сидит, прислонившись спиной к сараюшке, греется на солнце.

— Мам! Ты оглохла, что ли? Зову-зову...

— Ой. Здравствуй, Таня. А ведь, пожалуй что, оглохла.

— Я уж напридумывала тут себе, — сердито признала Татьяна.

— Прости. А я и забыла, что вы едете.

— Продуктов тебе вон привезли.

— А?

— Продуктов! Картошку вон, мясо, крупы. Помидоров!

— Да куда? — мать махнула сморщенной загорелой рукой. — Я и то еще не съела, довольно хоть вам на меня тратить!

— Дак что ты не ешь-то? — недовольно сказала ей Татьяна. — Ты ела бы!

— А не знаю, — улынулась ей мать беззубо. — Не хочца.

Татьяна стояла над ней, руки в боки. Запущенный огород — тут раньше капуста росла, а тут картошка — теперь весь был в сорняках, в кашке, в осоке, даже и грядки сгладились. Быстро оно все без человека... Протоптано было только к покосившемуся колодцу. Трава шевелилась, шевелились белые волосы, кричали вороны. Мать зажмурилась, задумалась, словно забыла, что у нее гости.

— Стоко тратисся, Таня. Огурцы купи, картошку купи, помидор купи. А вот же огород-то... — она открыла снова глаза. — Сажали бы, свое бы было. Зачем покупать. Нет, покупать они будут. А огород забросили.

— Зачем огород, когда купить можно? — как маленькой, как глупенькой объяснила ей Татьяна.

Мать вздохнула, посмотрела на нее через прищур. Татьяна наконец присела рядом на скамейку. Мать подвинулась, пуская. Показала на парники, в которых теперь росли одуванчики и чертополох, а мутная пленка вся изорвалась:

— Видишь, что с землей. Я-то сама не смогаю. Смогала бы, был бы тут уж у меня порядок. Это разве дело? Сорняки да бурьян. Борщевик! Тоска какая. Ленитесь вы.

Это слушать Татьяна точно не была готова.

— Мам! Я на этом сраном огороде всю жизнь враскоряку! Можно я хоть сейчас не буду?! И ты себе тут глаукому заработала, и отец тут, это самое, помер! Хоть нам-то по-людски можно пожить?!

— Дак отец-то что... Мужики ведь хрупкие, — мать пожевала пустым ртом, причмокнула. — А вот вы богатенькие стали.

Дочь развернулась к ней плечами, грудью — голова отдельно у нее плохо крутилась.

— И так тебе не так, и эдак не эдак!

Мать покивала. Полетел шмель, как маленький беспилотник. Залаяли за рекой собаки, сбиваясь на вой. Прошла по границе между маткиным и соседским участками трехцветная кошка.

— Слышно что о Санечке?

— Не говорят ничего, — ответила Татьяна.

— Тут вот помнишь, капуста раньше росла? — мать указала на невидимые грядки.

— Да помню я все! Она тут всю мою жизнь росла!

— Ну дак вот. Ему когда годика три, что ль, было, Санечке, мы слизней с ним пошли с капусты с этой собирать. В первый раз нам с дедом помогал. И надо было их в банку с бензином. Он и говорит: деда, а им нравится бензин? Воняет же. И вот ему отец твой отвечает: нет, они тамдохнут. Он тогда их в банку класть перестал, в карман напихал себе, а потом пошел за забор и выпустил в канаву... — Она вздохнула. — И что с парнем стало?

— В мужика вырос, — Татьяна поджала губы.

Мать покачала головой задумчиво, глядя в бурьян.

— Это вот когда его в милиции побили, вот он тогда переменился.

Татьяна набычилась.

— А что такого? Отец-то поди служил! Виталя вон мой служил даже. Он мужчина или не мужчина? Армия, мам!

— Уйди-ка хоть! — отмахнулась от нее та. — Разницы, что ли, не видишь?

Забрел к ним на звук своего имени Виталя с пустым эмалированным ведром: надо было воды натаскать, раз приехали. Почесал зад в синих атласных трениках.

— Здорово, мать!

Полез через высокую траву к кривой яблоне, с дурацкой печалью оглядывая запустенье. Добрался, сорвал бледное яблоко, укусил, скривился, зажмурился, но продолжил жевать. Потом двинулся дальше в бурьян — к бывшим малиновым кустам.

— Жалко малину... — пробормотал он оттуда.

— Что хоть ты там бубнишь? — как будто не разобрала Татьяна.

— Малину жалко!

Мать услышала, закивала, заулыбалась, тоже загрустила. Спелись, сердито подумала Татьяна.

— Ой, поди ты, малину ему жалко! Не хватило тебе этой малины за тридцать-то лет! Малины жалко ему, а меня ему не жалко! Впятером в полутора комнатах не хватило тебе? Зимой на сарай гадить ходить! Не хватило? И вот давай, заладили, что одна, что этот! Прицепились к огороду к этому сраному! Да я его ненавижу, понимаете вы или нет, ненавижу! Ведь всю жизнь на нем прогорбатились, то капуста, то картошка, то полоть, то жука колорадского, то слизни эти ваши, парники каждый день туда-сюда, воды натаскай, да сколько можно-то! Это жизнь, что ли то, по-вашему? Нет ведь, ноют и ноют! Ты ведь в первый раз полюдски живешь, у детей у каждого по комнате, в городе, зимой отопление будет, на все хватает, наконец от государства от родного дождались! А он все по малине по своей по червивой! Тьфу!

Виталья тем не менее, пока она фырчала, обирал себе по-маленьку кусты, пихал ягоды в рот. Потом пошуршал к колодцу. Взялся за ворот, отмотал цепь, кинул ведро вниз, оно бултыхнуло где-то в глубине, глухо. Летом вода далеко уходила, сейчас достанет одной грязи. Маткин колодец тоже надо было чистить, она давно просила, но Татьяне было смерть как лень заниматься. Заскрипел ворот и, лязгая цепью, стал вытягивать полное ведро.

— А надо это все было? Вот и дальше жили бы на всем своем потихоньку. Зато было наше, наше, — негромко сказала мать. — А так... На Санечку на моего разменяла.

Татьяна подскочила как ужаленная.

— Поехали! — завопила она Витале, который втянул голову в плечи еще до этого крика, еще когда бабка свои ядовитые слова выпустила, уже зная, что дню конец.

И, не прощаясь, не дожидаясь, пока муж достанет воды, Татьяна рванулась вон, к машине. Только заворачивая за угол уже, кинула матери, не зная уж, чего еще придумать, как уехать:

— От ведь неблагодарная!

Та спорить не стала. Отвернулась.

• • •

Еще несколько дней Ульяна просто сидела у себя дома, лежала в кровати, до кухни только доползала и до толчка, жрала чипсы, жрала шоколад, жрала колбасу руками, не мылась, листала рилсы, листала, листала, листала рилсы: обрывки «Камеди», исповеди блогерш, подборки несчастных случаев, милые котята, милые щенята, дети несут всякую сладкую хуйню, челленджи танцев, челленджи липсинка, вся правда о ковиде, вся правда об СВО, вся правда о Путине, вся правда о пришельцах, еще котята, опять собачки, жирафы, вся правда о педофилах, гороскопы, готовка — бесконечный помойный поток, который сначала веселил, потом отвлекал, потом укачивало от него уже, а он все не отпускал, и тошнило, и не было воли остановиться, а только отрубиться можно было, чтобы с утра продолжить. И встать, чтобы поехать в клинику и сделать уже вакуумный мини-аборт наконец, чтобы пустота была, тоже не было сил, так что оно внутри тем временем все нарастало, давило, требовало, и Ульяна зажирала его шоколадом, задабривала чипсами, кормила колбасой.

Крис звонила — скидывала. С мамой — пара слов. Не было ни на кого сил. Все силы ушли тогда: на то, чтобы свет выключить. Себе самой и выключила, получается.

А потом еще раз запиликало.

И Ульяна почему-то сразу подошла, хотя номер был неизвестный и могли быть мошенники. Просто екнуло — подойти!

— Алло... Уль... Улька...

Это был не его голос, а чужой чей-то... Как будто он ей с того света по медному проводу звонил и все живое из его голоса по пути отсохло, осталось шелестение какое-то, какое-то шуршание. Но это было именно его голос, Ульяна сразу узнала. Не смогла от неожиданности набрать воздуха и откликнулась тоже сдавленно:

— Саша?

— Улька... Привет... Это я... Смотри... Вспомнил... Вспомнил номер... Это я... Это мне дали... Позвонить... Я просто свой-то проебал...

— Саша, ты как?! Ты где?!

Она вскочила на ватные, отвыкшие жить ноги, забежала по своей клетке. Сердце — трррррр, пульс двести, кишки скрутило от ужаса — судьба разворачивалась, перерешалась по-другому, и Саша, Саша оказался живой, а она его похоронила уже, сука, сколько раз похоронила его, и ребеночка его, не спросившись, выскоблила, а он вот он, и ребеночек жив, и все еще можно отыграть назад!

— Я... Я тут... Вроде, в Москве.

— Что ты там делаешь? Господи, Саша, я думала... Я боялась... С тобой все в порядке?

— Со мной?.. Со мной в порядке. Меня... Меня тут подранило, короче... Я в Москве. Я в госпитале.

— Почему ты не звонил? Почему не написал? Мы знаешь как тут все волнуемся!

— Да? — растерянно прошелестел он. — А я просто только что проснулся. Я спал.

— Ну слава богу! Слава богу!

— Уля... А ты приедешь ко мне? Я по тебе соскучился...

— Я приеду! Я приеду! А куда ехать?

— Вот. Да... Я дам трубку тут... Другу. Уль... Он тебе скажет. Это его телефон. Мне отдохнуть надо просто. Ладно?

— Саша! А ты...

Но уже ушел телефон к другому человеку, и он сообщил Ульяне, что Саша лежит в Подмоскowie, в госпитале Вишневского, в филиале. Этот человек тоже странный был, как и Саша, но подтверже, поуверенней. Ульяна забежала по квартире, искала ручку, чтобы записать, умоляла, чтобы не отключались, успела, нашла карандаш, нацарапала адрес, отделение. А перед тем, как повесить трубку, этот человек шепнул Ульяне, что Сашка тяжелый и что если она едет, то пусть уже едет, не откладывает.

Потом стало тихо.

Ульяна полчаса стояла в душе. Выскочила и первым делом — проверять, было ли это вообще? Не показалось, было.

Тогда она набрала матери. Вывалила на нее все сразу, мешая и путая, тарабаря, запинаясь, заодно сама себе в первый раз вслух рассказывая свою историю — не обрывками, не картинками, а человеческими словами. Сначала про Сашу, потом про увольнение, в конце про беременность, потом снова про Сашу и про беременность опять.

Мама только охала, жалела ее. Пыталась вклиниться, но Ульяне сначала нужно было просто выговорить это все, потому что выплакать-то это она не могла! У нее прямо уши заложило, как у тетерева на току, одну себя и слышала. И только когда поняла, что два раза уже все повторила и пошла на третий круг, тогда остановилась отдышаться.

— Счастье-то какое, Ульяш... Счастье-то! — сказала мама.

— Счастье? — механически за матерью по слогам повторила Ульяна.

Больше оно ощущалось как пиздец. Как тыща вольт. Как в прорубь на Крещение. Как ЕГЭ, который если не сдашь — иди вешайся.

— Говорят, он тяжелый.

— Но живой ведь! — возразила мама.

— «Тяжелый» — это что значит? Сказали не затягивать.

— Ну... Кто знает. Не сказали же «при смерти».

— Что мне делать-то, мам? — беспомощно спросила Ульяна.

Вот теперь она сама не хотела решать. Она в этом всем и так слишком долго проварилась одна. Нужно было услышать человека старше, опытнее.

— Ну что-то. Надо ехать, Ульяш.

— Страшно, — призналась она.

— А что ж делать? Не ехать? У тебя же ребеночек его. Но-сишь. Ничего и не страшно. По-христиански это. Надо.

— А если он умрет, мам?

— Ну прямо и умрет! Не умрет. Надо повидаться, надо поддержать парня. Ну? Хочешь, я с тобой поеду?

— Нет уж.

— Скажешь ему, что беременная. Он знаешь как жить сразу захочет.

Обе помолчали. Странно было молчать по телефону. Какой-то мертвый шум стал заполнять их тишину, копился, надо было его скорее разрядить. Обе, может, думали об одном, но мать, хорошо, сказала первой:

— Вам бы зарегистрироваться надо, вот что.

— В смысле?

— Да в прямом. Зарегистрировать отношения. Расписаться. Не понимаешь?

— Не знаю.

Ульяна, конечно, все понимала. Но это ей было трудно произнести. Мама тогда помогла ей опять.

— А что такого? Тебе ребенка воспитывать его. А там от государства, между прочим, положено. Выплаты. Семьям участников СВО. И вот если случится с ним что...

— Ты только что говорила, что с ним все хорошо будет! — запротестовала Ульяна.

— Послушай... Ты взрослый человек либо нет? Дай бог, все будет хорошо. А если не будет? Как ты будешь воспитывать-то, растить ты его как собираешься?

— Я не хочу об этом думать, ма!

— А надо об этом думать! Обо всем думать надо, в твоём-то положении, — мамин голос окреп, она, видимо, по-родительски уже промотала три сценария Ульяниной судьбы вперед, просчитала и вынесла определение. — Ты ему сейчас кто?

— Никто.

— Вот именно.

Еще послушали молчание эфира. Ульяна вздохнула.

— Это как-то, знаешь, все-таки... За этим ехать... Жуть какая-то.

— Ты не за этим едешь. Ты не ради себя.

— Ну да.

— А что такого, Ульяш? Тебе положено! У тебя парень — участник. Ты невеста его, по факту. Положено же?

— Мам...

— Вот тебе и мам. Гляди, пока пузо не выросло. А там еще мать его узнает... Ей-то, поди, скоро сообщат, если уже не.

От упоминания о Татьяне Николаевне у Ульяны нутро желчью залило, загорчило во рту. Заскребла кожу ногтями. О Татьяне она не думала вообще, пока мать не сказала. Вдруг стало ясно: надо ехать точно, и быстро нужно ехать, иначе захлопнется обратно эта дверца, захлопнется и исчезнет, одна кирпичная стена останется, и не из чего уже Ульяне будет выбирать.

— Да как я поеду-то? Где я там жить буду? Меня уволили же. Я на мели вообще.

— А у наших московских и поживешь. У тетя Марины.

— Я их когда видела, мам? Двадцать лет назад?

— Ну дак и что? Она моя сестра, так-то.

— Двоюродная.

— Ну и двоюродная. Все одно, кровь.

— Думаешь, пустят?

— Пу-устят. Я позвоню. Вот прямо договорим и наберу им.

— Спасибо, мам.

Но когда мать отсоединилась, силы все тут же ушли, как вода в песок. Плясала Ульяна на нитках, казалась живой, а отпустили нитки — превратилась в тряпку. Скукожилась на матрасе, стала сама эмбрионом. Имеет хоть она вообще право это все сделать?

Нет, нельзя было думать о том, что Саша может умереть. Нельзя думать о деньгах. При чем тут деньги? Деньги тут ни при чем.

Ночью открыла глаза. Нашарила телефон. Подтянула к себе. Открыла поисковик, с искусственным интеллектом, который Крис ей поставила. Потерла подушечки пальцев. Думала, как правильно спросить. Виски пульсировали. Она посмотрела на луну за окном. Луна целиковая висела, красная и дурная. Луна ее и разбудила, наверное.

Стала вбивать в поисковую строку запрос: «Сколько гробовых положено вдовам участников СВО?», потом застыдилась слова «гробовые», успела передумать и просто «выплат» написать, прежде чем запрос отправить, не спалилась перед американской ИИшкой.

Та мигом разложила все по полочкам, лучше любых Госуслуг. «Президентская выплата 5 000 000 рублей, делится между вдовой и родителями; единовременное пособие Минобороны, 5 524 892 рубля, делится между вдовой и родителями; страховая выплата от ООО «Согаз», 3 400 000 рублей, делится между получателями». Если вдова бездетная, ей треть, если с ребенком, то от всего половина. Нули, нули, нули. Обнуление какое-то. От нулей закружилась голова, замутило.

Неужели такая вот я мразота, спросила у себя Ульяна.

А там еще вниз дальше шло: региональные выплаты, от миллиона до пяти. И еще какая-то мелочь насыпана. 11 530 рублей пенсия вдове, если погиб при исполнении. И вот еще вдове —

ежемесячные выплаты. И еще — льготы всякие. Это золотое дно какое-то было. Знай греби.

Ульяна поднялась, пошла в санузел. Встала перед зеркалом и удивленно осмотрела себя в нем. Кто такая? Залепила себе пощечину — то ли чтоб от боли проснуться, то ли чтоб от боли живой себя почувствовать, то ли наказать себя. Но больно не было.

Она просто делиться со мной не захотела, сказала себе Ульяна.

Татьяна Николаевна. Она просто не захотела со мной поделиться. В этом все дело. Она-то эти цифры, небось, раньше изучила. Это я, дура суеверная, боялась заглядывать. А она жесткая баба. Поэтому и в семью не пускает, а не то что я в блядюшнике там... Это отговорки все, она меня просто ядом прыснула, чтобы парализовать.

А что, правда, разве Ульяна тут чего-то такого просила, что ей не причиталось бы? На чужое позарилась она, что ли?

Нет. Она просто хотела по справедливости. Только законного.

Того, что ей положено. Ее долю.

Равную.

Облегчилась, умылась, вернулась. Проворочалась всю ночь, уснула только под утро. Красная луна мешала.

4.

Максим слушал по радио «Орфей» классическую музыку; Кирюха называл его радио «Морфей». Там и дирижеры, и ведущие пока что держали нейтралитет и вели свои трансляции откуда-то из прекрасной эпохи, где последние войны отгремели еще при Нибелунгах, а с тех пор как будто воцарилась в мире сплошная благодать. Новостного блока на радио «Морфей» и вовсе не было, чтобы не создавать интеллигентной и немолодой уже аудитории проблем со сном и пищеварением.

Машины выдавливались из туннеля тугими струями, как из дырок в мясорубочной решетке. Железный фарш медленно ложился на бетонное блюдо Третьего кольца. Вот был, вроде же, исход — сколько народу уехало! — а пробок меньше не стало. Москва к децимациям вообще нечувствительна — и была, и есть, и будет. Коси ее сколько хочешь — все равно новое вырастет.

Но конкретно в этом случае простой арифметикой было и вовсе ничего не объяснить, тут высшая математика вмешивалась. Москва стояла, потому что спутники барахлили. Потому что навигатор теперь везде показывал сплошное Шереметьево и рассчитывать можно было, как в далекой юности, только на свое знание города. Гастарбайтеры-таксисты, выкинутые из «Яндекса», путались и терялись, тыркались туда-сюда, как роботы, которым их Скайнет отрубили, и просили пассажиров показывать им дорогу. И пробки еще не отображались. А люди уже отучились жить

по памяти, как раньше, потеряли сцепку с землей, привыкли к облаку, и память за ненадобностью отсохла. Теперь вот надо было обратно переучиваться на прошлое, раз будущее заблокировали; но шло медленно.

Стояла Москва в пробках и проклинала «Яндекс». Злость-то у всех копилась. От нее, как от желчи, во рту горчило; надо было на кого-то плюнуть. И вот ненавидели навигатор, сбоящие спутники. Предпочитали к спутникам относиться как к самостоятельным существам, как к конечной инстанции. А спутники барахлили отчего? По какой причине? Вот сюда уже люди старались не думать. Потому что там такая цепочка умозаключений начиналась, которая браслетами наручников заканчивалась.

По радио «Морфей» давали Вагнера.

Вагнер... Интересно, может намекают все же? Шифрограммы шлют, подмигивают своим потихонечку. «Лебединое озеро», ясное дело, поставить не могут, слишком все будет очевидно, а Вагнер...

Максим искал везде знаки от единомышленников: особого понимающего взгляда, скептической улыбки для своих, долгого, словно тайного масонского, рукопожатия, «Нет войне» маркером в лифте или на светофорах приписку к трафаретному «Ждите» — маркером, от руки: «он умрет». Максим знал, что вокруг должно было много быть таких людей, как он, — которые за три с лишним года войны так с ней и не смирились, для которых она стала привычкой, но не нормой, и которые вот так вот исподтишка партизанили, не рассчитывая ни победить государственного молоха в этой заранее обреченной борьбе, ни даже особо помешать ему жрать людей — это отдельному человеку тоже было не по силам, — а просто хотя бы на свой крохотный участок жизненной ответственности его не пустить. Спасти себя и свою семью, а может, даже и какого-нибудь случайного незнакомца.

Вот как при поздней советской власти у каждого интеллигента в кармане была фига: конечно, фига не финка, но неучастие во всем тоталитарном уже есть сопротивление, потому что тотали-

таризм без тотальности — не тоталитаризм, да и не неучастие ли людей в конечном итоге развалило совок? В честь этой фиги в кармане Максим себя и таких, как он, называл «фиговым подпольем». Ударение на «И».

Вагнер отгремел, приготовиться Листу. Потом Шопен.

С таким саундтреком было в целом терпимо. Во-первых, он был анахроничен, и Максима это устраивало: общее время все равно уперлось во рвы, в минные поля, в дронные килл-зоны и остановилось. А тут слушаешь — и как будто ты не в России двадцать пятого года, а где-то нигде, в своем индивидуальном измерении. Это во-первых. Во-вторых: пусть планету заклинило, пускай общественный временной континуум заколдобился, но ты — молодец, своего личного времени даром не теряешь, занимаешься самообразованием, вот тебе Шопен, а вот Шопенгауэр, — в мировой культуре есть куда копнуть, можно и с головой зарыться, и ничего как будто нету страшного в том, что все твои планы накрылись медным тазом: не все же вперед и вверх в этой жизни должно идти, вглубь тоже бывает полезно.

Справа и слева стояли китайские машины — футуристического вида, зализанные. С одной стороны жеманная красotka марафет наводила, дула губки в откинтое зеркало, а с другой — пальцем подруливал нарочито brutальный мужчина: татуированные бицепсы, бугрящаяся спина. Хотелось их друг другу представить, они были словно друг для друга созданы.

Европейские машины иссякли, и теперь их ввезти можно было только кривыми тропками и втридорога, а китайцы были везде доступны без очереди и дразнили ценой; Максим и сам на них ненароком заглядывался. Но только на улице и только исподволь, а в их автосалоны он не заходил из принципа. «Чайники», как звал их Максим, захватили Москву после начала войны и для него были ее прямым следствием. Россию за варварство и канныализм отлучили от западной потребительской церкви, немецкий автопром отняли — и китайцы хлынули в образовавшиеся пустоты. Китай

Россию за ее аморальность наказывать не собирался и даже как будто наоборот, поощрял: китайский эрзац был не только каждому по карману, но еще и казался на фоне европейской кургузости гостем из будущего. Но это было какое-то другое совсем будущее, чужое, высокотехнологичное, но бесчеловечное. Ничем не похожее на то, какое Максим сам раньше представлял и какое для себя планировал.

Поэтому все, кто радовался китайским машинам, в его глазах салютовали с одной стороны — Великому файерволу, социальным рейтингам и цифровому Гулагу, а с другой — русскому зондервегу, всяческой хохломе и посконности, разрыву с Европой и, получается, самой войне. Коллаборационисты, проводники тоталитаризма и предатели мечты о европейском будущем России, бухтел Максим.

Стоя в пробках, в китайские машины он всегда заглядывал с будто бы брезгливым интересом, якобы пытаясь определить слабости и пороки их владельцев, которые принудили их к такому выбору; но заодно и облизывая взглядом приборные панели, заимствованные прямоком из фантастических фильмов. А марки машин с их нелогичным произношением (ну как и с какой стати «Hongqi» должно читаться как «Хончи»? Хорошо, Кирюха объяснил, сам бы ввек не догадался) он все же — против воли — выучивал и запоминал.

Сам-то Максим продолжал ездить на начинающей уже осыпаться «ауди А6».

Может быть, он так на них злился просто потому, что их время пришло, а его уходило. А может быть, потому что их ставка сыграла, а он прогадал. Так? Ну нет, не прямо вот так вульгарно он был устроен, не так простецки. Это все тоже присутствовало, конечно, если уж быть с собой до конца честным, но земного и шкурного тут было процентов двадцать, а другие восемьдесят — экзистенциально-принципиального. Окей, тридцать на семьдесят.

На семьдесят Максиму было грустно, что тектонические плиты расползались, что Евразия раскалывалась, что Россия опять отходила Орде. А главное, потому что Орде она отдавалась похотливо, испытывая явное облегчение от того, что можно было наконец скинуть строгое и тесное европейское платье, злорадствуя над своими разочарованными западными попечителями, да еще и их же самих, исключительно чтобы поглумиться, обвиняя в своем разврате и дебоше. Дескать, вот чего вы добились вашими ограничениями и запретами: до изнеможения довели! А сами-то имеете ли право нас учить, с вашим-то лицемерием, с вашими-то тайными извращениями, да не вы ли это нас убаюкали обещаниями, а усыпив, в волшебном нашем сне над нами и надругались, нас растлили! Растлили-с.

Тут, конечно, ничего нового не было. Это все было в русской традиции представления любого своего греха как ответа на чужой еще более страшный грех, как акта справедливого возмездия, на котором, следовало считать, сказочке и конец. А любые последствия этого греха, пусть даже и самые катастрофические, предлагалось относить уже к другой истории, никак с предыдущей не связанной, поскольку расположенной на другом витке спирали исторического развития. Да вот только на деле — и именно от нежелания разбираться в причинах и в следствиях дальше того, что было в сей момент выгодно, — в России эта спираль спиралью была только по формальным признакам, по движению по оси t , а по сути была кольцом. Бетонным кольцом, до краев наполненным железным фаршем.

Этой вечной русской народной сказки, которую народ рассказывал сам себе, где справедливость заключалась в том, что жертва превращалась в палача, сначала пострадав самозабвенно, а потом в свой черед сея с отяжечкой, где униженность и возмездие были хвостом и пастью уробороса, Максим был не читатель и не почитатель. Но на народе он крест ставить отказывался, а надежды свои возлагал на просвещение, которо-

го в России до сих пор так и не случилось, а значит, прежде чем разочароваться в народе, надо было на нем это последнее средство еще испытать. Россия пропустила Просвещение, говорил Максим в спорах своим скептически и эсхатологически настроенным друзьям: подменила Просвещение ликбезом. Читать народ научили, а правильных книг не дали. Надо было правильные книги людям в руки дать и потом еще квиз по их мотивам провести, чтобы материал точно усвоился.

Так что свою работу Максим скромно считал участком передовой всеобщей борьбы за умы и души, а конкретно он сражался за то, чтобы уроки прошлого выучивались, палачи не выставляли себя жертвами, а Гондвана глобального просвещенного мира уцелела. Никому об этом он не говорил, будучи человеком не хвастливым, а вернее, стесняющимся хвастаться, но сам с собою, наедине, так все же считал. Только вот сейчас на западном фронте шли перемены, и перемены эти были не к лучшему.

— Погубили Гондвану, гондоны, — пробормотал вслух Максим. — Какую Гондвану загубили!

В этих упаднических мыслях он и доехал до своего магазина. Запарковался во дворе, посмотрел на себя в зеркало и увидел себя там вдруг потрепанным жизнью малознакомым мужчиной, непохожим на, казалось бы, недавнюю паспортную фотографию. Год за два.

Вздохнул. Вышел.

— Здравствуйте, Максим Павлович! — по-домашнему улыбнулся ему охранник.

— Привет, Валер, — ответно улыбнулся ему Максим и протянул руку.

• • •

Проснулась Ульяна из-за полнолуния поздно. Под утро снилось что-то нехорошее, и нужно было раньше из этого сна выпу-

тиваться, но даже в нем Ульяна помнила, что снаружи ее ожидает что-то еще более страшное — потому что настоящее.

Расклеила глаза, очнулась, лежала.

Надо было брать билет. На когда? Открыла железнодорожный сайт, полистала поезда, толком не соображая, но нервничая все больше. Дневным ехать или в ночь? От этого простого выбора стало жарко, она отбросила одеяло. В чем дело? Тут же все ясно: конечно, надо как можно скорей к Саше попасть, повидаться с ним. Это с одной стороны. А с другой — надо себя привести в порядок, нельзя к нему чучелом, да еще с такими новостями и с такими предложениями. Но было еще что-то... Черная стрелочка компаса, которая упрямо указывала, мандражируя, в ту сторону, куда Ульяна смотреть не хотела. Куда?

Она держала в руках тяжелый телефон, в оцепенении глядела на экран. Что-то надо было ей сделать. Что-то она должна была сделать.

Позвонить Сашиной маме, вот что.

Позвонить и обсудить с ней планы. Посоветоваться, договориться ехать вместе. Узнать вообще — а ей-то он дозвонился? А если нет? Ульянин-то он номер помнил, а домашний? Надо ведь тогда его матери сказать, что Саша живой!

Ну нет, засомневалась Ульяна. Не может такого быть, чтобы он домашнего номера не знал; и уж кому-кому, а матери он должен был первой набрать! Точно, набрал. Он ее любит, слишком даже любит, любит и к тому же боится. Вот когда она ему запретила о браке с Ульяной заговаривать, он и лапки сложил. Выбрал мать.

А это что значит? А это значит, что она-то в курсе уже, со вчерашнего дня еще, а сама Ульяне звонить не стала, не стала ей ничего сообщать. Значит, даже такое чудо ее никак не смягчило: как она Ульяну отвергала, так и отвергает. С самого начала Татьяна решила ее ненавидеть, просто так, без всякого повода — только потому, что Ульяна ее сына старше, ну и из-за ее работы. Недостаточно хороша для ее сыночка.

За что? Да ни за что. Сука она потому что.

А все же, почему она не сказала Ульяне? Почему не поделилась?

Просто из нелюбви? Нет, тут другое что-то.

Из недоверия. А в чем можно Ульяну подозревать? Чего от нее ждать можно? Что поедет в Москву, что будет настаивать на женитьбе. Ульяна-то ей все честно озвучила, в лоб.

Саша спал еще, видимо. Ульяна написала ему «С добрым утром», послала сердечки, сообщила, что скоро к нему приедет. Сердечки были красные, но не такого цвета, как кровь. Хорошо, что есть смайлики, подумала Ульяна. Их проще слать, чем лепить словами.

Дальше валяться было нестерпимо. Ульяна прыжком поднялась, заходила по квартирешке своей, как по клетке. Зубы расчистила до крови, пока кашу варила — паром ошпарилась, мизинчик на ноге больно стукнула об угол. Хватала телефон, проверяла, отбрасывала. Все ждала, пока Татьяна напишет или позвонит ей, чтобы сказать, что Саша жив. И все зря.

Значит, не хочет говорить.

Ну, допустим, Ульяна и наберет ей первая. Признается, что собирается к Саше в Москву, что уже обо всем с ним условилась. Что ей ответят? Чтоб сидела и не тыркалась никуда. Что без нее и за нее все решили уже, и чтобы она не вздумала тут сейчас лезть. Так явственно, так четко у нее в голове Сашина мать это произнесла, своим этим гнусавым голосом, Ульяну аж передернуло.

Пошла на кухню за конфетами. Очень хотелось сладкого. Раньше не было такого, а теперь вот ни с того ни с сего напало, будто одержимость какая-то. Не было сил ей сопротивляться. Ну, Ульяна отдалась ей и жрала.

Давай, позвони.

Позвони и скажи, что он нашелся, что великая радость — живой, что в Москве, что в таком-то госпитале, извинись за все,

что наговорила, прими, признай, предложи поехать вместе, чего тебе стоит?

Не звонила.

Ульяна все ногти съела, а Сашина мать все отказывалась звонить, не хотела брать Ульяну в невестки. Сука — сука и есть. Не звонила, пока Ульяна у парикмахера сидела, не звонила, пока та вещи выбирала для Москвы. Потому что решила Ульяну задвинуть совсем, сбросить ее, как самосвалы шлак сбрасывают, в карьер, и жить спокойно без нее и без ее ребеночка.

Если так, шептала Ульяна, глядясь в зеркало, — уже подстриженная, красивая и злая, а злая, потому что обманутая Сашиной матерью, если так, то и я тебе звонить не стану и не буду тебя предупреждать, что еду. Может быть, ты и сама уже в поезде, а я зря тут ждала целый день, пока ты соберешься, пока одумаешься. Только время потеряла зря, подарила тебе.

Надо было сразу же встать и первым поездом туда мчаться, чтобы опередить тебя. Чтобы ты не успела ему в уши налить, какая я шлюха, какая корыстная, какая неверная. Мальчиков с детства учат матери на слово верить, материнское слово святое и тяжелое, сомневаться в нем грех; поди его перебей чем-нибудь — ничем не перебьешь. Оно все что хочешь перевесит.

Ульяна снова написала Саше — на этот номер, с которого он звонил. Там ответили, что у Саши сейчас врач, осмотр, но что он спрашивал про нее, когда будет. Стоило у него про мать сейчас выяснять? Подмывало написать: едет к тебе мама? Или приехала уже? Ульяна посомневалась-посомневалась — и не стала. Как будет — так и будет, объяснила себе она. Если он про мать с ней сам первый не заговаривает, значит, не хочет.

А по самому дну юркнула такая скользкая мыслишка, даже толком не упакованная в слова: а если ты сам не торопишься ее позвать, то я-то уж точно тебя торопить не буду. Уж не я тебе о ней напоминать буду, если ты ее забыл. И нету тут ничего

подлого, у тебя с ней своя семья, а у меня с тобой своя будет. Юркнула и закопалась в ил.

Если она не знает, то пусть пока и не знает. Надо выиграть время. У Сашиной матери время надо выиграть. Потому что иначе Татьяна Николаевна Ульянку сожрет просто, да и дело с концом.

Вот это во сне и было, как будто вспомнила она. Про Татьяну там было. Что нельзя ей ничего говорить, потому что она тогда все отменит, все запретит, все испортит. Она во сне Ульяну к Саше не впускала, врала ей, дескать если Ульяна зайдет, Саша умрет. Врала, врала, врала. Хотела просто его себе оставить, чтобы он служил ей до упора.

Ульяна снова открыла поезда. Оставался из нормального вечерний, который в шесть утра прибывал. Купила билет в купе, разница с плацкартой была небольшая. Надо было выспаться. Надо было во всеоружии к Саше явиться. Денег сколько-то на карте еще оставалось, на поездку должно было хватить, если у тети Марины жить.

А там — или пан, или пропал.

Как Саша решит.

• • •

Первая половина дня прошла без инцидентов — Максим составлял заказы, вымаливал скидки на новые наименования, как мог, отбивался от шлака, который издательства в нагрузку прибавляли к бестселлерам. Не вылезал из своего кабинета, в общем. Но и не сильно переработал. Лето у книжных — мертвый сезон, главное, до первого сентября продержаться, когда народ за тетрадями, линейками и ластиками пойдет и непроизвольно вместе со всем этим добром прикупит приуроченного, как обычно, к back-to-school, свежего Пелевина или что там в этом году будет из актуального.

На обед Максим отправился через основной вход, на кассах выкладки поправил, отечески погладил модные детские книги, причесал интеллектуальную прозу, поправил нобелевских и буковских лауреатов, осмотрел витрину, выкладки — и остался всем в целом доволен. Это все выглядело достойно. За этим всем читалось определенное сообщение.

Вышел на улицу, окинул магазин взглядом со стороны. Вывеска «Вавилонская библиотека» и вдохновленный Эшером логотип смотрелись на фоне возникшего из заводских руин миражного стеклянного города вполне уместно. Сюрреалистично немного — но уж не более сюрреалистично, чем любой другой фрагмент Москвы.

Москва тут была совершенно довоенная, вневоенная, обычная такая летняя Москва, ленивая и благостная, как кот на солнце. Сидел Максим на террасе в кафе в соседнем двореке, жевал салат, ловил клочья белого пуха в тарелку, ничего не читал и ничего не смотрел, берег аппетит и приличное настроение.

Не хотелось развеивать волшебство неврозом и паранойей эмигрантских медиа. Пока казалось, что еще не все потеряно, был азарт их читать. Была у Максима раньше надежда на такие новости, о которых по ящику не расскажут, трещинки по глиняным ногам режима была надежда первым углядеть. Но постепенно Максиму стало ясно, что колосс устоит, что ноги там, увы, какой-то совершенно невообразимой толщины. И вот условная «Медуза» перестала эту тайную надежду питать. Превратилась в прививку от бешенства, в обязательку: пятьдесят уколов в живот — колоть надо, вопросов нет, но приятного мало.

Жизнь от жара войны оплавилась, оформилась, да, местами уродливо и жестоко. И вот эта условная «Медуза» это все жестокое и уродливое слишком выпячивала; Максим понимал, почему — потому что должна, больше-то про это все никто не пишет. Но не только же из уродства состояла теперешняя жизнь, и невозможно было только на уродство смотреть, чтобы при этом

не хотелось непременно сдохнуть. В общем, все сложнее становилось Максиму открывать «Медузу» и иже с ней.

И Кирюха ему говорил — мол, что ты ее читаешь все время, у тебя же на нее аллергия? Да Максиму и самому часто хотелось этого: не вакцину колоть, а опиаты, не новости читать, а Пруста, или Франзена, или Фаулза, или Джойса — словом, что-нибудь, совсем никак с Россией не связанное, и желательно, чтобы вообще с реальностью связанное не сильно. Качаться на пресных волнах радио «Морфей», как в колыбельке. Но именно из-за Кирюхиной ситуации нельзя было совсем рвать с реальностью. Реальность была подлая и зыбкая, неверная и непредсказуемая, по ней под опиатами было никак не пройти, с ней всегда начеку было нужно: она так и норвила плутающих человечков затянуть и заглотить.

Максим открыл телегу, хотел было набрать Кириллу, но ограничился просто месседжем:

«Ты как там? Как собеседование?»

Кирюха не отвечал, и Максим уже успел начать беспокоиться, палец завис над кнопкой с трубкой, но представил себе, как сын сейчас будет недовольно пыхтеть, мол, от родительской гиперопеки уже никакого спасу...

И еще: Максим очень старался Кирилла без острой необходимости не запугивать. То есть лично пытался вырастить непоротое поколение. В себе самом страх перед государством, сколько мог, давил, а в сыне тем более. С самого детства прямо: хотелось свободного человека для свободного мира воспитать. Кто же знал, что свободный мир тоже медным тазом накроется.

Ладно, ничего с ним не могло случиться. Всего-то полдня прошло.

Или могло?

Это было довольно жуткое, на самом деле, чувство. Проскользнуло однажды в голове такое сравнение, которое Максим ни Марине вслух произнести, ни себе самому даже озвучить не разрешил: как онкологический диагноз это. Вот ставят тебе его —

и все, теперь будешь жить в тени смерти. Всегда теперь будет зябко. А в один день — близкий или далекий — вспомнят о тебе еще и раздавят.

На Кирюху, на их единственного чудесного сына, положили глаз. Он-то сам об этом думать не хотел, да и Максиму с Мариной думать еще запрещал, но о таком пойдя забудь. И он в тени, и вся семья с ним вместе в этой тени.

Зябко.

Но перетерпел и дождался.

«Норм) расскажу»

И такая теплая волна, как в детстве на Черном море, накатила на Максима. Смыло с души щекотную паскудную паутинку, сразу задышалось посвободней. Хотел сыну еще какое-нибудь эмодзи послать ободряющее-одобряющее, но закопался в них, а пока копался, вспомнил, что у молодежи уже вместо эмодзи стикеры, и решил, что его желание говорить с сыном на одном языке все равно дело обреченное и нелепое, как седые волосы закрашивать, чтобы двадцатилетним девчонкам казаться не дедом, а мужчиной неопределенного возраста. Не надо с седыми мудями к юности примазываться, это жалко. Юность тех, кто перед ней заискивает, презирает.

Но все же написал: «Круть!» Дожевал, зарядился от солнца, взял с собой кофе в бумажном стаканчике, на крыльце с сигареткой посмаковать, пошел в магазин.

И уже через витрину увидел неладное.

Галина убирала с полок книги, то и дело оглядывалась на кого-то через плечо. На кого? Максим залпом допил и дернул ручку.

— Галина Игоревна, а что у нас тут происходит-то?

Полка была прорежена, смотрелась как челюсть с выбитыми зубами. Под ногами у Галины стояла картонная коробка, в коробку были сложены Быков и Улицкая, Зыгарь и Сорокин.

— Чистки? — пошутил он.

— Там эти... — Галина повела осторожно седой головой, указывая вглубь магазина. — Активисты пришли.

— Какие активисты?

— С ленточками. Георгиевскими.

— Так. Чего хотят?

— Ну вот скандалят, что иноагентов продаем, — прошептала она.

Максим кивнул: понятно. Мигом все вернулось, что морской водой смыло, опять всю человеческую требуху у него внутри какой-то холодной металлической сеткой стянуло.

Быков и Улицкая глядели на него из коробки, как котят, которых топить понесли, — со дна ведра. Вот и за ними пришли, выходит.

Магазин у него был не центральный и не центровой, и в войне миров он не в главных сражениях принимал участие, а в периферийных. Но все флагманские книжные свои флаги уже давно приспустили, как и их дирекция — портки, а Максимов маленький и гордый магазин, пусть и находящийся за Трешкой, держался. В «Дом книги» на Новом Арбате или в «Москву» на Тверской все время забредали то депутаты, то прокуроры, то телеведущие, и, чтобы не провоцировать их, там давно уже отказались от спорных авторов, на видном месте, наоборот, разместив стенды, посвященные СВО. Это у них как оберег было. Максим их за это старался не судить, но совсем уж не презирать не мог.

Был, правда, прецедент с Акуниным. Когда Григория Шалвовича внесли в список террористов и экстремистов, издательство все тиражи из книжных отозвало. Просто позвонила дистрибуция и сказала, что экспедиторы приедут и со следующей поставкой все заберут, хотя прекрасно было понятно, что никакого терроризма Акунин не оправдывал, а просто назвал вещи своими именами, да и вообще стал жертвой провокации, вероятно спецслужбистской. Максим тогда к этому издательству уважение как-то подрастевал — и не зря, как выяснилось, потому с Акунина там все только

началось, а дальше они и биографию Пазолини с вымаранными страницами выпустили, и вообще черт-те что. А могли бы еще посопротивляться.

Но ладно, слово «терроризм» было чернокнижным заклинанием, этакая охранительская «Авада кедавра»: от него сразу разум мертвел. Но то терроризм, а то иноагентство. Одно другому не тождественно. Помаленьку отжирали гады у Максимова мира по куску, как лангольеры у Кинга. Так скоро и стоять негде будет!

Тогда-то ладно: не будешь же с издательством по поводу его товара спорить, это их выбор — а тут выбор Максима, тут уже от него лично все зависит. Тут сдавать нельзя, сказал себе он: момент истины.

— Обратно расставляем, — распорядился он. — Я разберусь.

Он нацепил на себя карнавальную маску начальника — насупил брови, рот скривил, подышал, чтобы выровнять пульс, и пошел этим активистам навстречу. Их было двое — мужчина и женщина, на руках повязки, как у дружинников, и рожи у них были отвратительные. Из тех, что вперед без очереди лезут.

— Добрый день, — поздоровался с ними Максим.

— Вы директор? — прищурился мужчина.

— Допустим.

— У вас тут продаются книги предателей родины, русофобов и иноагентов.

— Меня зовут Максим, — представился он. — А вас как?

— Никак. Мы представляем Союз патриотических читателей.

— Ну у вас же есть имя?

— Это вам не нужно. Вы сюда слушайте. У вас тут даже Невзоров! И Зыгарь! Требуем, чтобы вы немедленно убрали всю эту макулатуру из своего репертуара.

— Может, все-таки из ассортимента? — подсказал Максим.

— Родиной торгуете! — визгнула женщина. — Как вам не стыдно?!

— Час вам даем на все про все! — объявил мужчина.

Это же булгаковщина чистая, сказал себе молча Максим. Это же Швондеры 2.0 или 3.0, очередная версия ненавидящего вшивую интеллигенцию люмпен-пролетариата на очередном витке русского Уробороса, где все уже в виде фарса — и революционеры, и контрреволюционеры, и интеллигенция, и вши. Неужели он это будет все всерьез воспринимать, неужели он будет сейчас этим паяцам подыгрывать?

— Послушайте, — вежливо произнес он, в уме обсасывая слово «постшвондеровщина», как мятную конфету, — действительно, мы предприятие розничной торговли. Но торгуем мы не родиной, а книгами и писчебумажной продукцией. В своей деятельности мы руководствуемся строго действующим законодательством. Про предателей родины и русофобов в законе ничего не сказано, я утром читал. Сказано про иноагентов. Про иноагентов что у нас сказано? Что книги должны быть маркированы соответственно, что должны быть в непрозрачной упаковке, что не должны продаваться без предъявления документов, удостоверяющих возраст. Эти требования мы все соблюдаем в точности. Но там ни слова нет про то, что произведения иноагентов запрещены к продаже. Вот образовательная деятельность им запрещена теперь, это мы в курсе. А насчет того, чтобы выбрасывать из магазинов художественную литературу, в законе ничего не сказано. Или там чтобы на площадях ее жечь. По крайней мере, пока что, — не удержался он.

Они, конечно, издевку в его голосе сразу же услышали и окрысились еще больше.

— Убирайте, — приказал мужчина. — Или мы с прокуратурой сюда вернемся. Пускай разбираются!

— Ну в прокуратуре-то уж точно законы должны знать, — ответил ему Максим. — Возвращайтесь. Действительно, пусть разбираются. Но спасибо вам большое за бдительность.

— Ты посмотри, кого ты тут пригрел! — зашипела женщина. — Ты тех, кто против России, пригрел! Кто против СВО! А тут и дети за книжками приходят! Ты сам, что ли, тоже из этих?

Но это она от бессильной злобы шипела, потому что поняла, что не достает Максима ужалить. Сейчас не надо было им отвечать, это они специально провоцировали его, чтобы он в ответ ляпнул что-нибудь прокуратуре на радость. Корректность и непреклонность. Слабоумие и отвага.

— Галина Игоревна, что вы застыли? — строго сказал Максим сотруднице. — Ставьте книги обратно.

— Максим Павлович, ну, может быть, хотя бы Невзорова, действительно, уберем от греха подальше? — прошептала она ему. — Ну он-то ведь совсем уже трехнулся!

— Вот вы когда будете собственником, тогда и уберете. А пока что я тут решаю. Обратно ставим.

Скрипнула и грохнула дверь. Эти двое бежали. Победа ль, спросил у себя Максим.

• • •

Вокзал был у Вологды — как игрушечный замок: дореволюционный, кирпичный, малоэтажный, но при этом с башенками, а главная башенка — с зубчиками, а сверху — флажок. Выглядел он так, как пластмассовый сладкий подарок с кремлевской елки, такой же красный. На елку в Московский Кремль мама Ульяну возила, когда ей было двенадцать, под самый конец детства. В последний вагон в сказку успела — и запомнила ее в деталях, на всю жизнь. Так вокзал у Ульяны образами спаялся-сплавился с пластмассовым кремлевским гостинцем, с путешествием в бесснежный громадный город, сплошь наряженный в электрические гирлянды, с напряженным ожиданием чуда в бесконечной очереди, с живым Дедом Морозом в серебряно-синем кафтане и с пронзительным ощущением того, что с ней сейчас происходит

самое важное за всю ее прошлую и будущую жизнь, происходит то, о чем мечтает любой ребенок на свете. Вологодский вокзал стал для нее как будто филиалом Кремля, тем более что тоже был кирпичный и тоже красный.

И вот Ульяна опять тут оказалась. Репродукторы перелаивались друг с другом, сами себе эхо: звонко, неразборчиво и дробно объявляли поезда. Воздух пах особым вокзальным запахом, как в церкви запах свой особый, — тепловозным кадилом и елеем от шпал. На перроне стояли люди, готовящиеся расстаться, и люди, ожидающие встречи: проводили, стесняясь друг друга, свои вокзальные ритуалы.

«Фирменный поезд... Номер... Сто двадцать шесть гэ... “Шексна”... Сообщением... Череповец — Москва... Отправится... Со второго пути... В двадцать один час... Пятьдесят восемь... Минут... Повторяю...»

На улице еще было светло — северное солнце валандалось где-то у горизонта, как поплавок. Плоские лужи лежали на асфальте, залитые закатно-красным. Несколько парней в камуфляжной форме курили, хохотали. Такой это был хохот, от которого по коже мураши бежали. Ульяна на них посмотрела самым краешком глаза и все увидела. Это были люди, которые ехали на войну.

Поезд подали новый, красивый, лоснящийся.

Борта светло-серые, по ним ярко-красные буквы — «РЖД». Вокзал был сказочный, царский, а поезд на него прибыл из московского будущего, чтобы забрать Ульяну из отстающей от жизни Вологды туда, где время шло с опережением.

Никто Ульяну не приехал провожать. Матери уже поздно было потом к себе возвращаться, по телефону благословила. Ну ниче, так поехала.

В вагоне было чисто, но неуютно: он не успел еще очеловечиться, оставался пока что необжитой машиной. Цельнометаллический он был и пах одним только металлом; у него внутри все такое нарядное было как будто, а на деле — казенное.

Ульяна села на свое место, напротив хмурой бабки в шали. На улице было тепло, а бабка зябла, куталась. Стала сразу она раскладывать себе еду, не дожидаясь, пока тронется поезд. Ульяна поздоровалась, убрала сумку под сиденье, заглянула в телефон. Не ловило. Проводница пробежала по вагонам, приказала провожающим выходить. На перроне опять забубнили репродукторы. По поезду прошла железная судорога, и вокзал стал отползать назад. Бабка перекрестилась, зашептала обращение к богу. Поехали, замелькали столбы. Повелазили уродские всякие здания, которыми волшебный замок был обстроен со всех сторон. Потом завжикали мимо дачи и гаражи. Потом закатились всем поездом в темный лес. Проводница принесла чай в легковесных тонких подстаканниках, типа как раньше, но не как раньше: чуть не из фольги сделанными, только притворявшихся серебряными. Бабка уминала в одиночку вареные яйца, пахшие серой. Желток на них весь посинел.

Проехали Грязовец.

Ульяна пососала печеньку, которую выдали к чаю, прислушалась к себе. На душе в слова ничего толком не складывалось, но если бы она себя спросила честно: хочу ехать сейчас туда или не хочу? — почему-то ответила бы: не хочу. Так что лишних вопросов она себе задавать не стала. Хлебала чай, играла в алмазики на телефоне. Блестящие стекляшки засыпали полости в голове, в груди. С наполнителем было получше, не так сосала пустота.

— А сколько тут еще до ресторана?

По вагону грохотали голоса, шаркали ботинки. Ульяна от телефона не отлипала, это ее не касалось, пока не стало совсем громко.

— Опачки! Добрый вечер!

Ульяна подняла голову. В проходе зависли двое солдат, заглядывали к ней в купе. Поймали Ульянин взгляд, втиснулись. Один был пустоглазый, жуткий, с тщательно сделанным пробором в русых волосах. Сразу видно, что маньячина. Другой — острижен

под бобика, лихой, и видно, что дурак. Бабка сразу свою снедь рукой прикрыла. Но солдатам тут не бабкиного было надо. Тот, который лихой балбес, крутанулся на поручне, как мартышка на ветке, и ловко приземлился рядом с Ульяной.

— Тож до Москвы?

Пустоглазый собой выход перегородил.

— И мы вот. С побывки едем.

Он уже дотрагивался до ее голого колена своей шершавой зеленой формой, дышал на нее пивом и еще кислятиной какой-то. Бабка вся съежилась, побледнела. Ульяна отодвинулась. Стала смотреть в окно.

— Восемь часов ехать! Скучно же одной будет, че ты, ну?

— А мы скучать не любим, — поддержал его пустоглазый.

Третий солдат, белобрысый и плечистый, прошедший уже было мимо, вернулся, заглянул через плечо товарища к ним в купе тоже — посмотреть, чем все дело кончится, а может, и поучаствовать. То, что он увидел, ему понравилось. Он протолкнулся тоже внутрь, подвинул бабку, схватил без спросу у нее яйцо, кокнул его о край стола и начал шелушить скорлупу, по-хозяйски оглядывая и Ульяну тоже на предмет распаковки. Она это все краешком глаза по-женски видела, не оборачиваясь на них. С такими как с бродячими собаками: осторожно надо.

— Ты если мамки стесняешься, это, айда с нами до вагон-ресторана, гульнем! Что ты тут печеньки сидишь одна слюнявишь, как сиротка? Хорош... Накормим нормально, напоим, это самое...

Тут как по канату над ямой надо пройти: вежливо им отказать, так, чтобы им нечего было предъявить ей, но при этом отказать прочно, чтобы у них не было зацепки-надежды. Ни вправо не свалиться, ни влево. Типа как с ночной бухой гопотой, только еще аккуратней. И не смотреть им в глаза.

— Не, спасибо.

— Да че ты такая неласковая-то?

Мимо проходили какие-то люди, даже были и крепкие мужики, заглядывали в купе, а ничего там такого не видели. Зеленая форма так действовала на всех, она вокруг слепую зону создавала. Солдаты эти были в своем праве, и люди в обычной одежде боялись с ними заговаривать. Форма их пахла бедой: дымом, железом, спиртом, больной головой, мертвечиной. Все чуяли, чем пахнет, никто не хотел заступаться за Ульяну.

— Ну от тебя убудет, что ль? — он взялся за ее коленку.

Она отдернулась.

Жуть и оцепенение. Надо было срочно делать что-то. Надо было заступаться за себя самой, раз больше никто не хотел. Она повернула голову, посмотрела на обоих так, как во дворе на шпану смотрела — ебнутая, не связывайтесь.

— Потому что неинтересно! — отозвалась она. — Двигайте дальше, куда там шли.

Брякнула — и как будто опять отсюда, из купе — в подвал к ним с Кристинкой попала, в последний рабочий вечер. Опять сгустилось то известное уже Ульяне предчувствие непоправимого. Бессилие защекотало каждую маленькую мышцу изнутри, не стало сил держать спину прямо. Вот опять она на путях, вот опять летит на нее поезд, только в этот раз он ей не планы на будущее сломает, а всю вообще жизнь вдребезги разнесет, размажет по рельсам. И ничего она не сделает, и никто не поможет.

Бабка задергалась, как будто пыталась уйти, но не ушла и затихла.

— А че ты сразу на выебонах-то, зай? — с места завелся тот, который притерся к ней. — Мы тут с пацанами, если че, воевать едем. Родину защищать, пойми. Таких вот... Как ты. А то придут пиндосы и порвут тебя, как тузик грелку.

Они переглянулись оживленно. Может, представили себе, как пиндосы будут Ульяну рвать? И воодушевились.

Они были страшные, да, но страшными их сделала война. Та же война, на которую Саша ушел. Не страшней Саши они были,

значит. И почему вообще она должна была их тут терпеть, отворачиваться, поджиматься, как эта бабка, в ракушку лезть, если он там?! Вскипело.

— А ты за меня-то не бойся, — зло сказала ему Ульяна. — За меня мой воевал. А вы себе своих поищите, за кого воевать. В другом месте.

И что-то сразу у них в лицах переменялось. Были у них до этого в лицах жестокость, остервенение, желание хапнуть жизни напоследок и понимание, как им по-быстрому, пока поезд не доехал, отхватить ее — через водочное марево, через бесстыдный мясной угар; а тут споткнулось. Похоть схлынула, и все понимание сломалось. Перебила им аппетит. Осталась только жестокость, а добавились к ней растерянность и недоверие.

— Это где у тебя он воевал, интересно? — спросил аккуратный.

— Часов Яр. Месяц был «бп», только нашелся, вот еду к нему в госпиталь в Москву.

Они переглянулись. Узнали название — Часов Яр.

— И что... Как он? Твой? — вдруг обычным человеческим голосом, без куража, без пьяни и без брони, сказал тот, который под бобика.

Ногой он все еще прижимался к ее коленке, но теперь это было не жутче и не гаже касания к чьей-то посторонней ноге в автобусе. Как будто просто случайного попутчика жизнью придавило.

— Еле вытащили.

— Ну... Ясно, че. Ладно тогда... Удачи.

Балбес начал подниматься со своего места. Белобрысый, не дожевав яйца, тоже засобирался. И только этот, жуткий, не хотел сдаваться.

— Что за госпиталь? — все допрашивал он. — Адрес знаешь?

— Вишневого. В области филиал.

— А если проверим?

— Проверь. Лазаренко Александр Витальевич.

Ульяна смотрела на них — каждому нагло заглядывала в глаза, совсем страх потеряла. Такое было у нее чувство... Огромной правоты и огромной силы. Тысячепроцентной прямо силы и тысячепроцентной правоты. Это Саша ее своей правотой наделил, он за эту правоту кровью заплатил, а не деньгами, и его кровь теперь была для Ульяны как оберег. Она неуязвимой благодаря Саше сделалась.

— Да ладно тебе, Женек. Хорэ. Нормальная она, наша.

Наконец и маньяк этот пустоглазый тоже от нее отказался, хотя и нехотя, бросив на Ульяну из прохода прощальный вождедеющий взгляд, но такой, не как мужчина на женщину смотрит, а как волчара — на овечью глотку.

Белобрысый отклонялся по-шутовски:

— Баб! За яйки — от души!

Та его перекрестила.

— Здоровья вам там чтобы, — выдавила она из себя.

— Да хоть не сдохнуть бы просто, — улыбнулся ей он.

Ульяна просто кивнула им. Они столкнулись в проходе, кто первый выйдет, и исчезли. Ульяна торжествующе улыбнулась бабке — не смогла сдержать гордость. Она всю лихость у этих парней забрала себе. Чувствовала, что ее распирает. Все волосы на ней дыбом стояли. По рукам такое электрическое напряжение шло, казалось, можно пальцами лампочку взять на двести двадцать вольт — она загорится. Хотелось закричать или запеть, на хуй их вдогонку послать и дверью хлопнуть.

Необыкновенное это было чувство.

Такое, что она приказала составу на десять тысяч тонн остановиться, и он послушно встал. Что она зашла в кабину машиниста, встала там у пульты, нажала все кнопки, и поезд понес ее туда, куда ей было нужно. И что, если теперь выйдет какая сука на пути и будет пытаться махать руками, чтобы Ульяну задержать, то тысячи стальных тонн, во главе которых Ульяна теперь стояла,

сметут и эту, и любую другую тварь, а Ульяна в тепловозной рубке даже ничего не почувствует. Пык — и дальше.

— Голодная? — участливо спросила у нее соседка.

— Ага.

• • •

Сели пить чай. Максим, который все надеялся, что удастся отойти от сегодняшнего без коньяку, признался себе наконец, что не удастся. Открыл бар, вслепую метко нашел нужную бутылку, обнял ее, прохладную, пальцами. Налил себе на один палец, вздохнул, добавил еще чуточку.

Марина наблюдала за ним внимательно, ничего не спрашивала. Максим пригубил, ожег рот, зажмурился. Потекло внутрь, и стали один за другим отщелкиваться зажимы — на горле, на пищеводе, на солнечном сплетении. Он улыбнулся, выдохнул. Стало наплевать, вернутся или нет к нему эти активисты. Как-то оно само решится. Он все ведь правильно сделал: по совести. Да, кстати, и по закону.

— Во сколько Кирюха домой собирается, не говорил?

— Ты же знаешь, он передо мной не отчитывается. А потом, лето ведь... Каждый день что-нибудь да открыто, все эти вечеринки...

— Лето, — согласился Максим.

— Пусть погуляет.

Марина как-то так жалобно это сказала, что Максим вынырнул из своих сегодняшних приключений, которые все это время на репите у себя в уме пересматривал, переигрывал — и обратил внимание на жену. Она почти весь ужин промолчала, не отвлекала его от размышлений; только сейчас ему показалось, что она на-суплена как-то: напряжена, что ли?

— Все в порядке?

— Ага.

— В каком смысле — пусть погуляет, Марин?

— А? Да нет... Я в том же, в каком и мы все пусть — пусть погуляет, пока есть возможность.

— Точно все нормально?

— Ну да.

Максим кивнул. Но там что-то еще было недосказанное, он сейчас это почувствовал. Весь вечер оно висело, ждало.

— Больше нет новостей?

— Ну вот я как раз собиралась... Узнала только. Ты не против, если у нас Ульяна поживет пару дней?

— Ульяна?

— Ну, двоюродной сестры моей дочка. Иры. Ты запомнишь их когда-нибудь?

— Вологодские, что ли?

— Вологодские. Царевы.

— Да пускай поживет, конечно, какие вопросы, — согласился Максим. — А когда?

— Ну вот завтра приезжает. Утром.

— Ого. Прямо завтра?

— Да я сама вот только узнала. Там форс-мажор у нее... — Марина замялась.

— Что за форс-мажор?

Он нахмурил лоб: думал о том, что не может эту Иру Цареву в лицо вспомнить, хоть убей.

— У нее парень... Жених. Как сказать... В армию его забрали. На войну. На фронт. И вот ранили его. Лежит в госпитале Вишневого. В хирургии. Она к нему едет, навещать.

Марина умолкла, ищуще поглядела на мужа.

Максим начал понимать, почему за ужином стояла такая тишина: Марина думала, как ей развернуть этот разговор.

— На войне ранили? — тупо переспросил он. — Это там, что ли, прямо?

Он кивнул на неживой телевизор.

— Ну да.

Максим мотнул головой. Не знал, что сказать. Тошнота подкатила: оттого, что война каким-то образом выбралась из выключенного телевизора, протекла к ним в кухню. Война, которую Максим так ненавидел и которой так боялся. Потому что Марина так построила разговор. А отказываться от своих слов теперь уже было странно. Максим молчал.

— Она приезжала к нам, ты не помнишь? Ульяша. Девочкой.

— Марин, ты же знаешь, как я...

Любого, кто войну поддерживал, Максим избегал — как чумного. В самом начале еще спорил с такими людьми яростно, а потом понял, что их не переспорить все равно, а потом и спорить-то стало страшновато; а может быть, тут второе как раз было причиной, а первое — следствием. Но тут... Ну и что тут эта Ульяша?

— И я сама точно так же, ну о чем мы... Но она-то тут при чем? Просто девчонка, — вслух сказала Марина.

Просто девчонка. Ну, влюбилась в парня, а его забрали на войну. Забрали, чуть не убили, лежит в Москве раненый, повторил себе беззвучно Максим. Кого тут судить? Точно не ее. Ее пожалеть разве можно. Война по людям едет, тонкие косточки хрустят. Надо пересилить сейчас себя — и свой страх войны, и брезгливость перед ней, и глупую суеверную боязнь самому пригласить войну в свой дом, как вампира.

— По-родственному просто, Максик? Ладно?

— Да. Ладно, да. Конечно.

Если для Марины важно... Племянница. Ну ладно, что сделаешь. Ладно... Ладно! Побудет и уедет. Побудет и уедет.

5.

Поезд прибыл на Ярославский вокзал в шесть двадцать утра. Солнце уже парило над домами, но свет пока что давало нежный, розовый. Машины еще не поехали, только поливалки клином ползли по широченным проспектам, окутанные радужными облаками водяной пыли, превращали Москву в акварель.

Многие вещи, пространства, явления и события, которые казались Ульяне большими в детстве, позже стали ей по размеру, а потом и обмалели. Но Москва осталась такой же огромной. Здесь все было сделано не под человека, а под сто тыщ, под колонны и под шеренги людей, под парад.

На секунду Ульяне представилось, что в этом городе можно летать — может быть, что-то напомнило ей те сны, в которых она, раскрыв руки и оттолкнувшись от земли, взлетала и парила высоко над домами. А тут было где разлетаться — и дома все стояли громадные, и между ними — простор.

В метро тоже было сказочно, совсем пусто. Приходили пустые составы на пустые станции, и только молоденькие менты в темно-синей одежде слонялись парочками, сонные. Ульяна, сама еще проснувшаяся не до конца, ехала по Кольцевой линии, смотрела не в телефон, а в окно. Чернота сменялась дворцами, дворцы — чернотой.

Добралась до Ленинского проспекта, снова посмотрела на город: Москва оживала понемногу уже, приходила в сознание. На

проспектах прибавили громкости. Люди стекались к метро, пропадали в нем, как вода в раковине. Ульяна шла им в противотоке — все внутрь, а она наружу, как переночевавший в стоке и отправляющийся на вылазку таракан.

Теть Марина жила у площади Гагарина, во дворах.

Нужный адрес Ульяна нашла кое-как, навигатор в телефоне все путал, но она по названиям улиц сама разобралась, сообразила. Дом был — сталинка, отреставрированный, отскобленный до изначального своего цвета, песчаного. Но звонить теть Марине в дверь было рано: времени было едва семь утра, неприлично так рано их будить, они, наверное, не раньше восьми поднимаются, а то и в половину девятого. И так уж она их напрягает... Ну, села на скамейке у подъезда и стала ждать.

Плохо, в поезде не успела в туалет сходить: пока очухалась, там очередь уже из желающих зубы почистить; плюнула, решила перетерпеть, и теперь вот давило, а деваться было некуда. Ульяна уговаривала часы идти побыстрее, но время проворачивалось ей назло на скорости ноль-пять. Надо было терпеть, надо было дать поспать москвичам.

Оранжевый дворник пошел чиркать тротуары, посматривал на Ульяну с подозрением, но ничего не говорил. Он был раскосый — сам-то, наверное, тут на птичьих правах. Вот и не лезь-ка давай, и без тебя тошно.

Двор был роскошный, не двор, а настоящий парк: присесть негде.

Ульяна стала разглядывать окна, чтобы отвлечься. Вроде бы пятый этаж у них. Окна все были большие, некоторые оставались расшторены, и в них виднелись лампы с абажурами, а в одном каком-то вроде бы бюст стоял из гипса. Какое тут окно теть-марино, гадала Ульяна.

Тренькнуло сообщение. Схватила за телефон.

Саша писал ей с этого номера — отвечал на все ее вчерашние неотвеченные.

«улька я жду ты когда будешь?»

«я в москве уже», — набрала она ему быстро. — «вещи кину и к тебе!!!»

«скуп», — ответил он. — «давай уже скорее тут тухло».

Подумала — анонсировать ему сюрприз? Или лучше при встрече? Лучше при встрече, решила она. Накраситься надо, лучок сделать. И потом уже вываливать. А то сейчас такой тизер отправишь — и потом сама мучайся. Страшно было, что Саше станет страшно.

А все же, что это значит — что он тяжелый, опять спросила себя она.

Что все равно умрет?

Теперь, когда она приехала в Москву, жутче стало думать, что Саша может умереть. Ульяна примеряла уже на себя его смерть — в Вологде, когда названивала в ростовский морг. Но в те разы получилось бы, что он просто два месяца назад уехал — и все, исчез навсегда; а теперь... То еще было бы как-то полегче. То еще как-то можно было себе представить. А вот теперь, когда он нашелся, вернулся... Встретятся сейчас... Чтобы теперь — умер? Тогда бы уже легче не встречаться, не прощаться, юркнуло у Ульяны стыдное.

Не надо так думать. Жестоко так думать.

Дотерпела до восьми утра. Потом еще три минуты подождала, чтобы не прямо в восемь звонить, чтобы после будильника. Теть Марина не отвечала. Пришлось штурмовать подъезд. Потянула дверь — а там вахтер за стеклом, как будто в приемной губернатора.

— Вы куда? — строго спросил он.

— В двести третью, к Саввиным, — назвала пароль Ульяна.

— Как вас представить? — он вроде стал повежливей.

— Представьте меня раздетой, — сказала она. — Шучу, шучу. Ульяна. Я их племянница. Марины Саввиной.

Вахтер куда-то позвонил, что-то в трубку побурчал, покивал важно и только потом открыл Ульяне дверь. Она — до лифта по лесенке бегом-бегом, потом лифт подгоняла наверх, умоляла его побыстрее ехать, и наконец затрезвонила нетерпеливо в дверной звонок.

Открыл дядя.

Высокий, худой, светлые волосы по бокам кучерявятся, а посередине один пух остался, под глазами пустые мешки. Ульяна его чуть-чуть как будто бы помнила, из новогодней поездки в Кремль. Тот давнишний дядя был весельчак. В сравнении с тем дядей этот ссутулился, сморщился, усох, и вместе с соком из него будто бы все веселье выветрилось. Но все-таки осталось в нем что-то волшебное, что маленькой Ульяне понравилось в нем, что даже очаровало, но что тогда она толком ни осознать, ни описать не сумела бы. Киношность какая-то... Порода? Благородство?

— Ульян... Уля? — произнес он. — Сколько лет, сколько зим!

Она потянулась к нему обняться, он подался ей навстречу не сразу, как будто за прошедшие годы порядком проржавел и теперь приходилось сильнее жать, чтобы застрявшее тело слушалось. И обнял ее тоже так, напряженно. Ну, может, неловко ему было ее, такую лошадь, обнимать? Он-то ее мелкой помнил, а тут... Совсем другие обнимашки уже.

— Да. Ну а мы вот тут... Кхм. Как родители?

— Слушайте, дядь Максим... — перебила его Ульяна, уже не в силах дальше что-то изображать. — Я тут пока то, пока се... Пока с вокзала... Я щас описаюсь прям, честное слово.

— А? Да... Конечно, — испугался он. — А ты ведь у нас тут еще не была, да, в этой квартире? Вон там... Санузел. И я полотенце тебе дам. С поезда-то в душ хочется, наверное... Как раз пока Марина поднимется...

Ванная была мраморная, лейка золотая, потолки метра три с лишним, полотенце пушистое, напор такой, что выходить не хотелось. Но надо было выходить. Надо было к Саше.

Прокралась по коридору — паркет скрипит — спальня, еще одна, гостиная — в ней гигантский черный провал телевизора, вход в пустоту, люстра антикварная бронзовая, картины маслом...

— Нормальные тут у вас хоромы! — оценила Ульяна.

— Ульяночка! — с кухни позвала тетя Марина. — Я тут кашеварю... Привет!

Она была, наоборот, вся улыбчивая — и обняла, и поцеловала. Она тоже постарела, тетя Марина — по-своему: припухла, набрякла, кожа стала пергаментная, и волосы теперь были не своего цвета, не того, который Ульяна помнила.

— Ну как выросла-то, а? Как похорошела! — тетя Марина как будто бы залюбовалась Ульяной, но улыбка у нее чуток подпрыгивала, а глаза подмаргивали. — Ну садись, садись! Как мама?

Ульяна доложила ей, как мама: продмаг, алкаши, колорадский жук, полив, прополка, ревматизм, головокружения, но-шпа, цитрамон, нурофен, тайский бальзам, а, кстати — утопленники. Тетя Марина охала, но про главное — про Сашу — не спрашивала. Дядя Максим сидел молча, все вглядывался в нее, и Ульяна, мельком и искоса отстреливаясь от его глаз, не могла разобраться, что там в них такое содержалось. Не колючее, не масляное, не теплое, не холодное... Что-то беспокойное, что-то ищущее. А что? Он резал ножом тарелку, тарелка визжала. Прослушал, подытожил рассеянно: да уж, деревенская проза. И встал. Так и не поняла Ульяна, понравилась она ему или нет. А хотелось понравиться.

— Ну, я тоже тогда... В больницу, — сказала им Ульяна. — К Саше.

— К Саше, — повторил дядя.

Но ничего не стал про Сашу спрашивать. Кивнул только коротко — и не Ульяне, а то ли чайнику, то ли микроволновке, приоткрыл рот, посомневался и закрыл. А тетя посмотрела на него мельком и странно.

— Ну да. Ясно.

И Ульяна не стала им про него ничего рассказывать, раз ее не спрашивали, раз им и так все ясно. А что им именно было ясно? Это в воздухе повисло. Ну ладно, че.

— У вас конфетки нету? — попросила она. — Прямо пирожок хочется.

— Ой. Мы просто стараемся сладкого не есть, — сказала ей тетя Марина. — Ну я куплю к вечеру.

— До вечера-то еще дожить бы, — пошутила Ульяна.

До Сашиного госпиталя проще всего было на метро сначала до станции Юго-Западная, потом еще оттуда автобусом в область, в Одинцово. На остановке скопилось разных людей — какая-то безвозрастная тетя в кофте, бородатый сумрачный мужик в зеленом флисе, студентик с рюкзаком, девочка-эмо в мини, молодая мать со складной коляской и ребятенком с соской, встрепанный пенсионер. Все от скуки смотрели в свои телефоны, а Ульяна смотрела на них. Москвичи только в центре были особенные, прилетевшие со сверхновой звезды, а на окраинах — люди как люди, чисто как в Вологде. Сделала такой вывод — и Москва как будто поближе стала, попонятней, и за дом уже не так обидно.

Автобус приехал куцый, типа маршрутки — как раз такого размера, чтобы подобрать всю эту разношерстную компанию. За рулем сидел какой-то нерусский парень, но нормальный вроде, и говорить он старался так, чтобы акцента не было слышно. Только там и без акцента все на лбу было написано.

Расселись по местам, автобус покатился по окраинным пустотам Москвы. Ульяна готовилась к встрече: думала о Саше. Фотки посмотрела. Сверилась с воспоминаниями — о его улыбке, о поцелуях, о том, как в половине пятого утра, после второго раза, стоя без трусов у раскрытого холодильника у нее на кухне, вдруг спросил, как она, в принципе, насчет пожениться; и как потом притворялся, что такого ничего не было, и как потом хвост поджимал, как цветы ей подарил покупные, ее первые цветы за три года. Надо было вспомнить его перед встречей, надо было эту

часть души помассировать, а то она затекла и онемела как будто бы. Получилось: пошли огненные мураши, вернулась кровь. Глаза защипало, нос забился.

Фоном этому всему тарактелу какая-то передача: мужик в зеленом флисе пялился в свою раскладушку, которая вещала на полной громкости, глухой он был, что ли, так что до всех пассажиров доставало.

— А я настаиваю, что человек, который выкладывает в общий доступ у себя в социальных сетях видео, на котором видно поражение вражеским беспилотником нашего военного аэродрома, на котором, между прочим, дислоцируется наша авиация стратегического назначения, это не просто идиот, это предатель, и с ним надлежит поступать по всем законам военного времени! Расстреливать таких надо, вот что! И неважно, что он срочник, неважно, сколько ему лет, не надо мне тут давить на жалость! Он служит в армии, он должен защищать нашу страну, нашу родину от врага, и он только потому не на передовой, потому что наше государство решило, что в зоне боевого столкновения должны сейчас находиться не зеленые срочники, а подготовленные и обученные профессионалы, но он все равно воюет, потому что он защищает наши глубокие тылы! И что мы видим?! Он не только не справляется со своей боевой задачей, он еще и глумится над своими товарищами, над нашей неудачей! А кроме того, выкладывая это видео в интернет, где он еще и глумится, а он глумится над нами, над своими, он раскрывает противнику результат диверсии! И воодушевляет его на новые теракты! Да может быть, вся эта вражеская диверсия и стала возможна только благодаря этому или такому, как этот, саботажу! И пусть еще наши спецслужбы, наша военная прокуратура разберутся, не оплачен ли этот шпионаж нашим противником! Вы не понимаете, что это значит?

Ехал автобус мимо некрасивых старых домов и красивых новых, мимо ларьков с чем угодно, мимо штампованных бетонных заборов, которыми вся страна разгорожена.

— Значит, что этот стратегический бомбардировщик, который, между прочим, расчищает путь нашей пехоте, не взлетит, не отбомбится по вражеским укрепрайонам, по их оружейным заводам, и наши бойцы пойдут в штурм на украинские пулеметы, на их дроны, что они будут зря рисковать своими жизнями и что кто-нибудь точно — точно! — погибнет из-за этого вот, как вы выражаетесь, идиота! Нет, я повторяю, он не идиот, а он вредитель, он предатель, и на его руках будет — да что там будет, наверняка уже есть! — кровь наших парней, которые работают на передовой, тех, кто принимает на себя огонь врага, чтобы этот ваш идиот мог прохлаждаться в глубоком тылу и снимать свои дебильные видео!

Зеленый мужик сгорбился над своей тарактелкой, слушал внимательно, но время от времени отрывался — рыскал по сторонам чуть бешеными глазами, как будто проверял, интересно ли это все и остальным тоже. А остальным было неинтересно. Студент сидел со стеклянными глазами, смотрел в телефон. Эмо-девочка надела сразу, как расплатилась за проезд, наушники на всю голову и отъехала. Непричесанный дед покачивался на поворотах, лицо у него ничего не выражало. А тетка в кофте ерзала, хмурилась.

Ульяна слушала вполуха, думала о Саше, и только когда там штурмовые части упомянули, тогда подключилась, а потом опять поплыла. Хотя радио надрывалось, нового там ничего не говорили, поэтому это все было Ульяне как шум мотора, как шум прибора.

— Да, к сожалению, у нас в стране нет пока высшей меры наказания, вернее, на нее мораторий был введен проникшими во власть либералами, которые, между прочим, как я всегда считал и считаю, сами такие же пособники врага, и если когда-то мы могли себе такую мягкость позволить, то на четвертый год войны, когда все ресурсы на пределе, мы уже миндальничать с предателями, с этой пятой колонной, просто не имеем права, — ну так вот, пусть у нас нету высшей меры наказания, но что мешает нам взять этого вашего идиота за шиворот и отправить его к тем парням, которые сейчас идут в штурм, пускай он своей кровью искупает

там это преступление, пускай он становится там плечом к плечу с теми, кого он подставил, и перед ними отвечает! Знаете, как Высоцкий пел — пусть он в связке с тобой одной, там поймешь, кто такой... А вообще, давно пора отменить этот мораторий, потому что время сейчас непростое, а, я думаю, тут никто не будет спорить со мной, что непростое время требует непростых мер! Вот чего нам по-настоящему не хватает, так это СМЕРШа не хватает нам для борьбы с такими вредителями, чрезвычайных мер нам не хватает, сталинских! Были бы у нас руки развязаны, мы бы эту кампанию выиграли еще три года назад! Но нет...

Тут студентик набрал кому-то и принялся болтать, перебивая разговор у бородатого в телефоне, а тот рассердился и еще себе громкости прибавил. Тогда вклинилась тетка в кофе, попросила:

— Мужчина, ну сколько можно уже? Вы тут не один едете. Ну уже тошнит же от этого от всего, ну в самом деле!

Бородатый сразу развернулся к ней всем телом.

— И что теперь?

— Да вас от этого всего самого-то не тошнит?

— От чего это «от всего»?

— Да от того самого, «от чего»? — ответила ему баба. — От этого самого! Ну четвертый год уже пошел, сколько можно-то! Да и вообще!

Бородатый собрал кулаки у груди, хрустнул костяшками, улыбнулся ей нехорошо так, криво.

— Меня-то? А я тебе скажу... Слышь! — Он встал, протянул руку к водителю и тяжело хлопнул его по плечу. — Вон там сейчас пост ДПС будем проезжать, перед МКАДом, — останови там. Мы выйдем с дамочкой. Пусть она в отделении расскажет, от чего ее там тошнит.

— Че, реально, что ли? — растерянно спросил водила.

Ульяна глянула на выступившую тетку. Лицо у нее было встревоженное, участливое и усталое. Это вообще-то женщина была, а не тетка, если уж присмотреться.

— Реально!

— Я никуда не буду выходить! — неуверенно сказала женщина. — Я до конечной еду!

— Она говорит, что ей не надо, брат, — передал бородатому водила.

— Значит, так! — тот поднялся со своего места, уперся загривком в потолок, сгорбился и от этого стал еще злее. — Машину остановил. Я ясно выражаюсь? Или ты тоже хочешь с ней выйти сейчас?

— Да на каком основании?! — запротестовала женщина.

Девочка-эмо сняла на секунду-другую наушники — видно, бородатый своим рычанием влезал в ее музыку, — послушала, о чем речь, обратно их нахлобучила и отвернулась. Студентик только еще глубже закопался в телефон, голова в плечи даже ушла. Мать сосредоточенно гладила по голове скуксившегося ребенка, поправляла ему соску. Дед как был в отключке, так и оставался.

— А я, может, дружинник, вот на каком! — от ярости сипло произнес мужик. — Ты меня еще за основания тут допрашивать будешь? Я за ленточку гоняю к нашим пацанам, гуманитарку им туда вожу, шеей своей рискую, пока вы тут ищете, кому жопу свою продать, а ты мне еще за основания предъявы кидать будешь? Останавливай давай, слышь!

Женщина потерянно и жалко озиралась: искала, на кого тут она могла бы опереться, за кого поддержаться хотя бы, а водитель уже, испугавшись, подруливал к посту ДПС.

— И напоминаю нашим уважаемым слушателям, что мы проводим сбор средств в поддержку наших бойцов на передовой, собираем на бронезилеты, в первую очередь для штурмовых частей, которые сейчас ведут боевую работу в Торецке... — гулко продолжала в тихом салоне раскладушка. — Вам, может быть, только кажется, что это где-то там, далеко, что это вас не касается, но, между прочим, от Москвы до Торецка на машине — всего четырнадцать часов, и сегодня наши парни сражаются там для

того, чтобы все это зло, которому они противостоят, не пришло в наши города. Четырнадцать часов, вдумайтесь! Нам остается собрать чуть больше полутора миллионов рублей, чтобы закрыть эту партию, и она уже завтра сможет отправиться за ленточку...

И за Ульяну тетка схватилась взглядом, и Ульяна узнала в них то самое свое недавнее предощущение неизбежной и непоправимой беды, от которой ее спасла одна только Сашина стальная правота.

Но теперь правота исходила, как жар от доменной печи, от этого свирепого мужика. За себя-то Ульяна еще могла в печь riskнуть, броситься, а за женщину эту — не было готовности. Надо было ехать к Саше, нельзя было тратить себя на лишнее. Ульяна, чтобы поприжать свои человеческие колебания и не вступаться за тетку, беззвучно припомнила ей еще, как ту тошнило «от этого от всего», — а «от всего» ведь значило — и от всех тех парней, которые без прикрытия стратегических бомбардировщиков шли на украинские пулеметы, от таких же, как ее Саша; а значит, и от Саши самого ее тошнило. Так? Так. Ком в горле. И тут Ульяна ощутила, что этот жар, который от мужика исходил, из топки, больше не обжигал, а согревал теперь ее. Надо просто было вместе с ним обидеться и не растерять этой обиды от жалости к посторонней бабе.

Ульяна расцепилась взглядами с теткой, отвернулась от нее к окну. Автобус встал, тетка попыталась задержаться в салоне, но это все было уже какое-то слабое копошение; бородатый уверенно схватил ее под локоть и вытолкнул наружу, к озадаченным ментам.

— Да это что же... Сумку мою, сумку! — визгнула она.

Тут дед очнулся и передал ей кошелку, которую тетка не успела забрать. Все-то он, оказывается, слышал и понимал, только притворялся, что в никуда смотрит. Водитель дождался отмашки бородатого. Скользнула по железным полозьям дверь, ножом отрезав звуки. Ульяна еще обернулась случайно через плечо на

тетку — было беспокойно за нее все-таки, что ей там сейчас сделают, и стыдно отчего-то тоже было. И тогда, чтобы не запинаться об эту всю неприятную сумятицу, не застревать в ней, она сказала себе — вслух, чтобы самой услышать это внешним голосом еще раз:

— Его ранили там... А ее тошнит...

И стала смотреть вперед. И все тоже стали смотреть вперед, или в телефон, а назад оборачиваться перестали; и друг другу в глаза тоже больше на всякий случай не глядели. Чего там глядеть-то?

А автобус пока катил дальше — мимо бетонных бантов эстакадных развязок, мимо дырявых подмосковных лесов — в город Одинцово, весь из себя чистый, строгий и нарядный, как парадная форма майора каких-нибудь убойных войск.

Вышла на остановке «Госпиталь». Направо и налево тянулся серый забор, сколько хватало глаз, а за забором, в отдалении, высились серые госпитальные корпуса. Ульяна сориентировалась, отыскала проходную. Стала объяснять, куда ей, к кому.

— Вы ему кто? — спросил у нее с самого утра уже уставший охранник.

— Невеста.

— Ну то есть еще не член семьи? На данный момент.

— Невеста, ну? Собираемся пожениться. Вот, приехала делать предложение руки и сердца, — улыбнулась ему Ульяна, как всегда улыбалась охранникам.

— В паспорте если отметки нет, не положено, — отрезал он.

— Да как я выйду-то за него, если вы меня не пускаете?

Охранник посмотрел на нее, как на умственно отсталую. Для него здешние правила жизни были как таблица умножения: четкие и неотменимые.

— Девушка. Пусть он вам пишет тогда заявление на главврача, с вашим ФИО. У нас тут режимный объект, понимаете? Вдруг вы диверсантка украинская, тогда что?

— Это я-то?

— А сейчас время такое. Любой может быть. Они вон по телефону людьми крутят, как хотят. И поезда под откос пускают, и что угодно. Пиши иди.

Ульяна плюнула, еле на хуй его не послала, удержалась; стала набирать Саше — и слава тебе, господи, — подошли.

— Саша? Сашенька! Я тут, на КПП. Не разрешают, нужно заявление, чтобы оформили. Ага. Царева Ульяна Константиновна я, если что. Ты как? Ага. Попросишь? Да я тут подожду.

Но больничные шестерни медленно двигались, слишком огромные, слишком тяжелые они были для одной человеческой силы. Пока еще провернулись... Ульяна успела уже все вокруг исходить, везде посидеть, продмаг найти, взяла себе горячую сосиску в тесте — сто пятьдесят рублей, между прочим, от Вологды вдвое! — проглотить и еще одну такую потом себе разрешить, хоть жаба и душила.

Сидела на скамейке посреди темного пятна — в тени от тополя, в глаза пух пургой летел, убивала время телефоном. Открыла «Авито», стала смотреть, какие в Вологде квартиры бывают. За четыре миллиона триста тысяч была, например, однокомнатная, тридцать семь метров, на Архангельской улице, с современным ремонтом, с застекленной лоджией, натяжные потолки везде, кухня белая такая с искусственным камнем, техника уже вся стоит, вид во двор не стремный, видно, что новостройка плюс-минус, душевая кабина с паром и сидущечкой, дверь стальная симпатичная... Получше уж явно, чем то, в чем Ульяна всю жизнь перекантовывалась, и это уже почти центр: по Маршала Конева раз, она там дальше в Герцена переходит, и уже до улицы Мира рукой подать.

А вот другая, прямо на Маршала Конева уже, и сорок пять целых метров, ого, и всего за три с половиной миллиона. «Вариант — заезжай и живи!» подписано, но ремонт, если честно, так себе, бабка-стайл, как Кристинка бы сказала. Но, блин, сорок пять

метров — это уже сорок пять метров все-таки. Две комнаты, гостиную можно переделать по-человечески, диван нормальный найти какой-нибудь, стены в белый, допустим, ну и такое уютненькое что-нибудь организовать: тут фотографию черно-белую стильную в рамке повесить, тут котика плюшевого посадим, тут стеллажи, тут журналы кинуть модные, вообще будет другое совсем впечатление. Ну и потом, Конева — это уже вообще к жизни близко.

О, а за четыре семьсот вот эта вообще класс, уже с белеными стенами, уже с евроремонтом, на Карла Маркса, во Фрязиново, пятьдесят один метр, это почти что на речке, там даже золотые купола Никольской церкви будут из окон видны, если верхний этаж и окна в ту сторону, вот тут можно было бы уже точно нормальную жизнь наладить, это не временка какая-то, тут уже и маме есть где переночевать, и подруг сюда можно на девичник, да и семьей вроде как не тесно.

Полетели несфотканные еще фотки из будущего у Ульяны перед глазами: пришли Алинка и Крис в гости, едят суши с доставки, пьют винчик, болтают — а потом в клуб на ночь; мама в кухне варганит что-то, уютно; Ульяна валяется на диване, смотрит «Белый лотос», потому что «Великолепный век» к такой квартире уже не подходит, нужно будет в ней причащаться чего-то более продвинутого, такого, о чем она слышала, но вникать ленилась... И не одна, конечно, смотрит, а в обнимку с кем-то, и чипсами хрустит с ним в ритм, и смеются в унисон. С кем? Да с Сашей же, с Сашей!

Оторвалась от квартир.

Надо ему, кстати, конфет купить пойти. Встала с лавки, вернулась в продмаг, набрала ассорти: «Мишка на Севере», батончики шоколадные, «Белочка», Саша сладкоежка же... Набрала и, пока ждала, сама половину слопала. Потом вдруг подумала: это не я хочу сладкого, это он, это ребенок. Он же наполовину из Саши состоит, вот и унаследовал, получается.

Опустила руку на живот, прислушалась. Там пока что молчали, конечно.

И вдруг ей по-настоящему захотелось увидеть Сашу, чтобы этим открытием поделиться с ним. Но пришлось еще ждать — чтобы достучались, чтобы прочли, чтобы подумали, чтобы решили, чтобы утвердили. У них тут таких Саш было как патронов в пулеметной ленте — пока еще очередь дойдет.

Но дошла все-таки.

Госпиталь был безразмерный: корпуса-корпуса, коридоры-коридоры, палаты-палаты. И весь он был забит странными людьми. Ульяна в детстве такое видела, когда соседские пацаны муравейник залили бензином и подожгли — и вот те охувевшие погорелые муравьи, которые случайно выжили и не знали, что теперь с этим делать, были на здешних пациентов чем-то похожи.

На этаже ей сказали сначала зайти в ординаторскую, поговорить с лечащим врачом, пока он на месте. Лечащий был молодой парень, лицо как у школьника; он все пытался хмуриться, чтобы показаться опытной, но иногда забывался, и тогда пролезала наружу полная растерянность, как от невыученного материала на экзамене.

— Так... Ну он меня просил без спойлеров, так сказать... — произнес он. — Но кое-что вам надо будет учесть. Вообще-то состояние у пациента не айс. Да. Как бы... Одна операция прошла, трудная. И еще одна предстоит. Еще сложнее. Так что он сейчас на препаратах... На морфинах. Поэтому не совсем... В адеквате. Просто имейте это в виду, ладно?

— Ладно, — ответила Ульяна.

Все будет хорошо. Все будет хорошо.

— Ну и вы учтите... Что пока мы тут то, пока се... Так-то часы посещения закончились уже на сегодня, так что я вам вообще тут исключение делаю.

Он сделал паузу, подождал, пока до Ульяны дойдет эта информация. Ульяне обычно такие вещи два раза объяснять не

нужно было, не вчера родилась, сама понимала, чего в этой жизни исключения стоят; но у нее на карте денег оставалось тридцать четыре тысячи, надо было их тратить с умом.

— А у меня нету ничего. Я все на конфеты просто спустила. Честное слово, — сказала Ульяна. — Могу вот конфетку дать.

— Давайте, — вздохнул лечащий.

Взял шоколадный батончик.

Повел Ульяну по коридору к Саше. Весь коридор на нее пялился — все эти люди в синих больничных робах. Кто-то зыркал голодно, кто-то стеснительно подглядывал, кто-то — исподлобья тарачился в упор. Мужики. Она в короткой юбке была, цокала каблуками, оделась так, чтобы Саше захотелось жить. Жить и жениться.

— Лазаренко! К тебе гости! — объявил врач.

Ульяна зашла следом. Зашла и сразу все увидела: у Саши ног не было.

Она взялась за дверной косяк.

Саша лежал, прикрытый простыней — и простыня эта проваливалась. Одна нога по колено, другая — почти у самого таза. Ульяна увидела сначала это, а потом уже Сашино лицо: обескровленное, осунувшееся, под глазами черные мешки. На лбу — бинты, как у покойников в гробу бумажные ленты.

Он блаженно улыбался.

— Сашка... Господи...

Ужас пощупал Ульяне нутро, жалость подкатила, тошнота едкая поднялась в горло, закачало, закачало. Она пыталась тоже ему улыбнуться, но знала, что криво выходит. Глаза драло, скулы сводило. Не в первую секунду она смогла себя заставить к нему приблизиться. А Саша не увидел этого колебания, он ей просто очень рад был. По-честному рад.

Он схватился за подвесную ручку, которая висела над койкой, хотел подтянуться немного повыше. Подержал и отпустил. Ульяна наконец подтолкнула себя к нему, подошла на деревянных ногах,

как будто была сама на протезах, опустилась на колени перед койкой, обняла его и прижалась губами к губам.

Там еще были люди — двое обкорнанных парней, у одного пустой рукав, другой с повязкой на глазу, как у пирата. Они захмыкали, что-то неразборчивое там друг другу сказали, Ульяна не знала что, потому что в уши в это время кровь стучала, через вату все было, кроме Саши, плохо слышно. Пошептались и вышли.

Губы у него были мягкие и еле живые, как будто у зубного заморозкой уколол, шлепал ими бессильно, ни целоваться не мог толком, ни слова лепить. И улыбался он ими странно.

— Улька... Ульаш... А я попросил их не говорить тебе. Чтобы тебя не пугать... Я подумал... Вдруг ты не приедешь, если узнаешь.

— Ну как... Ну ты чего... — залепетала она. — Как это — не приеду?

Вот теперь пошли слезы — протерли через глаза раскаленную проволоку и распечатали их. А сама себя спросила: а правда, если бы заранее знала, приехала бы? Ну конечно, приехала. Конечно, приехала бы, херня какая! Да приехала бы, точно!

— Ну какая разница-то... — сумела сказать Ульяна. — Ну так — значит, так. Значит, теперь вот так будет... А! — всхлипнула она и подняла конфетный кулек, — глянь-ка, что я принесла. Тут эти есть, которые ты любишь.

Он выпростал из-под простыни другую руку, изрезанную какую-то, и стал брать у нее конфету из рук — как в автомате с призами дети бессильной болтающейся клешней пытаются захватить игрушку.

— Как это тебя угораздило?.. — спросила Ульяна.

— Я не знаю, честно... Не помню. Контузия, понимаешь? Говорят, прилет. Помню, как туда уезжали... На мопедке на таком. А потом... Потом не знаю. Доктор говорит, потом вспомню. Твой телефон, видишь, вспомнил же.

— Слава богу. Слава богу.

Поцеловала его еще раз, еще. Он все улыбался. Погладила щеку; он касаний как будто не чувствовал. Сзади кашлянули — она обернулась. Все-таки влезли его соседи, подглядывали. Хихикнули даже.

И сбили ее с этой теплой жалостливой волны.

Протрезвела.

Она еще вроде Саше в глаза глядела, а на самом деле — уже внутрь себя самой. Он же инвалид. Это все, это навсегда. Он — инвалид. Как за него замуж? Это что за жизнь, с инвалидом? Это с постели в коляску усаживать каждое утро, а каждый вечер с коляски укладывать в постель. А дни у инвалида какие? А у нее, у Ульяны, ей тридцать же только лет, у нее с инвалидом — какие дни? Да и ночи-то...

Опустилось все. Улыбка даже съехала, наверное.

— Ты что? Ну не грусти, — сказал ей Саша.

— Да я нет... Я не грущу, ты что! Мы же думали — все, ты погиб... Это счастье, — ответила она.

— Время посещений закончено! — за спиной произнес женский голос, бездушный такой, как в МФЦ бывает или у проводницы в поезде.

Медсестра там стояла. Ульяна закивала.

— Да-да... Сейчас! — пообещала Ульяна. — Еще минутку только!

Выпросила себе эту минутку, сестра отошла. Надо было говорить, зачем приехала, а челюсть свело. Саша лежал и все улыбался ей мечтательно, как будто это Ульяна просто привиделась ему, как будто она невсамделишно тут была и он не хотел ее спугнуть, рассеять. Поймет он вообще?

Ульяна наклонилась к нему, чтобы эти полудурки в дверях не слышали. И шепнула:

— Сашк... Я это... Беременна...

Саша отодвинул чуть голову назад, чтобы Ульяна у него не расплывалась, наверное, посмотрел на нее совершенно ошалело, недоверчиво.

— Чего?

— Прикинь... У нас кто-то маленький... Будет... — она шмыгнула носом.

— Правда, что ли? — сонно прошептал он в ответ.

— Ты рад, Саш? Ну ты хоть рад? — забеспокоилась она.

— Офигеть, — сказал он. — А мальчик или девочка?

— Откуда я знаю, Саш? Там срок — три месяца максимум...

— Думаю, что пацан. Пацан, наверное...

Снова возникла медсестра, растолкала ротозеев.

— Ну что вы там, доворковали? Все уже, пора, последних выгоняем!

— Да подожди ты... — нахмурился Саша. — У меня тут такое происходит... Пожалуйста, ну? Жалко, что ли?

— Последнюю минуту даю, — сжалась медсестра. — Минута — и все, капут. Через минуту возвращаюсь с укольчиком, чтобы ты сегодня спал у меня как следует. Ясно?

— Ясно! — пообещала Ульяна. — Минута, да!

Она нашарила Сашину руку, решаясь. Хотела, чтобы Саша сжал ее ладонь в своей, хотела почувствовать в нем хоть чуть-чуть силы. Чтобы поверить, что свадьба у них может быть взаимовыгодная. Такая, чтобы пожить потом вместе.

— Саш... — выговорила она. — Саш! Я понимаю, сейчас не время, наверное... Но... Саш, давай поженимся, да?

Он посмотрел на нее в упор круглыми глазами, зрачки широкие как пулевые отверстия; улыбнулся беспомощно.

— Поженимся?

Ульяна закивала. Как объяснить понятней?

— Зарегистрируемся. Чтобы у него папа был по паспорту. Ну, то есть... Чтобы все законно. Мама, папа. Чтобы он в браке родился, понимаешь? Давай?

Испугалась: так она это все сказала? Или не так? Понял Саша, что она и его смерть сейчас в расчет принимает?

— Давай, — согласился он и словно бы обрадовался.

Опять накатило теплое: от мысли о ребенке, которому сейчас разрешили родиться, и от Сашиной этой рассеянной радости. Короткая тень, которая нашла на нее — не сука ли она сейчас, что озвучила ему это: про возможность смерти? — минула.

— Погоди... — он вдруг нахмурился. — А как я буду жениться без ног? Как я его буду воспитывать без ног-то?

Это он глупо так произнес, озадаченно — и заморгал. Еще вот-вот, и догадается, еще вот-вот, и очнется, вот-вот, и разрешится. Надо было спасать его и себя заодно.

— Да это сейчас разве проблема! — затараторила Ульяна. — Тебе протезики сделают. Сейчас знаешь какие шикарные делают, современные! И ходить можно, и танцевать! Я сама в новостях видела!

— А как я вас без ног кормить буду? — не унимался Саша.

— Ну, государство поможет, — произнесла это Ульяна. — Сейчас всем помогают.

Саша задумался. В дверях кто-то не то харкнул, не то хрюкнул. Молния блеснула, ударила ее: что ты делаешь! Что! Но опять только на мгновение.

— Ну ладно тогда, — успокоенно мотнул подбородком он. — Тогда давай поженимся. Так вроде как правильно будет, да?

— Ну да.

Снова объявилась сестра — с блестящим железным подносом в руках, а на подносе заряженные и взведенные шприцы.

— Все! — сказала она угрожающе. — Теперь точно все!

— А я женюсь, — сообщил медсестре Саша и указал на Ульяну. — Вот на ней вот.

— Ух ты. Поздравляю. И когда свадьба, интересно?

— У вас же тут можно ускоренно регистрироваться? — спохватилась Ульяна. — Для участников СВО? Я читала, в интернете написано.

— Это с главврачом. Это теперь завтра уже.

— Я тогда завтра с утра прям приду! — Ульяна поцеловала улыбчивого Сашу опять. — Прямо с утра, окей? Спи крепко, высыпайся!

Коридоры сжались и давили, от запаха хлорки мутило, а солдаты взглядами в спину так стреляли, аж кожу жгло; еле добежала до выхода, выскочила, упала на скамейку. Достала свою курилку, которой три дня не касалась, задышала в нее, как в кислородную маску.

Зачем? Что ты наделала? Даже табак четкости не давал. Зачем, что наделала. Уже сумерки налезали на госпиталь, на Ульяну, а она все сидела, сладкий воздух гоняла. Зачем и что.

А тут мимо прыгал одноногий дядька на костыле. Заметил Ульяну, подскочил к ней, окликнул.

— Слышь, красавица! Нормальное есть у тебя курево? А не говняшка эта электронная?

Ульяна подняла на него отяжелевшую голову, посмотрела на треть ноги в зашитой штанине и поняла: сейчас вот вырвет.

— Ты че, контуженная, что ль? — спросил у нее одноногий.

— Че ты доебался до меня, а?! — заорала на него Ульяна. — Отъебись от меня, понял?!

6.

Обратно ехала по теми.

Уже не видела, ни с кем едет, ни что проезжает. И радио единственное только работало — у самой Ульяны в голове. Рваными кусками там передавали что-то, как будто через помехи шло, как будто глушили.

Как быть с инвалидом дома всю жизнь? Это сейчас он под препаратами счастливый, а когда до него по-настоящему дойдет, кто он теперь стал, какой это будет человек? Ладно, хорошо, будет пенсия, голодать не придется, но заниматься он чем-то должен будет? Целый день по квартире на инвалидном кресле ездить, телевизор глядеть, во дворе со стариками в домино играть: такой, что ли, муж? Отойдет от укольчиков своих — точно бухать начнет, надо будет один наркоз другим заместить, не на Паралимпиаду же он готовиться будет? — значит, забухает. И злой будет всегда, добрых инвалидов Ульяна не знала. Себя вон пойди представь безногой, на кольцевом треке между холодильником и телевизором, поди-ка от такой жизни не ебнись, а кто в этом во всем виноват? Кто рядом, тот и виноват, тот и огребай. Это гиря пудовая на шее, это каких денег стоит, чтобы так? Это да, это стабильность, но это такая стабильность, как в тюрьме стабильность — а с инвалидом можно разве развестись? И бросать стыдно будет, и на алименты с ребеночком потом не разгуляешься. Ладно, Саша-то еще хороший, он хороший, он добрый, он, может, и справится,

и не обозлится на жизнь, и не будет на Ульянке оттаптываться — культями своими, прости господи — за эту обиду, но быть вот так к нему теперь навсегда привязанной... Была мысль, проскакивала, что «тяжелый» значит без руки или без ноги, но она-то запрещала себе думать дальше в ту сторону, чтобы не материализовалось, а оно все случилось уже и просто ждало ее, как крысиный капкан, где на педальку наживка насажена — кусочек сала, восемь миллионов рублей, дура, и что тебе эти восемь миллионов, это ведь гробовыми столько, а за ранение меньше, и за инвалидность меньше...

Взяла телефон, искала там — сколько хоть за инвалидность-то дают? Там разное было, включила тогда VPN, перепроверила с ИИшкой, как Кристинка показывала, та сразу дала отчет, что шесть миллионов, если прям потеря трудоспособности, ну ладно, шесть... Шесть это немало... Но ведь шесть — это ему выплаты, Саше, а их, наверное, надо с родителями делить же еще, они же на иждивении у него тоже будут, получается, а как делить? Поровну? Спросила у ИИ, как делить выплаты за инвалидность участнику СВО между женой и родителями, зависело от числа детей, но ясно было, что не все Ульяне причиталось. А ведь так и не спросила у него про мать, знает она или нет, что он нашелся, вдруг вспомнила Ульяна. По дороге туда — помнила, когда сосиски в тесте жевала, держала это в уме, а как в палату зашла — так и позабыла. Но про мать никто с ней и не заговаривал — ни Саша, ни соседи по палате, ни лечащий, ни сестра. Но ведь он и сам про мать должен был подумать, он в сознании же, хотя и чудной, да и госпиталь-то ведь военный, значит, где-то он попал в отчетность, что живой и что нашелся, значит, известят там по цепочке военкомат, а те — Татьяне передадут, да и уже-то, наверное, общили, а она все не звонит Ульянке, отмалчивается. Может такое быть, что она тоже уже примчала? Или сейчас на вокзале в Вологде стоит, поезда ждет того же самого, чтобы утром уже явиться к Саше? А может, она раньше нее уже была у Саши, первая? Надо

было у лечащего спросить, дура, что не спросила, была бы хоть определенность какая-никакая, а так... А ведь и восемь миллионов придется все равно делить, и это если она успеет еще Татьяну опередить, зарегистрироваться. Но восемь даже пополам это четыре, а если ребеночек, ИИшка подсказала, то Ульяне уже тогда две трети, а родителям только треть, две трети от восьми — это сколько... Да сколько-сколько, очнулась она, что ты считаешь-то, что ты тут высчитываешь, ты уже похоронила его, что ли, Сашку, ты уже гробовые с Татьяной пилишь, что ли, ну что ты за мразь-то такая, и ничем ты его матери не лучше, ты вспомни лучше, как он тебе улыбался, как он был тебе рад, как ребеночку был рад, как переживал, что без ног не сможет обеспечивать его, воспитывать, как можно вообще думать даже про деньги, ну деньги и деньги, и что они тебе, ты молодая, ты и при ногах, и при руках, и при пизде, прости господи, ты-то уж, поди, как-нибудь себя прокормишь, сдались тебе эти миллионы. Ну, квартиру возьмешь себе, не надо будет на съемной жить, ну и что, что поменяется-то? Ну, когда квартира своя, конечно, это другая жизнь совсем, это спокойствие, это сама себе хозяйка, это ни от кого не зависишь, так что поменяется, на самом-то деле... Но какой ценой-то, не такой же ценой? Не зависеть ни от кого, ни от кого не зависеть больше, распоряжаться собой, вот это было бы, это было оно, то самое, но если ты к безногому привязана на всю жизнь, пусть и в своей квартире, это что, это мечта разве, а как пойдет эта операция, сказал же лечащий, что операция сложная и что всякое еще может быть, или он не говорил этого, а Ульяна сама так поняла, а всякое это какое, это, может быть, еще похуже что, еще оттяпают что-нибудь, это он еще к койке, к примеру, навсегда прикован окажется и под себя будет ходить, а она убирай, а трахаться-то как с безногим, грешно так говорить, грешно, а и об этом приходится думать, она же молодая еще баба, здоровая, ей нужно, вибратор вон, пока от Саши ждала вестей, весь загоняла, хранила ему верность, но одно дело два месяца, а другое дело вся жизнь, брось это, ты

не о том думаешь, стыдно об этом думать, но всякое может случиться же — может, значит, что и не выкарабкается, и об этом тоже стыдно, еще и похуже, а с какой стати-то стыдно, у Ульяны только она сама и есть, на мать какой расчет с ее окладом, еще год-другой простоит за прилавком — и на пенсию, а пенсия такая, что не разгуляешься, кто корми — дочка корми, и оно ладно, это нормально, но на все-то на это бабки где взять? Ну вот отсюда и взять, если уж расписываться, из этих самых денег, а что тут такого, кто тянуть-то все на себе будет? Уж не Татьяна Николаевна! А кстати, вот они сколько платили за свою, интересно, взяли хоть и убитую, но в Заречье, почти у центра, небось, в ипотеку влезли, и им ее платить еще и платить, но за это уж Ульяна точно отвечать не собиралась: сама виновата, загнала ради денег сына в армию, послала на убой, а теперь бесится, посмотрела бы она на Сашку, как он улыбается, то-то было бы ей, так приехала или не приехала, затягивать точно нельзя, надо прямо брать и к главврачу сразу записываться с утра.

Спросила у ИИшки, как именно женят участников СВО, кто в госпитале лежит, та дала полную инструкцию: в ЗАГС ехать не нужно, можно вообще зарегистрироваться одним днем, можно и прямо в госпитале, администрация вызывает сотрудника ЗАГС, никакого месяца ждать не надо, это оно так теперь специальным распоряжением правительства, президент вот тоже на этот счет выступал: создали все условия. Ну хоть что-то, хоть в чем-то, — с облегчением, что все успевает, думала Ульяна, благодарная вдруг государству, которое обычно считала взбесившейся молотилкой — прячься да уворачивайся от него, а то замесит, а тут вдруг нате — забота о людях, ну спасибо, не станем отказываться. Да и три-то миллиона инвалидских, это ведь не деньги, а целые деньжищи, если первый взнос большой, а дальше от зарплаты можно отщипывать понемножку, плюс пенсия будет у него, не надо ему вовсе умирать, не надо и Ульяне быть мразью, наоборот, наоборот — вот он выкарабкается, а она что же, неужели она бросит

его, бросит этого вот Сашку, который так ее любит, который ей вперед матери звонит, который из всего, что с ним было с детства и до прилета вспомнил только ее телефон, вот его она бросит, что ли, и поскачет свою веселую жизнь жить? Нет, они теперь связаны все-таки, и Ульяна не бросит его, а будет выхаживать, и ничего он не забухает, да, черт знает, может, и на Паралимпиаду реально еще поедет, это уж как она будет стараться, одной было бы страшно, да, в девяностые вон как бабы мыкались с ветеранами, которые из Чечни приехали, а теперь, с такими-то средствами, не проживем, что ли? Точно уж проживем. Надо только завтра прямо с утра, прямо с утра в больницу и сразу на прием к главврачу, чтобы все успеть стопроцентно. Дай бог, чтобы все хорошо у Саши было на операции, дай бог, чтобы все удачно!

• • •

Максим поддел с общего блюда пласт красной рыбы и, пока нес его к себе в тарелку, незаметно принялся. Нет, пахло не от рыбы.

В заведении былолюдно, весело. Официанты новой московской закалки — не вышколенные, не услужливые, не заискивающие, а сдержанно-улыбчивые, как будто бы просто дружелюбные и гостеприимные, материализовались рядом, стоило лишь о них подумать, и растворялись в ресторанном гаме, как только о них забывали. Тут все было организовано со вкусом, вынужден был признать Максим. Несли красивые блюда, наливали в тонкое стекло, ставили приятную электронику. Никуда оно не делось: Москва цвела. Москва гудела.

Он плеснул себе белого в бокал, поднялся.

— Ну что? Вадик! Сколько тебе сегодня исполняется лет, мы тут вслух произносить не будем...

— И правильно! — перебил его лысый именинник. — Возраст это как погода в айфоне. Неважно, сколько написано, важно, как ощущается! А ощущается как двадцать семь!

— Точно, — улыбнулся Максим. — А знаешь... Когда знаком с человеком давно... Ты ведь в его лице видишь именно те самые черты, которые знаешь в нем с детства, с молодости. Ну, как бы я вот сейчас смотрю на тебя и вижу тебя десятиклассником. Ну там, морщины немного, не буду уж совсем врать, но ты — тот же самый. Не то что в двадцать семь, а даже тот же самый, что в шестнадцать.

— «Дети, вашей маме опять шестнадцать...» Хха, — поддержал Колян.

— Да. Ну и все мы про себя знаем, что изнутри-то мы те же люди, что и в шестнадцать, и в двадцать семь. Получается, что наши друзья — ближайшие, школьные... С первого класса, между прочим... Как мы вот тут... Видят нас всю жизнь так же, как мы сами себя видим — вне времени, вне возраста. Видят нашу суть. Понимают, что и возраста никакого нет, что это все иллюзия. Короче, Вадик! Тебе не двадцать семь даже, тебе просто семь сейчас, как и мне, и я тебя очень люблю!

— Горько! — крикнул Колян.

— Горько! — поддержал гоготом весь их стол.

Максим чокнулся с Вадиком, сделал большой глоток и плюхнулся на свое место. Ну все, отстрелялся. Промокнул испарину.

Ни у кого тут, кроме него, похоже, и мысли уже не возникло о неуместности происходящего.

Оглянулся на жену — та увлеченно болтала с Кирой, ее бокал, как обычно, стоял полным. Когда звучал тост, она его пригубляла — просто чтобы вопросов ни у кого не возникало, и потихоньку отставляла. Не шло с таблетками.

Давно не гуляли. Но тут юбилей одноклассника, да и жизни прошло уже семьдесят процентов, так ведь и вся скоро кончится.

Не стали придумывать отговорки, пришли; правильно сделали? По-людски — что правильной?

Вообще-то они с Мариной вполне могли позволить себе рестораны и до войны по пятницам и субботам дома старались не ужинать вообще: обычно зажевывали очередным модным фьюжном консерваторский концерт или премьеру в каком-нибудь экспериментальном театре. Война рестораны не тронула, они стояли себе, как и прежде, и было в них все так же вкусно, да и денег в их семье, положила руку на сердце, особо не убавилось. Во вневоенной Москве можно было сибаритствовать точно так же, как в довоенной, все возможности имелись, и жило в этой Москве достаточно обеспеченных людей, чтобы все заведения были битком и снаружи, и изнутри. Как говорят хостес: у нас полная посадка. Разве что контингент несколько переменялся — отесанных двумя десятилетиями европеизации лиц в них стало поменьше, а побольше стало неотесанных. На ресторанных террасах теперь будто бы заседали те же люди, что и управляли китайскими флагманами, и глядели оттуда на мир они все с тем же выражением — победительным и безапелляционным. И отлично у них все было с аппетитом, несмотря ни на какую войну.

Это у Максима аппетит пропал.

А откуда бы ему взаться? От снимков горящих украинских городов? От снятых беспилотниками кадров корчащихся на земле человечков? От бескрайних полей, засаженных крестами? От того, что весь этот ужас людям каждый день телевизор продавал, как исполнение их же собственной воли? От всего остального нескончаемого, с мерзкой ухмылочкой, вранья? От принуждения в это вранье верить и уж хотя бы с ним не спорить? У Максима от всего этого живот крутило, горло не разжималось толком от этого, вот прямо да, так — физиологически.

В первый год войны он даже ругался несколько раз с приятелями, которые продолжали упорно жрать в ресторанах, не желая отказываться от своих пищевых привычек, зло говорил им: да,

Патрики-то все те же, стоят — не шелохнутся, вот только вместо телятины вам теперь человечину там подают. Сладко ли мяско?

Они ему отвечали, что не собираются отказываться от своей мирной жизни — тем более что власть у них ее хочет отобрать; это, может, и есть их форма протеста! Максим пытался втолковать им, что власти, наоборот, выгодно поддержание иллюзии нормальности, что, пока война не тотальна, власть и хочет, чтобы Москва с Питером выглядели городами мирными и жирными, а истребление людей чтобы было вынесено на периферию массового сознания и доверено только специальным убийцам, чтобы кто хотел от войны отвернуться и не смотреть — имел бы возможность отвернуться. И люди, напоказ жующие свою жвачку в трендовых гастробарах, войну-то как раз и нормализуют, считая — и тем делая ее — далекой и нестрашной, а значит, терпимой и допустимой. А именно приемлемой для всех власть эту войну сделать как раз и хочет.

На первый год войны многие были с Максимом согласны, на второй год немногие, на третий — никто, а на четвертый уже и сам Максим, пожалте бриться, сидел в ресторане. Ерзал, но сидел. Принюхивался, но кушал.

Вадику Максим, конечно, ничего про человечину говорить не стал сегодня. Зачем портить человеку день рождения? Выступил. Пропотел. Сглотнул. Ну вот из таких мелких компромиссиков и выстраивается консенсус, ущипнул он себя. А с другой стороны... Кому и что он доказал своей ресторанной аскезой? Никто к его дерзкому бойкоту дольчевиты не присоединился, как хомячили москвичи, так и хомячат. Отряд грызунов не заметил потери бойца.

Налил себе, пока все слушали Коляна, еще бокал, сам налил, не дожидаясь благосклонности официанта, и наспех выпил; Марина боковым зрением все зафиксировала, но ничего не сказала.

Шабли было отменным, и градус паскудности снизился на градус вина.

Тут поднялась Эмма. Сняла очки, протерла. Начала говорить, в горле запершило. Прокашлялась. Именинник шикнул, все притихли и обернулись на нее.

— А вы знаете, — произнесла она четко, но негромко. — Я бы хотела еще кое за что поднять бокал сегодня. За мирное небо над головой.

Потом настала секунда тишины. И не только за их столом, но и за соседними, кажется, слышали этот тост. Люди забурчали одобрительно, но тоже тихо, как будто при них на поминках в адрес покойника доброе слово сказали.

— За мирное небо! И за тебя, Эммка! Ты молодец! — сказал ей Максим. — Молодец!

Хлопнул в ладоши раз, другой, третий — и напоролся взглядом на официанта. У того было странное лицо, непроницаемое. Он неподвижно — как камера наблюдения — смотрел на Максима, может быть, запоминая для последующего опознания и его, и всю их компанию.

• • •

Вышла чуть пораньше, чтобы пройтись. Ленинский проспект переливался в потемках, на площади Гагарина взмывал в синющее небо железный человек в прожекторных лучах, и наконец был свежий воздух. Светились билборды вдоль дороги — то лица героев СВО, то маркетплейсы, то мобильные операторы, и Ульяне было приятно, что кто-то догадался купить рекламу и для героев, потому что это справедливо было: все-таки кровь проливали, надо было их лица показать тем, кто никуда из Москвы, кроме Дубая, не выезжал. Сашкино лицо тут тоже, может быть, разместят однажды, подумала она, было бы круто, Ульяна гордилась бы, а че. Не обязательно ведь прям умирать, чтобы стать героем СВО с билборда на Ленинском?

Позвонила мама. Ульяна не хотела подходить, но подошла.

- Привет.
- Как ты, Ульяш?
- Я нормально, мам.
- А Саша как?
- Саша так... Была у него. Сказала.
- А он что? Обрадовался?
- Не знаю, мам. Не уверена, что он понял.
- Ну ничего, поймет еще. До мужиков это медленно доходит.
- Ага.
- А как Маринка там моя? А Максим?
- Бодрячком.
- Хорошо тебя приняли? Хоть по-родственному?
- Да. Теть Марина все про тебя спрашивала.
- Ну ладно. А у нас-то тут...

Так дошла до двора — на последнем издыхании телефонной батареи. В ноль посадила, пока с мамой договаривала. Добрела до подъезда в темноте, задрала голову — а окна черные. И вахтер уже закончил, будка пустая, шторы задернуты. Села опять на ту же скамейку, на которой сидела с утра — ждать хозяев. Времени к десяти, вряд ли сильно задержатся.

Но их не было и не было. Стало в животе урчать, подкручивать от голода. И еще мутило немного от недовольства на тетю Марину, что они ушли куда-то в ночное, не сказавшись.

Вместо них появился во дворе какой-то парень. Болтал громко сам с собой, смеялся и подходил все ближе к Ульяне. Он сначала подобралась, подумала, что наркоман, но потом пригляделась — просто по белым наушникам разговаривает; парень как парень, даже симпатичный. Тот остановился у Ульяниного подъезда, заканчивая разговор, открыл бумажную табачную пачку, стал себе сворачивать какую-то смешную самокрутку, запечатал, разгладил, раскурил, обратил на Ульяну внимание, поклонился ей театрально, но улыбнулся тепло, по-свойски, а сам, пока расхаживал взад и вперед, еще добалтывал:

— Не, ну бро, ну ты там тоже норм отжег. Да вот это вот, когда вы на самокате втроем, ты и девчонки, и в кусты влетели! Да! И менты еще за вами... Ну... Таких вы там пиздяо могли огрести... Что значит, не выкупаешь? У тебя блэкаут, что ли? А кто на крыше под Дорна в пять утра дэнсил? Да, блин, да! Я тебе отвечаю! Ну я понимаю, да, абсент со спрайтом, неординарное решение! В среду будет. У них по средам там. В «Ровеснике». Диана будет играть, да. Ну она такое играет, знаешь, иногда синтипоп, иногда восточное микшированное, но самое лучшее по пятницам у них, они берут, короче, киномузыку и кладут биты. Да. Конечно, давай вместе некст тайм. Согласились. Ну все, бро, я докурил. Ага, обнял. Обнял.

Он подошел к урне, кинул аккуратно окурочек, вернулся к двери, приложил домофонный ключ, обернулся к Ульяне:

— Вам не сюда?

Он был высокий, с буйной копной темных волос и красивый холеной столичной красотой, почти что нерусской, а французской, что ли. И лицо такое у него было при этом — свое, как будто сто лет знакомы, легко заговорить с таким человеком. Рубашка белая летняя на нем смотрелась так, как будто он у этого подъезда на паруснике пришвартовался. Ульяна вдруг подумала: а был бы вот Саша в такой рубашке — выглядел бы как официант из «Шоколадницы».

— Нам сюда, — кивнула она.

— Тогда нам по пути.

Ей все равно было, в общем, где ждать — тут или на этаже. На дворе июль, ночи теплые. Но почему-то захотелось ответить согласием, пойти за этим легким веселым молодым человеком туда, куда... Куда-нибудь.

— Можно, да? — она поднялась со скамейки.

— Нужно! — парень открыл дверь, прижал ее спиной и пригласил Ульяну внутрь.

Не заподозрил ее ни в чем. Не стал допрашивать. Просто впустил, и все.

— Ключи забыли? — спросил он ее уже на лестнице: поднимались нога в ногу.

— Да мне и не выдавали их. Не заслужила пока, — усмехнулась она.

— Новые соседи?

— Нежданные гости.

— Наводчица?

— Налетчица.

Пока ждали лифт и вместе молча глядели, как меняются циферки на табло с этажами, он за долю секунды — чего, конечно, для перехвата было более чем достаточно — отсканировал ее глазами. Сверху вниз, снизу вверх и обратно на табло.

Солдаты в госпитале — да, облепляли ее взглядами, но солдатское-то внимание стоит ноль, у них вечно недодача. А для премиальных москвичей, которые внутри МКАДа жили, она как будто мутная стекляшка была: все глядели, хмурясь, сквозь нее — и все мимо. Этот вот первый увидел в ней тоже нормального человека, а не иногороднего. Ну и... Девушку, показалось Ульяне, в ней увидел. На секунду снова показалось, что в Москве можно даже и Ульяне было бы все-таки оттолкнуться от асфальта и взлететь. Защемило — от возможности и от невозможности.

— На самом деле, спасибо, спасли, — Ульяна обернулась к нему. — А то бы бомжевала еще на лавке, пока там мои придут. А тут такой принц.

— Принц на белом, — засмеялся парень, и стало слышно, что от него пахнет каким-то ароматным, наверное, непростым, алкоголем. — А вы, случайно, не спящая красавица?

— Получается, что неспящая.

В уме даже сложился ответ «Ни с кем не спящая», но постеснялась такое шутить.

— Вы по гороскопу не Лев, случайно? — спросила она; вот сто процентов, что Лев!

— Ну если только светский. Какой вам?

— Пятый.

— Это к соседям, что ли? — удивился он, и вдруг вся загадочность с него слетела, будто антистатиком побрызгали. — Ульян, ты?! Анриал!

Ульяна остолбенела — и вдруг ее тоже осенило.

— Кирюша?..

— Ого! Ну ты...

— А ты-то... Какое Кирюша... Тут целый Кирилл Максимович уже...

— Офигеть. Как я не допер...

— А я смотрю — как будто знакомое что-то...

— Это сколько лет-то прошло, блин? Типа пятнадцать?

— Да больше! Мне двенадцать было.

— Вообще...

Кирилл стал отпирать замок и не мог попасть ключом в скважину, потому что все озирался на Ульяну — неверующе. Наконец пустил в дом и на пороге уже добавил:

— Мама сказала же, что ты приехала... Что у тебя жених тут, да? В больнице...

Она как будто впотьмах шагнула в открытый канализационный люк, и в короткой невесомости все ее внутренности к горлу прибились: так захолонуло от стыда. Что флиртовала только что с ним, едва отлучившись от Саши, а еще больше — если Кирилл сейчас поймет, что она при раненом женихе первого встречного клеит. Прилило, защекотало... Господи, какая же ты все-таки...

Кирилл позвал ее за собой в кухню.

— Хочешь что-нибудь? Коньяк или с пузырьками?

— Да я чаю просто. И бутер если какой-нибудь.

— Ну, давай чаю.

Себе он налил янтарного чего-то на сантиметр, кинул лед. Сели чаевничать.

— И как он? — спросил Кирилл. — Твой?

— Да как-как... — сказала Ульяна. — Ноги отрезали.

— Ох. Пиздец какой, — расстроился он.

Сделал большой глоток. Соорудил ей бутерброд с докторской, вручил.

Саша со своей пустой простыней и своими щенячьими глазами, со своей обдолбанной улыбкой замаячил перед Ульяной. Тоже захотелось горячего, но было нельзя. Положила в чай три ложки сахара.

— Сколько ему лет-то?

— Двадцать семь.

— Это как мне, что ли? Охуеть.

Ну хоть не обходил Сашу стороной, как его родители, не при-
творялся, что Ульяна у них объявилась без причины, что просто так, погостить приехала.

Встал, взял с полки бутылку, долил себе. Одного сантиметра ему не хватило, чтобы переварить такое. Ульяна молчала. Нечего к этому было добавить.

— А ты помнишь эту елку? Ты на елку приезжала к нам тогда, да же? На кремлевскую.

— Да помню, конечно! Сегодня вот вспоминала как раз...

— Мама тогда билеты взяла, на нас и на вас. Я ни до, ни после не ходил туда. Так что ты у меня, реально, с Кремлем ассоциируешься... Ты еще в таком золотом платье была, да?

— Точно! Было золотое! — улыбнулась Ульяна, вспоминая.

— Во! Прикинь, запало... Это... А, и еще как меня мама в деревню возила к вам. И там помню подвал и петуха.

— Какого еще петуха?

— Ну какого-то. Черного. И еще как там чел дрова пилил бензопилой, и запах... Бензина. И дерева.

Может, он и не думал ее судить. Не пришло ему такое в голову. Другое там было: он сам маленький и Ульяна двенадцатилетняя в золотом платье. Кирилл улыбнулся и ей, и себе — и завис. Изучал обои. Ульяна снова забеспокоилась: а теперь что?

— Жалко парня... А это... — Кирилл потер лоб. — Что же он не свалил-то?

— Куда?

— Ну из Рашки.

— Как?

— Ну... Как... В смысле, у него заграна нету?

— Нет.

— А че не сделал?

— Да куда ему ездить-то? — усмехнулась Ульяна. — У меня тоже нету вот. Еще и денег стоит.

— Ну, деньги. Зато мог бы отскочить. Он же по повестке?

Ульяна задумалась на секунду, прихлебнула пока что чаю. Это проверка была. Но Кирюша был на Ульяниной стороне и сам же ей правильный ответ подсказывал. Ему хотелось, чтобы Саша не служил, чтобы сбежал. А это вот все из жалости только, или он вообще против службы был, против войны? Явно же надеялся, что Саша служить по принуждению пошел, по повестке. Верный ответ: заставили.

Она наклонила голову вперед. Кажется, угадала.

— Блин... Да все равно. Армения же есть, Казахстан... Там по внутреннему пускают. Белоруссия! Слушай, да... Ну хоть меня взять, чтобы далеко за примерами... Ну мне вот лично пришла повестка. Сентябрь двадцать второго. Помнишь, когда всем рассылали? По мобилизации. И френду моему еще одному — тоже такое же письмо счастья. Мы, короче, с ним сразу в тачку, мама сырничков напекла с собой, бутербродиков наделала, и мы вжух в Грузию. Там когда миллион народу в пробке стоял в Верхнем Ларсе, вот и мы там со всеми вместе. Трое суток в машине. Бутер-

бродики все слопали, потом друг друга чуть не сожрали. Но просочились как-то. Лишь бы не призвали. Пиздец жуть потому что.

Ульяна кивнула ему.

— Ясно.

— Ну и все, понимаешь? Просто и нужно-то было перетусовать самую жару, пока всех гребли, в другом месте где-то. Им-то все равно, кто придет, а кто нет, они просто поголовье считают. Кто явится — тот и явится. Так что им твоего парня не обязательно было... Просто кого-нибудь... Да любого лоха, который не отдуляет, че в стране творится. То есть... Сорян, я не это...

Ульяна пожалала плечами.

— Ну у меня одна жизнь, Ульян... Что мне, фукнуть ее, что ли, реально? Ну это же все бред лютый, что они по телику рассказывают там, и я понимаю, что это херомантия какая-то, и ты понимаешь, и они сами все понимают, но все притворяются, типа это по серьезке все. Ну без обид только! Мне поэтому еще так твоего парня жалко. С ним это все за что, для чего? Да ни за что и ни для чего. Так просто, потому что наш дед ебнулся. Как его зовут, ты говоришь? Саша?

— Саша.

— Ну вот, и ради чего вот он все это, твой Саша?

Ульянин страх перед столичным родственником, страх быть осужденной за мыслепреступление: за блядство, за предательство Саши, отползал; и воспоминание о золотом платье, радость от секундной близости, от общего с этим чужим человеком кусочка нежной детской жизни тоже пожухло, стало обратно старым полароидным снимком: одни расплывчатые очертания. И даже то, что Кирилл Сашей заинтересовался, тоже перестало его извинять. Съебался, и все. Ну а че? Потому что мог. Загран потому что.

Потому что зассал. Зассал потому что, а не потому что умный.

Вот это, наверное, и отразилось сразу в ее лице. Словами врать за жизнь научилась кое-как, а актерствовать бог особо таланта не дал. Она и вслух еще ничего не успела сказать, а он

почувствовал в ней перемену, даже через коньяк через свой все увидел и засуетился, затараторил.

— А че ты в Грузии своей не остался? — ответила ему Ульяна.

— Слуш, ну че не остался... Да там сурово все равно очень. Жесткий минимал. Мы им там, конечно, завезли лучшее, что было в Москве — и матчу латте, и кинки-пати, и сервис по выгуливанию собак, но люди там, в целом, на своей волне. Все Тбилиси изрисовано граффити, что фак рашнз и что рашнз гоу хоум, и так с местными каждый разговор начинаешь с того, что я вообще не за, и что я от войны уехал, и что мы оч благодарны вам и тэ дэ, первые три месяца этого покаяния как бы ок, а потом как будто приедается немношк. Нет, ну я им реально очень благодарен за гостеприимство, и Тбилиси классный город, и люди, и хинкали, и Арагви, и Кура, и чача, и молодые дизайнеры, и я все понимаю, они в своем праве, они от нас за двести лет навидались всякого, подустали тоже, но там дня не проходит, чтобы тебе не напомнили, что ты тут в гостях — как будто бы говорят с тобой, а сами так на часы посматривают — когда ты уже свалишь, понимаешь? Ну и, если честно, не дотягивает до Москвы сильно — ни по матче, ни по кинки. Да вообще... Ну я москвич, блин, ну это моя родина, ну соскучился, ну сколько можно, типа. Хочется в свою квартиру, маму-папу повидать, ну не быть гостем уже...

Ульяна нахмурилась.

— А ниче, что повестка? Повестка висит же?

— Да... Повестка. Ну а что — повестка? Они же как устроены — у них ки-пи-ай, сколько народу деду отдать на прокорм. Дед сказал: хочу жрать! Они такие прикинули хуй к носу — тэкс, нужно триста тысяч человек. Как быть? А давайте сделаем лотерею смерти. Чисто по рандому рассылаем миллион повесток. Триста тысяч набрали, дедушка покушал, остальные пока свободны. Я вернулся, и кент мой вернулся, и там еще пацаны, и ничего, никого не дернули. Потом даже вроде Собянин говорил, типа, все, расслабьтесь. Это же как всегда в Рашке: типа, фигачит такое

огненное Око Саурона слева направо и справа налево, кто под лазерный луч попал, того испепелило к хуям, ну, сорян. Ну а чего вы ждали, это родина, сынок, правила всем известны. А кто успел отскочить — те такие: о, норм, пронесло, живем! Тусуемся дальше. Ну, значит, тусуемся дальше, че!

Тусуемся дальше, повторила за ним молча Ульяна. А че.

— Я это... — она встала. — Я пойду, наверное. А то завтра вставать рано, опять в госпиталь нужно.

— А? Да... Ну да. Понимаю.

Он тоже поднялся — чтобы долить себе еще немного. Она поставила свою пустую чашку в мойку, подумала половину секунды и решила ее ополоснуть. Он прихлебывал пока за спиной. Кайфовал. Ульяна развернулась. Странно было забыть, как полчаса назад она могла увидеть в нем красивого парня.

— Спокойной ночи.

— Погоди, — сказал он. — На вот, возьми мой ключ. Пусть у тебя будет. Чтобы, если что, тебе под домом не торчать.

— Мерсишки.

Умылась, спряталась в свою комнату, легла.

И только потушила свет, сразу снова очутилась перед Сашей в палате. Снова вошла к нему из больничного коридора, снова в первый раз увидела пустоту под простыней, его запавшие глаза в черной кайме, губы углами вверх; и это вот — «как я его буду воспитывать?».

В тот раз у Ульяны с ходу нашелся ответ, а сейчас растерялась. Легко было Саше врать, когда он был под препаратами, а сейчас он протрезвел, перестал лыбиться, смотрел строго, как мертвый.

— Хэллоу. Да вот, решил набрать уже голосом, ага. Не отвлекаю? Ну я не знаю, от чего, от какого-то интеллектуального подкаста. Ну да, я так себе твои вечера представляю. Ну... Сначала ты работаешь на репутацию, а потом репутация работает на тебя... Да я просто, так сказать, засвидетельствовать свое почте-

ние, а то это все как-то произошло скомканно... Да, снимаю шляпу, сет был бомбейший. И стайл... В моем лице, мадам, вы приобрели преданного поклонника. Ну это сразу понятно, что референсы серьезные. Ну нет, четверги у них с твоими пятницами вообще ни в какое сравнение! Да блин, какая-то жесткая зверебка играет там, я отвечаю, просто дым из ушей. Не-не, ты лучшая, точно.

Ульяна уже стояла под дверью, ухом прижалась к дереву, и каждое слово было отчетливо. Кирилл болтал в кухне, но закрываться там не собирался, он своей двоюродной сестры не стеснялся, а может быть, и забыл уже про нее. Нырнул в прорубь, подумал о смерти: бррр! — и обратно в тепло.

— Диааан... А если типа ужин? Ну просто как мысль. Ну да. Ну вот завтра прямо, вай нот? «Лаки Изакайя». Ну да. Ну а че? Бессмертная классика. Ну там акцент на японское, да, но вообще паназиатский фьюжн. И там во дворе рядом же еще это место... Ага. Ну и потом можно до «Левел Два» как раз доползти, на чуть-чуть. Соблазнительно? Там «Геджу» будет играть. Ну ты же не полностью отвергаешь других исполнителей? Да вообще на лайте. Да мне самому на работу. Утром йога, вечером дорога? Нет, а как правильно? Днем синагога? Да я шучу. Ну все тогда, я бронирую, да? Уиии!

Рассоединились.

Ульяна отползла к себе, завернулась в простыню гусеницей, уставилась в черноту. Чернота долго не впускала ее, но в конце все-таки заглотила.

• • •

Когда уже ехали домой, совсем ночью, у Максима зазвонило в кармане. Вытянул — «Митя». Еще один школьный друг, который с началом войны собрался наконец и уехал в Израиль. Сколько лет ныл, что так больше нельзя, и вот три года назад решился.

Марина, оторвавшись от руля, вскользь глянула на экран, кивнула Максиму: ну поговори.

— Привет, Митяй.

— Шалом, православные! — с ходу зарядил тот. — Ну, как Вадика отпраздновали? Я ему набирал тоже.

— Очень мило, — сказал Максим.

— Где сидели?

— «Пандемониум» на Никитской. Новый.

— Фьюжн небось? Чем потчевали? Зимбабвийский батат с иранской черной икрой и нежный кумкват с молодой архангельской сельдью?

— Да я уж не помню. Но вкусно, к сожалению.

— Зато я все помню, — засмеялся Митя. — По ночам мне этот батат снится. И молодой картофель, возвращенный послушниками Валаама, со взбитыми сливками из молока буйволиц. Что там еще было... На иврите ресторан будет «мисада», кстати.

— Там все на месте, Мить, — заверил его Максим. — Приезжай.

— Нет уж, спасибо. Лучше вы к нам.

— Чем это лучше? Вас там вон как бомбят, даже у нас показывают. Вот что вы там сидите? Стоило и сваливать.

— Ну, ко всему привыкаешь, — сказал Митя. — Да, Макс?

— Не ко всему.

— Ко всему! — уверенно возразил Митя. — Ну а как там, вот наши собрались за столом все. Про войну говорили?

— Про вашу или про нашу? — начиная злиться, что Митя тягивает его в эти разговоры по телефону, кольнул Максим.

— Про войну с Украиной.

— Слушай... Давай при встрече, ладно? Ну ты уже забыл, что ли, как тут у нас?

— При встрече... — разочарованно вздохнул Митя.

— Ну что ты хочешь услышать? — перемогая голос сжимающихся внутренностей, сказал ему Максим. — Из наших только

Андрей зетнулся прямо по-серьезному, но его Вадик и не позвал бы. А так... Эммка тост сказала против войны. Тут все всё понимают, Мить. Никто не за. Но а что мы сейчас можем? Никто ничего не может. Присесть только можем, а больше ничего.

Марина бросила на него предостерегающий взгляд, покачала головой: тоже понимала, что по телефону, хоть бы и по Ватсапу, такое обсуждать неуместно. Только Митя не понимал. Раньше знал, а теперь забыл. Не хотел помнить, бравировал склерозом.

— Уехали бы и не пришлось бы так.

— Куда? У меня, в отличие от тебя, нету дедушки-еврея.

— У всех есть дедушка-еврей, — самоуверенно заявил Митяй. — Вопрос в том, насколько прижало. Видимо, вас пока что не прижало.

— Да и вообще, — рассердился Максим. — С какой это стати мы должны уезжать? Это наша страна. Пусть эта питерская банда вся из нее уезжает.

— Наша страна! — хихикнул Митя. — Какой же ты котик все-таки. Страна победившего фашизма.

— А у вас что? — перебил Максим.

— Ну сейчас аколь беседер, что называется. Но вот как две недели назад, когда барагозили иранцы, пока что вроде такое не повторялось. Двести ракет баллистики по Тель-Авивчику. Вот тогда, конечно... Раньше я в доме без мамада жил, приходилось в миклат бегать, и каждую ночь азака, а теперь шик — живу в новом с мамадом. В другую комнату, типа, просто перешел, сидишь, киношку смотришь.

— И что, не страшно?

— Страшно. Ну как страшно — не успеваешь охуевать. Но это, понимаешь, такое чувство... Что это твой дом. Дом, понимаешь? Страна маленькая. Сел на ракевет, через полчаса ты в Иерусалиме, а через час — в Хайфе. На тебя напали. Ты ответил. Они всю Газу тоннелями перерыли. Наши зашли на танках, выковыривают

их. Вот всех выковыряют, и будет мир. Надо просто дождаться. Ну и еще с Ираном.

— Кого всех?

— Арапчат.

— Там же гражданские, — сказал ему Максим.

— Там они автоматы в руки с тринадцати лет берут, — сообщил ему Митя. — Ты телевизору меньше верь.

— А это не то же самое, что у нас? — спросил Максим. — Звучит похоже.

Марина показала ему, что хорошо бы закругляться уже. Да и к дому почти подъехали.

— Вообще не то же самое, — ответил Митя.

— Но похожего много, — сказал ему на прощание Максим.

Три года всего прошло, а человек уже на непонятном языке разговаривает и думает на нем же. А пока в Москве жил, как-то они друг друга с полуслова понимали.

7.

Сколько было выпито накануне, подсчету не поддавалось, хотя Максим вроде бы и не собирался особо пить. Казалось, что шабли действовало как таблетки от морской болезни: подавляло тошноту. А выяснилось, что ничего и не подавляло, а только на завтра перекладывало.

Марина еще спала, а Максима из сна выкинуло. Известная история. Дальше уже пыхтеть и ворочаться в постели, периодически упираясь в супругу, ему казалось не по-товарищески. «Сон алкоголика краток и тревожен», — простонал он, выползая в сортир.

Встал с левой ноги.

На унитазе под журчание водопроводного родника почитал в теге «Медиазону»: кого там, пока они юбилеи праздновали, объявили иноагентом, а кого арестовали по обвинению в госизмене. Так сказать, дайджест посадок. Помножил депрессию на репрессии, даже расхотелось из туалета в мир выходить. Рассказал себе анекдот «Ну как же ты не хочешь в школу, Вовочка, тебе надо, ты же директор», ополоснул задубевшую кожу холодной водой, сделал усилие, решился.

В кухне сидела Ульяна и смотрела на маленьком телевизоре новости. Доедала глазунью и была уже одета и накрашена. Она кивнула ему сочувственно — видимо, очень уж он отек.

— Ни свет ни заря... — Максим улыбнулся ей, как сумел.

— В больницу надо.

— Ну да.

Накрасилась, подумал Максим. Накрасилась для кого? Для жениха своего или для врачей?

Скорей уж для врачей, чтобы хоть как-то выделили и ее, и его вместе с ней, из очереди просителей. Там же завод, небось, там же производство: засыпают раненых с самосвалов, зашивают их наспех и выпихивают обратно, кого на войну подлатанным, кого домой отбракованным, кого в гробу — поломанным. И вряд ли там врачи, с таким-то потоком, сильно вникают в личные обстоятельства. В военном госпитале к подопечным, наверное, лучше не привязываться — как в зверсовхозе в каком-нибудь.

А вот если ей нарядиться — может, обратят на нее внимание, хоть как-нибудь да запомнят, и когда будет решаться — приложить усилие и спасти или просто оставить, как есть, — может, вспомнят невесту при параде и чуть-чуть сверх нормы постараются.

Ульяна снова рассеянно уставилась на экран. Что-то про мировую закулису там стращали, но по ее лицу не видно было, чтобы она как-то искренне была озабочена интригами коллективного Запада. Так, просто под яичницу чтобы шумело фоном, может, чтобы собственных мыслей было не слышно.

А что там за мысли у нее в голове?

Лицо у Ульяны было неглупое и незлое, и нельзя его было назвать некрасивым. Пустоватое разве что? Или просто потерянное. Невыразительной внешности девочка, которая когда-то приезжала к ним на новогодние каникулы, превратилась в невыразительной внешности молодую женщину. Ну вытянулась, да. Вот, пожалуй, и все. А кем она стала? Для этого надо бы было знать, какой она прежде была.

Вид у нее был какой-то скукожившийся, что ли то. Суточный, зябкий.

Максиму захотелось спросить у нее — как там ее парень?

Но он себя осек. А можно ли было ему сочувствовать?

В войне Максим был однозначно на стороне Украины, как на стороне жертвы. И чем больше тут пытались войну объяснить и оправдать, чем яростней сочувствующих Украине обвиняли в предательстве, тем упрямей Максим за свое отношение к войне держался; это для него стало означать прежде всего сохранение себя изначального. Не развариться, не разложиться в кислоте, в которой ошметки некоторых его прежних друзей вокруг него бултыхались.

Как-то, еще на первый год войны, пытаясь вывести для себя правила жизни в новом мире, Максим решил применять к людям вокруг себя критерий соучастия. По этому принципу все, кто с войной смирились, но участия в ней не принимали, несли часть ответственности за войну, но не часть вины; те, кто хоть каким-то боком войну поддерживали — делом или словом, помогали разжигать или нормализовывать — становились соучастниками и разделяли вину; и только те, кто каким-то образом войне пытались помешать, оказывались перед судом вечности оправданы. Самого-то Максима суд вечности, правда, если б и оправдал, то на тоненькую: ему в плюс можно было разве что участие в паре-тройке демонстраций в первые дни войны зачислить и выкладку премиального издания «1984» на кассы в магазине. Ну, ладно, и вот еще вчерашнее сражение за иноагентов. В общем, он был не боец. Но он и не претендовал на это, с другой стороны. У него участок фронта другой был, без микроскопа невидимый, но по-своему важный.

Но вот с Ульяниным женихом как? То, что его мобилизовали, освобождало ли его от ответственности за все, что он на войне делал? А мог ли он не делать, когда уже оказался там? А если калечил? Если разрушал? А если убивал? Важно ли тут — по своей воле или выполняя приказ, если соучастие надо через действие определять? Если через действие — то нельзя было о женихе спрашивать, нельзя было и на секунду ей позволить подумать, что Максим ей сочувствует, что через нее сочувствует ее парню.

Максимово поколение прожило всю свистопляску, которая творилась со страной, начиная с Брежнева и далее: и перестройку, и развал, и Ельцинскую Россию, и чеченские войны, и путинизм. Яркая жизнь получилась, так скажем: без черных очков, как на ядерный взрыв, не взглянешь. И вот они, Максимовы сверстники, его друзья-товарищи, приучились на все через черные очки смотреть — через постмодерн и через цинизм. Но с войной так нельзя было, тут надо было эти окуляры снять, хоть бы и глаза резало, потому что если и случилось со страной за все это время какое-то слепяще-яркое, абсолютное зло — это была вот эта вот война с Украиной. Надо было, не отводя глаз, смотреть, надо было голым нервом ощущать, надо было честно свидетельствовать; надо было запоминать историю точно, чтобы опять ее не перевернули, чтобы опять она не повторилась однажды. Надо было, надо...

Вот о чем разговор, а не о том, как там конкретный парень себя в больнице чувствует. Не под трамвай же, в самом-то деле, он попал! Максим помолчал, выглянул на Ульяну из-под набрякших век, как из щели ДОТа. И это вот потерянное ее выражение... Тьфу ты, черт.

— Как он там? Твой жених?

— Да не оч, — оглянулась на него Ульяна. — Там прилет был. Ноги ампутировали. Обе.

— Ох ты... — снова накатила тошнота. — Кошмар какой.

Представил себе эти ноги отрезанные, обернутые в портянки. Зажмурился. Культи только ясней замаячили.

— Жалко как парня, — произнес он. — Сколько ему лет?

— Двадцать семь, — ответила Ульяна.

— Это как Кирюхе нашему прямо?

— Вот-вот.

Мелькнула черным картинка: Кирилл без ног. А ведь могло и такое, если бы они тогда не ринулись его эвакуировать. И всякое бы могло. А если бы не успели, если бы границу закрыли, да мало бы что еще... Вот и как тут судить? А Кирилл его бы тогда тоже

виноват вышел, если бы его за шкуру — и в мясорубку? Просто не повезло. Был бы его выбор, а тут... Повезло или не повезло, вот тебе и вся историческая развилка, как всегда у нас здесь и как у всех.

Жених... Жених — значит, собирались жениться. Значит, была запланирована какая-то человеческая жизнь, и ей это будущее в одно мгновение ампутировали, пилой по кости. Максим вспомнил свое ощущение, когда война началась: безысходность, беспросветность. Все, что они там себе с Мариной наперед придумали — все ломалось ради удовлетворения чьих-то чужих бессмысленных, людоедских целей и задач, оправдываемых крошечным и бездарным враньем; а жизнь у Максима ломалась своя, настоящая и единственная. Но ему-то удалось из-под этого гребаного асфальтоукладчика с триколором и черепами вывернуться и отползти. Отползти... Вот еще одно слово из новейшей российской истории. Отползли, да. И Кирюху вытащили, и Маринино агентство без заказов не осталось — да что там, еще пуще стало нужно город украшать, — и хорошие книги людям понадобились острее. И Марина, и Максим людям помогали — каждый по-своему — оставаться в бесчеловечное время человеками, так что именно их-то семья от войны напрямую не пострадала. А вот Ульяна...

Максим взял порезанный кефирный батон, детски-нежный, отслоил себе дольку, стал мазать его мягким маслом. Ульяна молчала, прихлебывала чай, смотрела дальше утренние новости.

— Агитационный поезд Минобороны завершил свой тур по России, приуроченный к восьмидесятилетию Великой Победы, и с триумфом вернулся в Москву, — сквозь шум закипающего чайника прорезался телевизор. — Он преодолел более тридцати тысяч километров и исколесил всю страну! Два с половиной месяца провел он в пути и объехал столицы всех военных округов, побывал в Краснодаре и Махачкале, Волгограде и Уфе, Екатеринбурге и Новосибирске, Хабаровске и Владивостоке. В его восемнадцать вагонов уместились и выставка, посвященная памя-

ти Великой Отечественной войны, и обширная экспозиция на тему специальной военной операции. На каждой из станций агитпоезд вызывал настоящий фурор, к нему стекались тысячи посетителей, главным образом — молодежь и школьники...

Телевизор продолжал бубнить, шкурить мозги, было шершаво. Максим поморщился. А Ульяна — она вот понимает, что смотрит? И если понимает, то зачем вообще смотрит тогда? Максим хотел было Ульяне сказать «не читайте за завтраком советских газет», но удержался. Она внимала корреспонденту, чуть приоткрыв рот, но казалась не зачарованной, а скорее контуженной, как будто «прилет» и по ней пришелся.

— Неудивительно, ведь в оборудованном по последнему слову техники интерактивном музее на колесах можно было не просто ближе познакомиться с новейшей историей, а и, к примеру, при помощи компьютерного симулятора почувствовать себя пилотом штурмовика или боевого корабля! А гвоздем программы стали, конечно, как и в прошлом году, трофейные образцы вражеской военной техники, отбитые нашими войсками у противника на полях сражений СВО. Вот как об этом рассказывает координатор проекта, заместитель министра обороны, генерал армии Олег Семенович Горемыкин...

Неужели действительно существует на свете генерал российской армии по фамилии Горемыкин, удивился Максим. Вот же ведь гоголевщина. А впрочем, что тут не гоголевщина? Он окатил кипятком чайный пакетик, подровнял свои бутерброды, сел рядом с Ульяной.

Телевизор дал очередную панораму зеленого расписного поезда с огрызками бронетехники на открытых вагонах. Ульяна вглядывалась в него очень внимательно, задумчиво. Когда телевизор завел про поля сражений СВО, она скривилась — и это Максим сразу подметил. Это его окрылило. Разумеется, она была против войны, как и они с Мариной! Да и как, в ее-то положении, можно было все это поддерживать?

Она еще не успела ничего сказать, а Максим уже совсем к ней переменялся. Как будто она из далекой, некровной родственницы стала родной. И вот он уже был рад, что разрешил ей у них пожить, рад был, что она у него на кухне сидит, захотелось еще сыра ей подрезать, кофе предложить.

— Подбитые американские, британские и канадские танки и БТРы, погруженные на особые платформы, проехали через всю нашу страну — но не так, как планировали те, кто пичкал ими киевский режим, — дежурно и к тому же запинаясь, будто в первый раз зачитывая незнакомый и непонятный текст, докладывал генерал Горемыкин.

Гастролирующее смерть-шапито, фальшь, казенщина, и еще подлая смысловая сцепка эта «BOB — СВО», чтобы двадцать миллионов убитых в той войне как локомотив за собой еще миллион свежих трупов тащили в товарных вагонах. Тридцать тысяч километров, и на каждом полустанке притормозить, чтобы соврать и оболванить. И до кучи — кретинские усы щеточкой на гоголевском генерале. Максим цыкнул.

— Ужасно! — он оглянулся на Ульяну за поддержкой.

— Что? — спросила она.

— Вот все это вот, — Максим кивнул на экран. — Вот зачем они этот поезд отправили по стране кататься? Как думаешь?

— Без понятия, — пожала плечами Ульяна. — Ну... Восемьдесят лет победы же, типа.

— Да брось, — усмехнулся Максим. — Разве в этом дело?

— А в чем?

Ну, может, такую манипуляцию Ульяна не умеет считать? Это Максиму она кажется выпуклой, очевидной... Но это ведь ему не с неба спустилось знание. Это годы, десятилетия размышлений, анализа, чтения правильных книг и правильной прессы... Круг общения, в конце концов. Чтобы деконструировать миф о Великой Отечественной, чтобы осознать, как его с детского сада им всем внедряют... И как потом используют. Это для него — «победо-

бесие». А для обычных людей — георгиевские ленточки, дедовы фотки в пилотках и гимнастерках да шашлыки на майские.

— Ну в том, чтобы внушить людям, что эта война — как бы продолжение той войны, Великой Отечественной. Там же немцы напали на нас, значит, и тут мы не агрессоры, а жертвы, — сказал он. — Значит, и эта война — священная. И вот поэтому надо западную бронетехнику по всем городам и весям таскать. Как наглядное доказательство того, что мы тут просто опять, как тогда, защищаемся. Как будто это не мы на украинцев напали, а Запад на нас. И поэтому четвертый год не можем победить, потому что одни против целого света...

Ульяна смотрела на него без выражения. Максим смутился, но надо было уже досказать.

— А самое главное — они же ведь еще хотят этим поездом побольше народу на войну загрести. Он же так и назван — агитационным. Даже не скрывают, гады. Потому что на фронте люди заканчиваются. Кто по госпиталям, вот, а кто и по кладбищам. Новых надо. В топку, блин, паровозную закинуть.

Насупилась племянница. Или он зря ей это на пальцах объясняет? Еще обидится, что счел ее за дурочку. И что такое вообще этот «обычный человек»? Вот ведь ты со своим псевдоинтеллигентским снобизмом...

— Ну а что, мы разве с Украиной только там? Вон же, броневики все показали реально. Они же не нарисованные. Кто-то их туда прислал. Америкосы и прислали.

— Ульян... Ты это серьезно?

— А что?

Максим протянул руку, взял пульт, вдавил кнопку, телевизор поперхнулся и потух.

— Прости. Не могу больше смотреть это все. Все, чтобы еще кому-нибудь мозги запудрить, в мясорубку отправить. Чтобы потом еще кому-нибудь ноги ампутировать. Как твоему Саше.

— Угу.

Ульяна перевела взгляд на мертвый экран. Вздохнула.

— Ты же не веришь этому всему?

— Я-то?

— Ты. Ты, Ульяна. Или веришь?

— Я не знаю. А чему верить-то?

— Да много чего есть... «Медуза» есть, «Инсайдер», «Дождь», да хотя бы Би-би-си, прости господи... Давай поставим тебе VPN, все будет отлично открываться, у тебя время вроде есть, как раз считаешь...

— Да есть у меня ваш випизн. Что, думаете, я дикая совсем?

— Я этого не говорил! Есть VPN — и отлично. Молодчинка! Просто будет полчаса, включи «Дождь» на Ютьюбе. «Дождь ТВ». Тоже новости, просто не такие, не марионеточные.

— Океюшки.

Вчера она на него по-другому смотрела. Вчера обняла его так... Приникла. А сейчас вокруг нее поле такое электрическое возникло, что Максим и не решился бы сам к ней приблизиться.

— Ты же понимаешь, кто в этом во всем виноват, Ульяш?

Назвал ее «Ульяш», как маленькой ей говорил, а сам тут же услышал в этом сюсюканье и фальшь, да и она тоже эту фальшь, кажется, сразу распознала.

— В чем?

— В том, что с твоим Сашей произошло. С ранением, с ногами...

— Ну и кто? — прищурилась она.

— Ты же это понимаешь? Ты же не можешь этого не понимать!

— Ну скажите вы, дядь Максим.

— Ну кто его в армию призвал? Кто его в Украину отправил?

Она молчала, буравила его взглядом. Неужели она это все, на самом-то деле, поддерживала? Неужели он в ней так обманулся? Кого пригрел... Тут бы самое время заткнуться, но Максим заткнуться уже не мог.

— Власть, Ульяш! Власть! Путин, блин! Если уж вещи своими именами называть! Ну ты это не понимаешь или не хочешь понимать?

Она снова вздернула плечи. Плечи у нее были костистые, широкие, худые. Как у волейболистки.

— Я буду двигаться, дядь Максим. Мне сегодня надо к главврачу попасть обязательно.

Встала, убрала за собой в мойку посуду, выскользнула из кухни. Максим остался один со своим бутербродом на мягком кефирном батоне. Сухой хлеб забился в горло и душил. Захлестнула тревога — предощущение беды, запоздалое раскаяние. Тягостно стало, нечисто. Да брось, просто похмельный синдром, по классике, больше ничего, успокоил себя он.

А, и какой-то сон отвратительный ему еще снился... Может, во сне все дело?

• • •

Иисус терпел — и нам велел, внушала маленькой Ульяне мама.

Ну вот и пришлось потерпеть наставления, пришлось дурочкой прикинуться. Все-таки она живет у людей, нехорошо с ними закусываться. Считает себя умным, лекцию ей устроил. Опять Саша у нее debil, что поверил и что пошел, да и она у него дура, получается. Нет уж, извините. Это ты сам себе объясняешь, почему ты своего сына побегал прятать, когда ему повесточка прилетела. Потому что он у тебя слишком умный, птенчик твой, чтобы служить. Потому что ему его ножки очень нужны, чтобы в клубах дэнсить. Это Сашка балда, поверил, что фашисты, вот ему и поделом, что теперь на культах скакать будет. Если выкарабкается вообще.

А не пошел бы ты на хуй, дядь Максим? Прямо там и надо было послать, за завтраком, жалко, что культурность помешала.

Сколько в метро проехала, столько проварилась в гудроне: ругалась с дядькой по памяти. Под конец поездки уже от желчи изжога началась. Еле выбралась на свет, не знала, за кого схватиться. Набрала Кристинке. За эти несколько дней, что не разговаривали, Ульяна совсем пошла на дно. Все-таки из них двоих Кристинка была поплавком, а Ульянка — грузилом. Очень захотелось просто услышать ее, пусть потренькает что-нибудь на канареечном.

Та сначала не подошла — Ульяна уже успела в автобус сесть — и только потом перезвонила.

— Алло.

Голос был глухой, в нос. Ревела.

— Кристин?

— Привет.

— Как дела?

— Ну так.

— Случилось что?

— Ну... Да ну... Одна ебучка сплошняком.

— Че такое?

— Да чел бросил. Эсэмэской. Прикинь.

— Реально? Это который?

— У меня сейчас один, Ульян! Саша. Ты че, не помнишь уже в своей Москве?

Точно. У нее же тоже свой Саша оказался, вспомнила Ульяна. Тот, который суши кормил. Офигевали же про это вместе, как она могла забыть?

— Прости. Вылетело. Тут просто столько... Всего.

— Да ладно. Норм, — Крис всхлинула. — Просто бред, что эсэмэской. А я его к родителям уже хотела вести.

— Ну будет еще другой. В жопу его.

— Он хороший был. Почему эсэмэской, Ульян? Почему он со мной так обращается? Я вообще, что ли, хуйнюшка какая-то? Я кто ему, кошка? Собачка?

— Да забей...

Она заплакала. Ульяна катилась вдоль бетонных заборов в новеньком ярком автобусе, ехала в военный госпиталь, и не обижалась на Крис, что та забыла у нее спросить, как дела у ее Саши, безногого. Любила она Крестинку. Жалела.

— Просто понимаешь, — гундосо сказала Крис, — одно на другое навалилось. С работой это, что уволили, и теперь он еще бросил. Бля, Ульян, почему жизнь так страпонит жестко? Что я сделала-то?

— А с работой совсем там тяжко, да?

— Ты не понимаешь, — Крис втянула соплю. — Вообще мрак. Куда ни позвонишь, везде уже или закрыли вакансию, или вообще передумали.

— А че наш? Анатолий Сергеевич?

— Ну ниче. Позвонил. Говорит, закрывается к херам, поблагодарил за службу.

— Салон, то есть, вообще, что ли, не будет больше работать?

— Ну ты слушаешь меня? Злой как черт. Я ему про выходное пособие, а он мне — я тебе его в жопу засуну, если встречу. У меня, говорит, там долгов и штрафов уже столько, что уже по барабану, проще сесть.

— Офигеть.

Помолчали. И только тогда Крис спохватилась:

— Блин. Что мы все обо мне да обо мне? Ты-то как? Как твой Саша?

• • •

А Максим так и залип в кухне: сидел, обреченно читал плохие новости, рядом жухли недоеденные бутерброды, чай перезаварился до чифирного состояния и остыл. Похмелье с его головы расплозлось на весь мир, и весь мир теперь был гнусный и мутный. Марина по-прежнему спала, некому было исцелить Максимову тревожку. Хотя в петлю лезь — фигурально, разумеет-

ся, потому что с мыслями о самоубийстве Максиму даже играть в жизни не приходилось.

Что же за сон ему снился? Мерзость какая-то...

И тут скрип-поскрип паркет в коридоре — и в кухне появился Кирилл. Стоит в труселях в проходе, косяк подпирает, улыбается, потягивается. Чистый Аполлон, не зря его Максим столько лет на Гребной канал на секцию возил: академическая гребля, конечно, дает результаты.

— Доброе!

— О... Кирилл Максимович пожаловали! Кофеечку?

— Да я сам сделаю, сиди. Бурная ночь? — ухмыльнулся тот.

— Да Вадика Смыслова юбилей... Что-то переусердствовал.

— Хулиганить извольте-с! Посреди недели-то! Во сколько пришли?

— В половину второго, кажется.

— Надеюсь быть столь же энергичным в ваши годы-с!

— Наши годы... Да какие наши годы! Вот, бутерброд не хочешь?

— Всегда готов!

Что-то он там напевал, присвистывал. Вот возраст: работы нет, повестка над твоей головой висит дамокловым мечом, из имущества — три пары джинсов и мобильный, а встаешь с утра и улыбаешься. Просто тело мнется легко, и ты его мнешь. Просто время впереди еще не ограничено и есть ощущение, что за это время еще точно успеется все на свете. И радость эта щенячья от предвкушения дня, которую никакое похмелье не створожит.

— Ну как собеседование-то?

— Тьфу-тьфу-тьфу! — Кирюха постучал себе по лбу. — Вроде. Расскажите, где работали, а чем занимались, а почему ушли, а какие ожидания по зарплате, а какие планы на жизнь, а почему наша компания. Ну, я по-честному все. Я ж у нас честный.

— И какие планы на жизнь? — поинтересовался Максим.

— Планы — получить место тимлида продуктовой аналитики в вашем банке и построить в нем головокружительную карьеру.

— А вы знаете, что у нас в банке работа на удаленке не приветствуется? Мы точно можем на вас рассчитывать?

— Это, кстати, спрашивали, — улыбнулся Кирилл. — Ты, я смотрю, в теме!

— Советские газеты за завтраком читаю, — вздохнул Максим. — Ну, так что скажете?

— Скажу, что можете рассчитывать, конечно. Да, был перерыв в карьере, уезжал, но вернулся, больше уезжать не планирую, свое будущее связываю с этой страной.

— Как относитесь к нынешней ситуации в стране?

— Это вот не спрашивали. Да это «Тиньков», там все всё понимают, па, ну ты че?

— «Тиньков» уже не «Тиньков», Кирюш. Как и «Коммерсант» не «Коммерсант» и «НТВ» не «НТВ».

— Ой... Ну тогда меня еще не было. В вашем этом Юрском периоде. Когда трава зеленой была, а небо синей.

— А ты, конечно, считаешь, что сейчас трава достаточно зеленая, а небо достаточно синее? — хмыкнул Максим.

— Более чем! — заверил его Кирюха.

— Ну-ну.

— Нью-ню. Короче, завтра второй раунд.

— Ни пуха... Да все получится, я уверен.

— К черту!

Он реквизирует у Максима избыточный бутерброд, стал прихлебывать кофе. И аппетит у него был зверский, веселый. Максиму, глядя на него, тоже захотелось — и бутерброд с колбасой, и жить. Встал делать себе новый.

Вдруг Кирилл вспомнил.

— О! Я же с сестрой своей вчера познакомился! Заново. Где она, кстати? Спит еще?

— В госпиталь поехала к своему молодому человеку.

— Да... Там кошмар же какой-то, не?

Максим не удержался — посмотрел на Кирюхины лапы, мускулистые, но почти безволосые; вспомнил, как тот мальчишкой ногу ломал на лыжах, какие тонюсенькие палочки были вместо этих ножищ у него тогда.

— Там кошмар.

— А она нормальная девчонка, мне показалось. Вроде подружились с ней.

Поднялась и Марина, томная, запахнутая в шелковый халат. Поцеловала Кирюху в темечко, пошла варить себе кофе в латунной турке. Когда она успела превратиться в отставную диву, в персонажа «Бульвара Сансет», случайно спросил себя Максим. А потом спохватился про себя же, будто вовсе не имел этого в виду.

— А мне вот не показалось, что она нормальная, — выплеснул на них Максим со дна гущу. — Ульяна ваша.

— Что такое? — озабоченно оглянулась на него Марина.

— Как можно в ее положении не понимать, из-за чего это все началось?

— Что началось? — спросил Кирилл.

— Война. Война, Кирюш.

— А она не понимает? — осторожно уточнила Марина.

— Она пялится в ящик с утра. Сидит и в ящик пялится. Мне кажется, она из этих, — произнес Максим. — Из тех, кто всему верит.

Марина стучала-скребла ложкой по нутру турки, размешивала сахар. Потом сняла кофе с огня, через особое ситечко нацедила себе в изящную расписную чашку.

— Люди верят телевизору, Максим. Ну что поделать? Люди верят. Им в этой стране жить, им приходится. Это нормально. Им по телевизору правила рассказывают проживания в этой стране. Ну чего ты к ней пристал?

— Люди делятся на тех, кто понимает, что происходит, на тех, кто не понимает, что происходит, и на тех, кто отказывается

понимать, что происходит, Марин! — сформулировал Максим. — И вот либо она дура, чего мне не показалось, либо она не хочет понимать. И признаюсь, да, я не особенно счастлив, что такой вот человек оказывается приглашен в наш дом.

• • •

Очередь к главврачу начиналась на лестнице — ни в приемной, ни в коридоре опухшие жены-матери — круги под глазами, на головах платки, словно в церковь пришли, — не помещались. Записи не было, была живая очередь, и кто раньше в нее вставал, тот и получал надежду задать свой вопрос.

Пока стояли, делились друг с другом — у кого что. У мужа осколочное, с дрона сброс, у сына трепанация, черепно-мозговая, миномет, у сына обе руки ампутировали, сапер, брат, ожоги четвертой степени, ослеп, муж, полостная, половина кишечника удалена, сын, в коме. Кому справку, кому инвалидность, кому внимание, кому чтобы сына обратно на фронт не отправляли, а кому просто обещание, что не умрет.

Что за человек главврач, спросила Ульяна у женщины в платке. Ответила другая, которая знала: бывший военный хирург, дослужился. Деловой, не сочувственный. На своем месте, короче.

Очередь была долгая, а втягивалась быстро. Там, видимо, судьбу скоро решали: как в полевом лазарете сортируют на живых и мертвых. Пока ждали, многие разговаривали, а уходили от главврача почти все молча. Редко кто с улыбкой, чаще с глазами на мокром месте. Плакали для себя, не ради эффекта. Суд, кажется, был беспристрастный и неподкупный — заходили матери с гостинцами и с ними же выходили.

Пришел черед Ульяны.

Кабинет был просторный, но простой. Стены крашенные, на стене Путин в раме, руки сложил, в углу свернутый флаг на древке; посреди кабинета начальственный стол, там фотография

мужчины в камуфляже, за спиной горы. За столом тот же мужчина, на двадцать лет старше, но все еще крепкий. И там глядит устало, и тут. На бога не похож, больше на мясника, но видно, что в отставке. По стенам полки, на полках дела человеческие. На столе компьютер, в котором все записано.

— Говорите.

— Я по поводу Лазаренко Александра Витальевича.

— Отделение?

— Нейрохирургия.

Он пощелкал по клавишам. Приспустил железные очки, поверх них присмотрелся к Сашиной ситуации.

— Так... Лазаренко... Лазаренко. Осколочно-компрессионное, в результате... Угу. Несвоевременная эвакуация... Гангрена обеих конечностей... Ну да. Ампутации. Ясно. Так. Теперь что... Значительные повреждения внутренних органов, состояние позвоночника... Остистые отростки... Осколки кости в брюшной полости... Внутричерепное... Мда. Запланировано оперативное вмешательство с целью... Ясно-понятно. Ну тяжелый, что я могу вам сказать. Тяжелый ваш Лазаренко.

— Я в курсе, — как могла твердо произнесла Ульяна.

— И еще операция у него назначена на днях. Позвоночник будем ему собирать. У него позвоночник в щепки. И органы малого таза... А главное, я вижу, черепно-мозговая еще, компрессионная, и давление... Вот давление. В общем. Лучше вам пока не знать. Под общим наркозом. Непростая операция, мягко скажем. Прогнозы давать не берусь.

— На когда это?

— Или послезавтра, или в четверг. Все, больше нет для вас никакой информации. Будем держать в курсе.

Он кивнул ей, давая понять, что ее время истекло.

— Подождите, — сказала Ульяна. — Я не по этому поводу.

— А по какому же?

— Мы хотим зарегистрировать брак.

— Угу. Так.

— Я смотрела, участникам СВО можно в экстренном режиме, да?

— Можно.

— Я хочу сегодня.

Главврач надвинул железные очки на глаза, и глаза за стеклами сделались крохотными, а рассеянный взгляд, лупой собранный в пучок, стал жечь.

— Сегодня уже не получится.

— В интернете написано, в день обращения.

— Мало ли что в интернетах пишут. Вы что думаете, вы одна-единственная у нас тут жениться хотите? Это не я ведь регистрирую, это сотрудники ЗАГС. Такой поток у них тут... Молодоженов.

— Тогда завтра. Завтра крайний срок. Если ему оперироваться потом... Пожалуйста!

— А что, не хотите подождать, пока он после операции в себя придет?

Ей показалось, что он усмехнулся. Почему? Заподозрил в ней корысть? Но как, почему? Ничего уж растакого, за пределами должностных полномочий, она не требовала от него, просила только то, что ей и так положено. И ничем себя, кажется, не выдала. Зачем эта ухмылка? А потом подумалось: а сколько тут, и правда, таких, как она, в этой очереди... Которым поскорей надо, на всякий пожарный случай, расписаться. Нечего целку корчить: он через свои лупы все равно увидит, перед ним души конвейером едут, а когда за минуту надо решать, кого спасать, а кого списать, все остальное про человека и вовсе за секунду понимаешь, наверное.

— Я беременна от него, — сообщила Ульяна.

Он вздохнул.

— Поздравляю вас. Справка есть?

— Только тест.

Главврач посмотрел в компьютер, что там про Сашину судьбу записано, посмотрел на Ульяну, взвесил, постучал по столу костяшками.

— Ну вот сделайте справку пойдите. Со справкой ЗАГС пошевелится, может. Со справкой могут и на завтра назначить. Поставят уж вас вперед очереди. Вы как от меня выйдете, постучитесь к моему заму, к Ковалеву Артуру Ивановичу. И дальше уже там с ним по этой части, договорились? У меня тут посерьезнее есть дела, чем свадьбы играть. Все. Честь имею.

— Спасибо, большое!

Он кивнул.

Ульяна вышла и прислонилась к стене: мир ехал по кругу каруселью. Гора с плеч. Уложились с ее судьбой в пять минут, порешали, как и со всеми тут делами. В ее пользу вердикт. Даже не верилось, что так скоро и так честно.

У заместителя — еще молодого, румяного, но как-то очень заранее облысевшего — еще быстрее дело пошло. Главврач ему, оказывается, позвонил уже, и он был в курсе всех Ульяниных раскладов. Повторил ей только про справку, но заверил, что оригинал можно будет к самой регистрации занести, а скан пускай шлет ему на телефон, и пообещал с ЗАГСом по поводу срочности уладить самостоятельно.

— Часам к двенадцати завтра подъезжайте, — предложил он. — И, если что, пишите мне в телегу.

Пожал ей руку на прощание вроде как мужику. Рука у него была без мозолей.

Надо было уже идти к Саше, он ждал: писал ей «Скуч», «Ты где», смайлики слал. Но Ульяна еще посидела в больничном дворе, подышала перед погружением дынькой.

Включила VPN, запустила чатик. Спросила у ИИшки: человек по гороскопу Рыбы, родился 18 марта, предстоит тяжелая операция, какие дни в июле благоприятные по лунному календарю, какой будет исход операции? Та все сразу разложила, прямо как

заправский астролог. Получалось, что, если в четверг делать, все должно было выйти заебись.

От электронки шел прозрачный, почти совсем незаметный пар. А за крышами больничных корпусов из высокой кирпичной трубы курился черный страшный дым.

• • •

Доклеивали Темину комнату, когда телефон зазвонил. С го-
ночными машинами выбрал себе обои, обалдуй. Ну да ладно
уж, пускай.

Номер был незнакомый, поэтому Татьяна не хотела отве-
чать, боялась телефонных мошенников. Но потом что-то екнуло:
нужно подойти.

— Лазаренко Татьяна Николаевна?

— Кто это?

— Областной военный комиссариат беспокоит. По поводу ва-
шего сына, рядового Лазаренко Павла Витальича.

— Павел не мой... Мой — Александр.

— Ой, тьфу... Александр, да. Александр Витальич. Совсем тут
уже заболтался...

— А что... Что с ним?!

— Сообщаем, что ваш сын нашелся.

— Спасибо! Слава тебе, господи! Спасибо вам! А где, где?

Назвали номер московской больницы, куда Сашку доставили,
про состояние по телефону ничего сказать не могли, проскрежета-
ли «поздравляем», и все.

Затылок заломило, в ушах застучало: скакануло давление.
Татьяна пошла шарить по карманам, искать капотен. Господи,
счастье какое, какое счастье, господи. Поди скажи теперь, что
молитвы не работают. Татьяна-то с богом всегда умела догово-
риться, надо было только по-хорошему попросить, ну и подмазать
немножечко.

Слава богу, что живой. Что попугал только их с отцом, дуралей, будто помрет, а сам не помер. А ведь у Татьяны было, с самого того дня, как телефон у него заглох, было четкое чувство — живой, найдется.

Он терялся иногда, Сашка, случалось у него: и мелким пропадал, с пацанами в лес ушел когда и с милицией искали, а матка-то уж думала и что маньяк, и что зэки, а он сам к грибникам прибился и сам вернулся. И потом еще на трое суток исчезал, когда поехал в город на дискотеку — и с концами, и там уж даже Виталья запаниковал, а Татьяна чуяла сердцем: найдется. И нашелся — в изоляторе, у ментов, молчаливый, весь в кровоподтеках, но живой. Сказали, бузил, сказали, подрался, пришлось утихомиривать. Ну, подобрали калыма, занесли, выкупили охламона.

Матка-то и тогда все охала, он у ней, конечно, любимчик, сколько она с ним нянькалась, за Татьяной-то, поди, столько не ходила, с первого года в ясли записала. Ну вот и Татьяна с ним, с Сашкой, так — работать-то кто за нее будет, декрет на птицефабрике — один смех, хорошо хоть, матка на пенсию собралась. А как по Татьяне, так ничего с ним там страшного не случилось, хоть шляться поменьше стал, на работу устроился. Виталья-то вразумить его не мог, ну хоть милиция мозги вправила, а то все дискотеки да дискотеки, а мамка денег подай.

И вот сейчас то же самое: ах, Санечка, ох, Санечка, а на Татьяну волком зыркает, что сына в армию записала. А и записала, потому что от мужика должна польза быть, мало одного алкаша в семье, этот еще, не дай бог, в отца, одни дискотеки ему. Там еще и не только «ягуары», на дискотеках-то, там еще и спайсы, и соли, и что угодно, с такой-то наследственностью. Окоротили его — и пускай.

И с армией то же самое, поди все лучше, чем болтаться, как говно в проруби, все ж таки армия из пацанов мужиков делает, а ей, Татьяне, дома нужен был мужик, на кого еще опереться, эти вон еще растут два остолопа, обоих обучи, в ту квартиру не

помещались уже, друг у друга на головах, а от жизни-то и осталось всего ничего.

Вот теперь-то она матку и уест, когда Сашка нашелся, да и Виталья, хоть и помалкивал при Татьяне, потому что знал свое место, а про себя все же Татьяну обвинял, ну теперь и Виталья перестанет от нее отворачиваться, перестанет на нее глазами зря битой собаки коситься.

А пусть радуется, Татьяна и сама была очень рада, она и сама будто бы из могилы выкопалась, когда на нее уже глины накидали, выкопалась и задышала свободно. Хорошо было вернуться обратно, туда, где ничего с Сашкой не произошло, хорошо, что он Татьянинного плана на старость не сломал, не принудил их выезжать из новой квартиры, и хорошо, что не надо было теперь Татьяне грызть себя, что отправила сына на смерть.

Капотен подействовал, отлила ртуть от затылка, голова перестала перевешивать и кружиться. И Татьяна ощутила — от того, что бог ей все, что она напортила, отпустил и позволил жить дальше, как жила, — короткое счастье.

Что с ним было делать, она с непривычки не знала.

Поделилась им с Виталей, с младшими. Те все забегали, развеселились. Виталья пиво откупорил, Татьяна разрешила. Тема так вообще — чуть не разревелся. И вот только глядя на него, Татьяна как-то начала понимать, что Саша жив, а что мог вправду умереть. И вот на сдачу от лишнего счастья она решила — не решила даже, а само так сделалось — сказать Ульянке. Пожалела, да, ну и застеснялась, что послала ее делать аборт.

Набрала.

Ульянка подошла скоро.

— Але?

— Ульян! Звоню тебе вот что: Сашка нашелся! — объявила она.

Та молчала. Не сразу отозвалась. Задышала.

— Реально?! Где?!

Голос у нее дрожал.

— Вот только из военкомата звонили. В Москве.

— Ох... Татьян-Николавна... Счастье-то...

Татьяна слушала внимательно: Ульянка звучала сдавленно, взволнованно. Ну ладно.

— Ага! Ну вот.

Что дальше говорить, никто из них не придумал еще. Потикали секунды. Наконец Ульянка спросила:

— Поедете?

— Куда?

— Ну в Москву-то? К нему?

— Я не думала еще. Надо хоть с врачами пока, узнать...

— Ну скажете, если надумаете? Я бы тоже, может, с вами вместе...

Татьяна вздохнула, посомневалась, но все же сверх нормы начисленной ей доброты хватило, чтоб согласиться.

— Скажу.

8.

Поймали, вот что она первое ощутила.

Она шулерила, а ее за руку схватили.

От этого сердце ухнуло, и по телефону Ульяна смогла только что-то невнятное проблеять. Поняла Татьяна, что она уже в курсе про Сашу? Догадалась, что уже умчала в Москву?

Татьяна Николаевна всегда звучала так, будто все ей известно, у нее и интонации были прокурорские и взгляд как у следака. Ульяна у нее всегда была под подозрением, а уж сейчас-то...

Вдох-выдох, вдох-выдох, пошел опять дынный никотин, немного приструнил сердцебиение, дал хоть подумать. Ульяна отмотала у себя в голове разговор с Татьяной на старт, переслушала. Нет, еще не предъявлено ей обвинение, даже в подозреваемые пока не переквалифицировали. Пока что она, вроде, проходила просто как свидетель.

Страх, ладно уж, разжал ей нутро, потрепал ласково, пообещал потом еще вернуться. Теперь другое надавило. Получалось, что Саша с того света вернулся, а матери ничего и не сказал. А значит, Ульяна ей приписала лишнюю подлость и лишнее хитроумие. Тогда выходило, что это Ульяна сама же и спаскудничала, дав Татьяне всего полдня форы, и первая отстрелив в Москву стремглав и втихую.

А на самом-то деле ты ведь и хотела, между прочим, чтобы она не позвонила тебе, сказала одна Ульяна другой; ты и ждала-то

не того, чтобы она набрала тебе, а того, чтобы не набирала. Такое хитрое условие ей выдвинула, чтобы она его выполнить не сумела. Поставила ее на счетчик, чтоб каждая секунда проволоочки, когда ты уже знала, что Саша жив, зачитывалась ей в долг, а тебе в самозащиту. Как будто это она тебе мешок на голову надела, а не ты в это просто поиграть решила.

А она с тобой, если что, не только поделилась радостью, а еще и готова взять в Москву к Саше, одним поездом ехать. Пусть и с твоей подсказки. Ну, кто тут подлее?

Эту вторую Ульяну первая Ульяна быстренько утрамбовала: знаешь, что? Я тоже, если уж прямо так разбираться, не то чтобы совсем уж ни с чего к ней так. Если уже разбираться, причины-то были, и еще какие. Это она меня послала плод выскребать, да еще и по-сучьи так: сама, мол, сообразишь, что делать, не маленькая. Нет уж; было время, когда Ульяна в Сашину мать верила, было время, когда готова была ее полюбить, когда хотела с ней разговаривать и все ей могла рассказать; было да прошло. А теперь нечего. Так что давайте-ка не пиздите: и ты, Татьяна Николаевна, и ты, кто там моим голосом со мной же разговаривает и в моем солнечном сплетении тень наводит. Обоих на хуй.

Встала со скамейки — решительно, как на штурм.

И маршем пошла.

Поцокала мимо худого срочника, которого мать по голове-бобрику гладила, мимо оголтелых инвалидов, которые выстроили свои коляски паровозиком и с гоготом ехали по двору, мимо медсестры, которая их снимала на телефон и сипло подбадривала, мимо курящих врачей с дырами вместо глаз, мимо внешне целых мужиков, которых тут все же для чего-то держали, и мимо людей, у которых головы были бинтами скреплены, чтобы не раскололись. Мимо всего этого муравейника Ульяна шагала королевой.

По памяти нашла и корпус, и этаж, и палату.

Только перед палатой вот опять подзадержалась, притаилась у двери. И случайно подслушала разговор.

— Я вот не понимаю, — говорил Саша, — у меня хуй остался или нет. И не посмотреть никак.

То ли в шутку, то ли нет: звучал растерянно. Или просто, как обычно, сонно?

— Ну что? Посмотреть, что ли, нужно? — отвечал ему кто-то из соседей. — Посмотришь, Леший?

— Да не, не надо, Серый, — прохрипел этот Леший. — Пока мы не проверили, это как кот Шредингера. Он и есть, и его нет одновременно. То есть на пятьдесят процентов он все-таки есть. А вот когда мы его распакуем, тут уже как бы будет без вариантов. Я бы на пятьдесят процентов соглашался на твоём месте. Лучше, чем ни хуя.

— Че за кот? — слабо спросил Саша.

— Да забей. Кот и кот, из физики. Кот в коробке. Типа, ни жив, ни мертв.

— Чисто как я. Хуй Шредера.

Поржали.

— Да ты не ссы, боец! — сказал, видимо, Серый — с голосом, как у детской дудочки. — Если что, мы с товарищами попросим, чтобы тебе чей-нибудь бесхозный пересадили. Вона, глянь в окно! Видишь, из трубы дым валит? Там их знаешь сколько зазря жгут.

Саша тихо хекнул. Потом поинтересовался:

— А если чужой хуй... То за измену будет считаться тогда?

— Не о том думаешь! — назидательно продудел Серый. — Тут главная тема в том, чтобы тебе достался больше, чем до этого был. Тогда ты в выигрыше получаешься.

— Да попроси сразу вон невесту свою в реанимацию сходить, пока теплый там, на вкус себе подобрать.

— И цвет. Тебе-то что, главное, чтобы ей нравилось.

— А это не куколдизм ли будет? — заперхал Леший.

Еще посмеялись. И Ульяна за стенкой тоже улыбнулась. Мальчики шутят. Шутит — значит, еще не собирается умирать. А потом постучала в косяк.

— Тук-тук. Невесту вызывали?

— Ой... — Саша даже порозовел слегка. — А мы тут как раз... Ладно, че, пацаны, покурите пока, может?

Его соседи по палате выковыляли в коридор, конфуз схлынул, и снова стал Саша серого цвета. Но Ульяне он очень улыбался.

— Долго ты так сегодня... Я уже все дела переделал, — пошутил он.

— Ну прости... Я у главврача просто была.

— И что говорит? — Саша поморгал. — Жить буду?

— Будешь, конечно. Говорит, что еще одна операция только, и все. На этой неделе будут делать. Или послезавтра, или после-послезавтра.

— Норм. Операцией больше, операцией меньше, — кивнул он ей. — Пускай там тогда доделывают все до конца. А завтра придешь тогда?

— Приду, конечно! Завтра знаешь, что? — Ульяна губы потянула кверху уголками и услышала, как по коже пробежал ток. — На завтра свадьбу назначили.

— Какую свадьбу? — переспросил Саша.

— Нашу с тобой, — ласково и аккуратно, как будто ожог перебинтовывала, напомнила Ульяна. — Вчера решили же?

— А... — неуверенно подтвердил он.

— Ну вот. Так что я завтра к тебе точно приду! И послезавтра, если пустят. И вообще. Мы же будем с тобой муж и жена.

— Ну да, — он задумался. — Слушай... А это мне приснилось вчера, или ты мне реально сказала, что у нас будет маленький?

— Реально, — сказала Ульяна и опять начала сама понимать, что да, реально. — Нам именно поэтому вот расписаться надо, Саш. Чтобы он родился в браке. Малыш. Понимаешь?

Слово «малыш» показалось ей странным, приторным. Как будто это она ему, лежащему Саше, горькое лекарство в сахарном сиропе с ложки в рот заправляла. Доходит до него, почему переслащено? Он нахмурился.

— Да понимаю я все. Не debil.

Они помолчали — Ульяна все пыталась придумать, куда из этой точки вырулить, а ничего не придумывалось.

— Это хорошо, что мелкий будет, — сам помог ей Саша.

— Правда?

— Ну да. Если че, хоть останется кто-то.

— Саш, ну че ты за бред-то несешь?!

— Не, ну я, в смысле, это... На всякий случай.

Он стал смотреть вниз, на простыню, на свои культы. Ульяне прямо всю душу мазутом перепачкало от его сосредоточенного взгляда на пропавшие ноги. Она все пробовала себя саму убедить, что этот обрубыш человека и есть тот самый Саша, с которым они по набережной гуляли, с которым танцевали в клубе, с которым голыми играли в пьяные догонялки у нее в квартире, на озеро в лес ночью плавать с которым ездили и про которого она думала, что для нормальной жизни он ей вполне сгодится.

Хотелось его утешить, отвлечь, а вместо этого из Ульяны без спросу пальнуло:

— Саш. А зачем ты вообще туда поехал?

Он нехотя оторвался от своих пустышек, губы у него задергались.

— В смысле, зачем контракт подписал?

— Ну да. Ты... Если не хочешь, не надо...

— Да норм.

Он вскинул на нее красные глаза.

— Если че, не из-за бабок.

— Да я разве ж говорила...

— Куда мне столько бабла самому... Мне че...

У нее был свой правильный ответ на этот вопрос, она его держала в себе, сколько могла, не подсказывала Саше, но он думал долго, а ее подмывало все больше, подмывало, потому что та вторая Ульяна, хотя ее и прогнали, никуда не ушла и затыкаться

не собиралась, а канючила все слышнее. И вот первая Ульяна ответила ей — вслух, увесисто, чтобы понадежнее заглушить.

— Тебе-то не надо, я в курсе. Зато матери твоей надо.

Ляпнула и сразу спохватилась: ты зачем ее тут все, была амнезия у человека и была, на черта вот... Нельзя, что ли, было язык за зубами подержать?!

Саша насупился.

— Ну... Нет. Ну да, то есть, родакам-то бабки нужны, конечно, они просили, чтобы для них заработать, на хату на новую... Это да... Это есть.

Он это все трудно и медленно как-то шлепал непослушными губами, и останавливался, чтобы самому себя понять, прежде чем сказать. Ульяна хотела уже прервать его и на другое, повеселей, съехать, но он качал головой — не перебивай, не закончил.

— Это, конечно, круто, столько бабла... Всем хватит. А я... Ну я про другое. Слышь, Ульян... — он покосился на нее. — Ты это... Как, вообще... Ну ты считаешь меня за мужика... Что я во-евал там...

— Ну конечно! Конечно, считаю!

Саша скривился.

— Мне такие сны снятся... Пиздец... Я просыпаюсь и думаю... Хоть бы это просто сны были... А вдруг это я вспоминаю... Что было. Что делали. Не понимаю, сон или это в реале все...

Глаза у него стали совсем красные, заблестели. Ульяна осторожно погладила его по виску, по торчащему из-под бинтов клоку волос.

— Ну ты че!

— Я знаешь зачем подписался?..

Ульяна не мешала ему.

— Я думал... Я там стану... Ну... Другим. Не как я был. Крутым. Думал, вернусь и, короче... Там никто мне уже никогда не скажет... Чморить никто не сможет, сечешь? Ни менты, никто. Потому что если СВО прошел и вернулся... Уже никто ничего пиздеть

про меня не будет. И мне все менты эти будут... Будут передо мной... Ну короче. Что я не просто буду для них своим, а буду их всех еще на хую вертеть. Так вот думал. Глупо, да? Мудак я, Уль? — скрипнул он.

Он улыбнулся во весь рот, два зуба были там выломаны. Потекло у него по щекам. Ульяна заспешила — промокнула.

— Ты че, Сашк... Какой мудак... Ты именно как мужик... Как настоящий.

— Как мудак, — он повел подбородком. — Мудила конченный.

Ульяна только могла его гладить по бинтам, по вихрам, у самой все заложило от обиды за то, что все случилось вот так. Но, видно, перегладила, пережала — он поморщился, айкнул.

— Слуш... Кстати, — шмыгнул носом он. — А ты мамы не помнишь моей номер? Я че-то не могу вспомнить. Надо же ей сказать, что я тут. Она, может, ищет меня?

— Да она знает, что ты живой! — заторопилась Ульяна. — Ей сказали. Она тебе позвонит скоро.

— А как она мне позвонит? Куда?

— Ну вот куда я звоню.

— Лешему на мобилу? А как она номер-то узнает?

Выветривались его укольчики, трезвел Сашка.

— Ну или в отделение. Да она стопудово тебе скоро наберет, Саш.

— Точно наберет? Я поговорить с ней хочу.

— Точно.

— У тебя нету ее номера, что ли?

По загровку Ульяну погладили холодной рукой, подшерсток аж дыбом встал. Побоялась приставать к нему с вопросами, о чем будет с матерью разговор. Мысли слиплись. Крутить Сашкой было муторно и паскудно, но та же вот холодная рука взяла ее, как нашкодившую кошку, за шкурку, и встряхнула: выпутывайся давай!

— У меня телефон просто разрядился, — соврала она.

— А... — растерялся он. — Ну ладно. Ну ты, как зарядишь, попросишь ее набрать?

— Попрошу, конечно.

В дверях нарисовались эти двое его друзей-шутников, безрукий Леший и одноглазый Серый: проверить обстановку.

— Ну что, хозяйка? Обратно можно? Мы уже покурили.

— Подождите еще, пацаны.

Пошли обратно в коридор слоняться. Саша выпростал руку из-под простыни, нашарил Ульянины пальцы, слабо сжал их. У него ладонь была холодная и влажная, он рассчитывал, видно, что от Ульяны ему немного тепла перетечет. Это было не как мужчина женскую руку берет, чтобы вести ее за собой, а как ребенок свою ручонку тянет, чтобы не потеряться.

Ульяна тоже сжала его ладонь своими пальцами — да вот же я, держу тебя, не отпускаю. Я тут. И стало так от самой себя противно, что обманывает несмышлениша, что решила признаться.

— Саш. Я... Короче, ситуация такая. Я тебе скажу ее телефон, матери твоей, окей? Он не разрядился у меня, это я так... Спизднула, сорьки.

Саша удивился.

— Зачем?

— Блин. Ну как тебе... Ну потому что она же не хочет, чтобы мы поженились с тобой. Тогда не разрешила же, помнишь? В тот раз. И я... А я могу тебя попросить кое о чем? Я тебе номер ее скажу, только ты... Только не пали ей, плиз, что я тут, окей?

Он чуть подался от нее — чтобы она вся у него в фокус попала. Насупился. А пальцы у него обмякли, как будто сухожилия в них перерезали.

Пока он ее просьбу переваривал, Ульяна запоздало придумала, как это лучше было бы все ему подать. Надо бы было не сразу все ему вываливать, а на паузу поставить этот разговор и отлучиться на УЗИ, все равно же УЗИ делать к завтра, без него никак не распишут. И вот уже со снимком в руках и надо было бы этот

разговор начинать, с первой фоткой их малыша. Положить УЗИ на весы, на свою чашу, оно точно серьезно так весить должно. Но уже провафлила, неумеха. И у самой тут же вспотели ладони — и от собственной глупости, и от собственной хитрости. Ладно, придется так.

— Не скажешь?

— А как я?

— Ну так. Давай мы с тобой сначала распишемся завтра, тогда и остальное уже... Ну. А пока пусть секрет. Секретик.

Скулы свело. И моторчик забарахлил в груди. Секретик, сука. Куда-то уже несет ее, как бобслейный снаряд на скорости в сто километров в час; куда несет, не видно, и из колеи не выскочить.

— А если я ей не скажу, что ты приехала, тогда можно с ней поговорить? — спросил разрешения Саша.

— Ну конечно.

Замаячило опять сбоку что-то — это одноглазый Серый стоял в проходе, глумливо лыбился, изучал Ульяну как-то брезгливо и опасно, как будто босой ногой в траве чуть на змейку не наступил, вовремя заметил.

— Наберешь ей тогда? Если телефон не сел.

— Ну как... Она тогда поймет же, что я приехала, — Ульяна опять взяла маленького Сашу за руку. — Я просто номер скажу вот этому... Лешему, да? И он уже сам наберет. Мне все равно к врачу надо, на ультразвук... Я пойду, а ты позвонишь как раз. Ладно?

Согласился.

Ульяна достала мобильный и поднялась. Серый мигнул единственным глазом, посторонился. Леший за дверью околачивался, надрачивал какую-то придурочную игру в телефоне.

— Ребят, — попросила их Ульяна. — Я вам номер его мамы дам, пускай позвонит, окей?

— Окей.

— Спасибо вам. И спасибо, что поддерживаете его.

— Да пожалуйста.

Сколько они там в коридоре проторчали, пока Ульяна с Сашей жизнь и смерть обсуждали? Сколько успели подслушать?

Многое, видимо. Поэтому и глядели на нее так.

А когда Ульяна, уже расцеловав Сашу на прощанье, зацокала по коридору на выход, в спину ей шмальнули жестоко:

— Черная невеста, бя.

Она притворилась, что не услышала.

За забором госпиталя была вообще какая-то другая жизнь, от которой Ульяна за эти часы успела отвыкнуть. Там люди так себя вели, будто смерть не работает, будто нигде не идет никакой войны. Ну, торчал неприкаянно один билборд про СВО посреди шоссе, но никто его не замечал. За забором у всех были какие-то свои планы на теплый синий летний вечер, какие-то другие маршруты, какие-то сложные траектории — вокруг огромной военной больницы, не касаясь ее. Странно это все смотрелось. Дико.

Ульяна побрела по одинцовским улицам, прямым, как маршевые плацы, уставленным шеренгами подбеленных деревьев. Могла бы до гинекологии автобусом, но захотелось пройтись: надо было отдышаться.

Всплытие медленно проходило. Сначала шум машин вернулся, потом голоса, потом ветер подул, пошевелил ей волосы. Но только когда ее чуть не сбили на переходе, загудели и обматерили, тогда только с глубины вынырнула.

Опять огляделась — и зацепилась, как после кораблекрушения полуутопшие цепляются за любые обломки, — за плакат на балконе дома напротив: «Продается квартира». Сфоткала на телефон себе и балкон, и объявление. Дальше погребла уже, держась за него, чтобы обратно на дно не пойти.

На секунду остановилась, пальчиками раздвинула объявление, приблизила — там циферки: восемь миллионов рублей, тридцать метров, студия. Ох. Восемь мультов! Восемь-то откуда взять, откуда вообще люди такие деньжищи берут? Москву даже лучше и не

смотреть, наверное, на предмет покупки, чтобы не расстраиваться, в Москве не хватит примерно ни на что, Москва не для нищесбродов. Но в Одинцове вот... Ну а если, допустим, ипотека, чисто теоретически, то с ипотекой получилось бы? Одинцово же почти что Москва, на автобусе чики-брык, и вот она уже перед тобой, первозданная, или как там говорят... В Москве и администратор массажи, небось, сотку в месяц минимум стрижет, вообще другая экономика. То есть работать можно было бы в Москве, а жить себе бюджетненько, за МКАДом... Жить за МКАДом, а тусить в Москве, и ко всем московским беспредельным возможностям добираться автобусом всего за семьдесят пять рублей, всего за полчаса. У Золушки вот какие были бы шансы, если бы она проживала в Вологде или, блядь, в Сыктывкаре каком-нибудь, когда до ближайшего дворца поездом восемь часов, или сколько там? Не наездишься, короче. В общем, с ходу не стоит отметать Одинцово, иногда фантастика становится реальностью, и уж мечтать-то об однушке в Московской области точно было в сто раз уютней, чем о двушке во Фрязиново.

Так доплыла до гинеколога.

Та клиника, куда ей с ходу дали записаться, располагалась в одноэтажной колбасе под черепичной крышей, стены стеклопакетные, по стеклу — перечень услуг краской. Про аборты в списке не было. Постеснялись, что ли, написать?

Зашла, назвалась, зарегистрировалась, села в очередь.

Такой сегодня день: по врачам. Опять за диагнозом, опять за приговором.

Это она, что ли, его увидит сейчас?

Как он вообще на таком сроке выглядит?

Есть там что смотреть-то?

Готова Ульяна к этой встрече вообще?

Вот покажут ей сейчас ребенка, выдадут справку, что он точно есть, поставят на учет, и тут уж от этой реальности будет не отвертеться. А может, еще не поздно сбежать? Выключить телефон

и пропасть, и прикинуться, что этого ничего не было? Вернуться просто в свою старую никчемную жизнь, где зато не надо никаких решений принимать и никого душить не нужно?

А там некуда возвращаться-то уже, напомнила она себе.

Там все уже закрыто и опечатано.

— Царева, — выглянула из кабинета узистка.

И полетел Ульянин бобслейный снаряд по ледяной колее еще быстрее. Аж в пот бросило.

— Низ приспускаем, топ задираем, ложимся. Срок знаете?

— Ну так.

Намазали ей живот холодным липким гелем, загорелся в полутьме кабинета черно-белый монитор. Узистка была в возрасте и, судя по лицу, не сука, можно сказать, что даже благожелательная. Стала ездить датчиком вверх-вниз, вправо-влево, щекотать Ульяну.

— Одиннадцать недель у вас срок, девушка. Развитие нормальное. Так... сорок семь миллиметров кэ-тэ-эр. Вот головка, вот ручки. Пальчики разделились уже. Давайте покажу.

Она развернула мерцающий монитор, Ульяна не успела даже сообразить, что ей ответить — и вот оно, плавает нечто, пульсирует серыми пикселями, хлюпает, расходится эхом по мягким тканям, устроилось в ней... Как опухоль.

— Да где тут голова-то?

— А вот. Ну вот же.

Ну, может быть. Если сильно приглядеться...

— Вот эта вот фасолинка?

— Да там у вас не фасолинка уже, там со сливу размером уже человек. Вот такой.

— А это... Мальчик или девочка?

— Ну пока трудно определить. Повторное вам назначим на четырнадцатую неделю, придете, там уже ясно будет.

Четырнадцатая неделя... Как она вообще могла так далеко в будущее заглядывать? Что с миром-то вообще будет на четырнадцатой неделе? Может, все схлопнется уже.

— Ну что вы? Не рады?

— Почему.

— Это у вас запланированная беременность?

— Да... Не очень. Все? Справку сделаете?

Узистка поправила очки, вздохнула. Потом потянулась к кожаной сумке, которая висела у нее на спинке стула.

— Погодите, фокус вам покажу один.

Пошарила у себя в сумке, достала что-то, пошуршала бумажкой.

— Угощайтесь.

— Это что?

— Шоколадная конфета.

Ульяна подобралась прямо вся, чуть не села.

— Почему?

— Ну съешьте, не бойтесь. Не отравленная.

Как она узнала, что Ульяне сладкого хочется? Это было странно, но Ульяна согласилась, приняла из рук узистки шоколадку, сунула в рот... И в первый раз за день захотелось жить. Растеклось сладкое блаженство. Почему нельзя поверить в то, что в мире просто добрые люди есть, бескорыстные?

— Спасибо, — прошамкала она, зубы от карамели слиплись.

— О! А вот и фокус, — улыбнулась ей врачиха. — Да вот же, на монитор смотрите, на плод.

Он задержался, забарахтался. Он больше не тупо парил в невесомости, не плыл в космическом пространстве, а сам двигался. Точно жил.

— Это что? Это почему? — испуганно спросила Ульяна.

— Танцует. Конфете радуется.

Ехала обратно в город и изучала снимок: посмотрит, уберет; посидит, снова достанет, опять посмотрит. Если не знать, что на

этой черной бумажке искать, то ничего и не увидишь. Так, клякса. А когда знаешь, что это, то развидеть уже не получится.

Сашин сын. Человек-слива.

Эти деньги вот — они же для него будут деньги. Чтобы он мог вырасти на них. Без денег дети расти не могут. А что Ульяна сейчас сама, одна заработает?

Вдруг ей взбрело: а что, если завтра она на церемонию явится в фате? Пускай в самой дешманской, синтетической, но обязательно в белой невестинской фате. Вот по приколу чисто. Чтоб эти ушлепки, однорукий с одноглазым, подавились. Черная невеста, бля. Сами глазают на нее, и сами же еще пиздеть что-то тут будут.

Стала, пока в автобусе ехала, искать «Фата невесты Москва с доставкой недорого». На «Али-Экспрессе» можно было за триста пятьдесят рублей самую тупую взять, на «Авито» за двести бэушную, для девичников. На Ленинском проспекте был «Дом невесты» пафосный какой-то: там прайсы начинались от трех штук. А подвенечные платья — вообще от пятидесяти.

За полтинник это совсем какое-то базовое и уже со скидкой семьдесят процентов. Атласное минималистическое. За восемьдесят можно было с кружевными рукавами похожее — красивое, кстати. Ульяне бы такое пошло, в принципе. Интересно, можно заехать примерить? Жалко, денег на карте двадцать девять тысяч осталось, меньше. Так что не хера и душу беречь.

Клик — а там еще... За двести двадцать тысяч длинное пышное платье из французского кружева, форма колоколом, написано почему-то «из арабской коллекции». Еще тридцатку накинешь — и вообще царевна, «Кружевное свадебное с болеро Лилибет», хер знает, что это все значило, но смотрелось потрясно... Модель, куколка такая фарфоровая, стояла на террасе итальянской виллы на берегу озера, смотрела на фотографа томно. Бывают же у кого-то такие свадьбы, подумала Ульяна. Там, наверное, и жених соответствующий, на какой-нибудь «феррари». Но такое на Ульянке с ее плечищами не очень бы, наверное, сидело — только гостей

итальянских зря смешить. Вот было попроще еще — сто семьдесят пять тысяч, «Кружевное корсетное свадебное платье рыбка Анжелина», кстати уже с фатой до пола. Но кто за Ульяной будет эту фату нести? Тут или паж нужен, или подружка невесты хотя бы, ну или мама. А Ульянины подружки все в Вологде остались, сама давай выгребай. Маме надо, кстати, набрать, доложить. Ой, ну если уже за сто семьдесят брать, то вот еще шикарнее есть — «Кружевное корсетное свадебное платье Русалка Анжелина люкс», бабки те же, а элегантность икс-два.

Мечтай-мечтай, дура.

Потом заметила ссылку в углу, что можно, оказывается, в аренду брать, и стала уже всерьез рассуждать: а что, реально, выложить десятку, зато вплыть туда как лебедь, пускай все охуеют. Это же свадьба ее, настоящая, первая в жизни, между прочим. Что она, не достойна, что ли, такого? И фотки еще будут зачетные, внукам показывать.

А потом стала прикидывать — дорого десятка. На десятку можно даже и в Москве еще неделю прожить, если ужаться... Вау, а это что за триста шестьдесят пять тыщ за роскошество за такое? «Пышное свадебное платье из шелковой тафты с глиттером Дианита». Это для свадьбы с принцем Гарри с каким-нибудь? Да уж, если для внуков фотографироваться, то только в таком, нечего размениваться.

Очнулась на конечной уже.

Пока шла к метро, списалась с какой-то теткой с «Авито», договорилась за сто пятьдесят подъехать забрать ту бэушную фату для девичников. Ну, б. у. и б. у., кто узнает-то. Чисто по приколу же все равно, Саше чтобы поржать.

• • •

День был нудный и тянулся трудно, как медицинский жгут; Максим перекладывал с места на места бумажки на столе, смот-

рел тупо и отчаянно в столбцы «Экселя», но ацетальдегид, сука, мешал. Подмывало пойти взять пива и покончить уже с необязательными страданиями, но человек опохмеляющийся стоял в Максимовой табели о рангах куда ниже человека, с достоинством переносящего тяготы похмелья. Он в этой табели располагался где-то ближе к советского пошиба дворовым алкоголикам, ниже которых находились уже одни только бомжи. Поэтому Максим терпел. Надо было еще за руль потом к тому же: сегодня договаривались с Мариной, что он ее с работы заберет. Ужина нужно было дожидаться.

Терпел и вздрагивал каждый раз, когда хлопала входная дверь магазина. Затаивался и прислушивался: кто пришел? По интонациям, по вибрациям пытался определить, что за посетитель.

Ждал возмездия за свою давешнюю дерзость, за свою борзость. Сейчас, в отравлении, особенно тревожно ему было — потому что он слишком хорошо был знаком с паскудной природой этих народных мстителей, для которых весь энергообмен между людьми сводился к унижению одних другими, и униженный должен был непременно за свое унижение расквитаться, иначе оно на нем оставалось пожизненно клеймом. Тюремная культура.

И вдруг в один из этих раз дверь грохнула как-то совсем уж зло, а гость забасил по-ментовски строго, Максим, не выдержав, подкрался к запертой двери своего кабинета и прильнул ухом к дверному полотну: не за ним ли? В этот момент на него и накатило воспоминание. Проявилось все, что снилось ночью.

Херня приснилась совершенная. Что вот: они с Мариной ждут в квартире у себя прокурорского визита. Во дворе стоит черный воронок, совсем анахроничный, но уже как будто бы и нет, и из него люди в форме заходят в подъезд, и сейчас начнут подниматься к ним на этаж — в том, что идут именно к Марине с Максимом, никаких сомнений, хотя никто им снизу не звонил и ни о чем не предупреждал. И надо, в общем, скорее все книги, которые могут показаться проверяющим неблагонадежными, куда-нибудь

убрать, спрятать, выбросить. И вот Максим с Мариной бросаются к книжным полкам, а там всякой ереси с избытком — и Акунин злополучный, и Лимонов, и Навального автобиография, и разной эмигрантской прозы, и еще, и еще. И вот они начинают это с полок сгребать, в коробки какие-то сваливать, коробки запихивать под кровать, на антресоли, а в дверь уже кулаками молотят: откройте! Марина оглядывается на него в панике: еще же в Кирюшиной комнате не разбирали ничего, а там авгиевы конюшни, мы с ходу ничего и не найдем! Задержи их! И Максим бежит к двери — переговариваться, тянуть время, начинает умолять, а ему оттуда командуют быстро открывать, почему-то женским голосом, но таким жестяным, механическим и безапелляционным. Он пытается какую-то ересь наплести им, говорит, что они такие же люди, как и все обычные люди, отчего к ним вдруг такое внимание, погодите, ключ ищем, а ему отвечают из-за двери: хватит чушь пороть, вы думаете, я вас не знаю, что ли? Обычные они люди! Как же! И он понимает, что это Ульянин голос. И тут слышит, как снаружи заводится болгарка, циркулярная пила, и как врезается она в то самое место, куда он ухом приложился.

• • •

Окна не горели, но теперь у Ульяны свой ключ был, от Кирилла.

Забралась к ним в пустую квартиру, разулась при входе. Зашла в санузел, потрогала ванну — просторную, вдвоем можно влезть. Имеет она право в ней искупаться? Постеснялась-постеснялась, а потом вспомнила утренний разговор с дядей Максимом и начала набирать себе горячую воду, ибо нехуй; еще и дверь не стала запирасть.

Лежала в ванной, в пене. Отмокала. Хотелось, чтобы корка размякла немного. Чуть не уснула в теплой воде, сама стала как эмбрион. Хозяева все не шли и не шли, ванна остыла уже.

Пришла в голову озорная мысль, взяла телефон. Сделала, выбралась, вытерлась, нацепила чей-то халат, пошлепала на кухню, заварила себе чай. Потом набрала Саше на чужой телефон.

— Ну ты как?

— Я хорошо, — мечтательно протянул он, она сразу морфиновые нотки узнала.

— И я хорошо. Сейчас ванну принимала, пофоткалась для тебя голенькой. Я бы отправила, но эти лешие твои, не хочу. Завтра покажу.

— Лады.

Не зажегся как-то. Подумала: а ему это еще не все равно? Или просто препаратами прибило?

— Слуш... Ну ты с мамой-то поговорил? Получилось?

— Поговорил.

— Ну и че она рассказывает?

— Ну что гордится. Типа, рада, что живой. Что искали, в военкомат ходили. Волновались.

— А когда она собирается, не сказала? К тебе.

— Сказала, скоро приедет. Я сказал, чтоб поскорее.

— А это... Про меня было че-то?

— Ну... Я, как ты просила. Типа, звонила только. Правильно?

— Правильно. Я завтра к тебе с сюрпризом. Завтра же большой день у нас, помнишь?

— Я помню. Ладно, Ульк, тут Лешему мобилу надо, своей звонить.

— Ну ладно. Я тебя люблю, если че.

— Я тебя тож. Спокночи.

Этот один разговор все тепло снова из нее вытянул, которое она в ванной набрала. Даже чай грел фигово.

Двинула Ульяна обратно в ванную, откупорила красный вонючий лак, стала рисовать себе красивые ноготочки к завтрашнему событию. Ровно получилось, надо было только посушить теперь.

Поплыла тогда в чужом махровом халате в чужую гостиную, включила их огромный телевизор. Принялась щелкать каналы, чтобы нащупать среди этого балагана что-нибудь по душе. Песни и пляски бесили, в фильм с середины ломало вникать, послушала Малахова, но история была какая-то слишком скучная. Тогда нащелкала себе другое ток-шоу, про Украину. Зацепилась за него, потому что там с полуслова, с пол-оборота было как будто спецом для нее:

— Мы там, потому что мы не может не быть там. Потому что это наш долг. Потому что мы там с фашизмом сражаемся, с нацизмом. Это, кроме шуток, мировое зло, — говорил обритый наголо человек в военной форме с синей пластмассовой трибуны. — Они сейчас вам как угодно это все будут вывертывать наизнанку, но я-то там был, и я знаю: если бы мы не зашли, они бы уже все тут были. Сначала бандеровцы Донбасс бы забрали, и там были бы рвы трупами забиты тех, кто по-русски говорит, а потом и еще дальше! Это же просто наконецник копья, Украина, который в самое сердце России направлен! Наш президент правильно сказал: нет Украины, есть проект «Анти-Россия», и он сделан западными кураторами, чтобы нашу страну разложить! Разложить и разрушить! Чтобы получить наши ресурсы! Мы да, мы на Украине воюем, но мы воюем там, чтобы у себя на территории не воевать!

Телевизор был огромный, полтора метра в диагонали, и спикеры в синей с красным студии, когда камера наводилась на них, казались настоящими гигантами. В кружок стояли трибуны, за каждой — по оратору. Между ними расхаживал, предоставляя слово то одному, то другому, ведущий в строгом костюме и роговых очках. Вида он был, между прочим, не менее интеллигентного, чем дядя Максим, а то еще и фору ему дал бы.

— Ну как же! Как на чужой территории? Вам скажут: «А Курск?» — урезонил вояку ведущий.

— Вот именно! А кого они послали в Курск? Русских нацистов-наемников, РДК, вырождаков, национал-предателей! Это что доказывает? Это доказывает, что мы там не с украинцами сражаемся, а с мировым нацистским интернационалом, который свою хунту в Киеве посадил!

Какой-то горячий зуд, зудящая энергия передалась оттуда Ульяне, выплеснулась из ящика и омыла ее, оживила ее обратно. Это было хорошо, оказывается, слушать; там такие слова говорили, которые Ульяне стали после госпиталя полезны. Они были как бинты, как костыли, как обезбол. Как сто грамм залпом. Чтобы не было, Ульяне надо было глобально понять: зачем; и эти ответы ей сейчас как раз были в тему. Зачем и Сашка, зачем и она сама.

— А что — Курск? — поддержал его багровый мужичина с бычьей шеей в лопающемся вороте. — Курск — это изначально часть плана была! Просто мы превентивный удар им — раз! СВО! А все силы у них скоплены были на границе! Если бы мы так в Великую Отечественную успели бы, если бы не предательство в рядах командования и разведки, которые Иосифа Виссарионовича ввели в заблуждение, то сейчас был бы СССР от Владивостока до Лиссабона! А на этот раз сработали четко, смогли.

— Ну некоторые возразят... Скажут, первый год специальной военной операции дался непросто...

— Да пусть эти некоторые знают что... Мы за первый год забрали... Освободили! Сколько? На максимуме было сто шестьдесят три тысячи квадратных километров! Это как Болгария! Вот уважаемый Емельян Григорьевич тут уже обозначил, но я еще разок подчеркну — мы не с ВСУ там сражаемся, были бы там одни боевики, всех бы уж всмятку в первый же месяц, и была бы Украина наша, а это там и Англия, и Германия, и наши заокеанские партнеры, как Владимир Владимирович их называет...

— Мы с чего начали? С того, что вы задали вопрос, — перебил его военный, обращаясь к ведущему. — Могло ли все быть иначе. Я говорю вам четко и однозначно: нет, не могло. Президент

принял единственно верное решение. История России сослагательного наклонения не знает. И за себя еще скажу: иначе быть не могло. Не! Мо! Ло! Потому что любой человек, мужчина, который себя считает патриотом, он должен был все бросить и поехать защищать наших людей на Донбассе! Русских людей... Восемь лет мы это терпели, пока они там наших детей убивали, но больше такое было терпеть нельзя!

В коридоре зашуршало, зазвучали голоса: хозяева вернулись. Ульяна нашарила пульт, думала переключить на что-нибудь другое, но поймала себя — это же слабость, это же трусость. Если уже сидишь и смотришь, то сиди и смотри. Ну да, ну ток-шоу, чего тут ерзать, чего лебезить. Пока дома никого не было, никому и не мешало, включила, что нравится.

В проеме возник дядя Максим — уже разутый, но еще в верхней одежде.

— А что это тут у нас происходит?

Пока что просто удивился. Подожди, дядь Макс.

— Ой. Добрый вечер. Ничего не происходит. Телек просто зырю. Нельзя?

— Мы же только сегодня утром, вроде бы, поднимали с тобой эту тему. Столько существует нормальных источников информации, а ты включаешь себе эту помойку...

За спиной у него проскользнула в кухню тетя Марина, ручкой махнула, не пожелала ввязываться.

— Че помойка-то сразу?

— Потому что ахинею несут! Какие-то фашисты, что-то захватили... И везде это, из всех утюгов...

— А что, не фашисты, что ли? — невозмутимо ответила ему Ульяна. — По Киеву вон с факелами ночные шествия — не было? Было. Это кто врет-то, значит?

— Ладно, — он перевел дух. — Давай я по-другому сформулирую: мне не хотелось бы, чтобы в моем доме вот это вот вещало. Выключи, пожалуйста.

— Да пожалуйста.

Ульяна тыкнула пультом, телевизор почернел. Твой дом, твои правила. Но пружина внутри закрутилась, спиральная, один конец острый. С кресла встать не стала, свернулась там, как говорящая гремучая змея на теплом камушке. Не трогай меня лучше, Иванушка, а не то огребешь с лету волшебных пиздюлей.

А дядя Максим не уходил, что-то ему там еще свербело довыступить.

— А про фашистов... Знаешь такую старую советскую песню? «Двадцать второго июня, ровно в четыре часа... Киев бомбили, нам объявили, что началась война...» Знаешь, про кого?

— Ну и про кого?

— Про фашистов, про Гитлера так. Фашисты в сорок первом начали Великую Отечественную с того, что Киев бомбили ночью. А сейчас вот мы то же самое с ними. С украинцами. Двадцать четвертого февраля двадцать второго. Киев бомбили. И тоже в четыре утра. Без причин. Рассказывают об этом на гребаном твоём агитпоезде? Это мы тут фашисты, Ульяночка. Мы!

— Ну вы-то может... — парировала она. — А мы нет.

— Отлично! — засмеялся он. — Превосходно!

— А они что, не бомбили первые? Донбасс они не бомбили?

А вот тут дядя Максим взбеленился.

— Что такое «бомбили»?! Ты вообще понимаешь, где этот Донбасс? Это украинская земля, мы ее у них захватили, а они пытались ее себе вернуть! А знаешь, зачем мы ее захватили? Чтобы они про Крым забыли! Который мы до этого тоже у них оттяпали!

— Ничего мы не тяпали, — спокойно ответила Ульяна. — Гонево какое-то. Почему никто этого не говорит, кроме вас?

— Почему? Вот ты действительно сейчас... Да потому что, если ты это вслух скажешь, на тебя кто-нибудь донос в ФСБ сразу черкнет и притянут по дискредитации или по фейкам! Как у Довлатова, знаешь? Кто-то же написал эти четыре миллиона доносов... Чему тут удивляться...

— А может, гнать не надо на свою страну просто, и нормально все будет?

— Так, все! Брейк! Брейк! Давайте, о политике не надо? Не будем же мы из-за этого ссориться, — голубем мира впорхнула в гостиную тетя Марина. — Ульяш, ты посуши пока голову и приходи ко мне на кухню, поможешь немного, не против? Максик, а ты сходи за бутылочкой игристого, а то у нас легкое все кончилось. И минут через сорок будем ужинать садиться.

9.

Высушила голову, расчесалась, надела розовый домашний костюм. Образ «послушная девочка». Пришла в кухню к тете Марине, как сказали.

— Что помочь?

— Вот рыбку положи на противень и маслом оливковым сверху ее. Будем запекать сейчас, духовка нагрелась уже.

— А чего их три штуки только? Кирилл не будет?

— Да он позвонил, что в бар с друзьями опять. Лето, сама знаешь, дело молодое.

— Да уж знаем.

Ульяна промассировала окуней маслом и лимончик еще сверху выжала. Тетя Марина открыла духовку — пыхнуло двухсотградусным жаром — и руками в стеганых рукавицах задвинула противень внутрь.

— Ну вот. Двадцать минут теперь засекаем.

— А еще что поделать?

— Да ничего пока. Рис вот доварится, снимем. Ну ты присядь. Тебе, может, плеснуть коньячку?

— Да не, я не буду. Спасибо.

Тетя Марина кивнула доброжелательно: мол, неволить не буду. Присела на край стула, дотронулась до Ульяниных пальцев. Та от неожиданности подтянула пальцы в кулак.

— Как Саша?

Так она это с ней ласково, обволакивающе. Ульяна чиркнула по ней взглядом, считала: да это не ласка, наверное, а осторожность. Это тетя Марина ее стегаными рукавицами брала, потому что от Ульяны тоже на двести градусов жар пыхал.

— Не очень Саша. Ну, он-то хорохорится, то есть... Но такое.

— Это все так ужасно... — тетя Марина покачала головой.

Голос у нее был вообще глубокий, приятный — а тут скрипнул, как колодезный ворот. Играет? Нет, с этим играть совсем уж было бы. Странно.

— Я тебя хочу попросить... Ты не злился на Макса, что он так. Ты ему нравишься, вообще-то.

Ага, конечно.

Тетя Марина погладила ее еще раз — по тыльной стороне ладони, как будто приручая какую-нибудь лесную зверушку. Теперь Ульяна не стала дергаться: ждала, что будет дальше.

— Окей.

— Это самое тяжелое, знаешь? Такое время сейчас нервное.

— Да уж, — согласилась Ульяна. — Не поспоришь.

— Ты точно не хочешь по рюмашечке хлопнуть? Пока он ходит? — тетя посмотрела на Ульяну ищуще, почти жалобно.

— Точно. Но вы пейте, тетя Марин.

— Да мне нельзя. Если бы с тобой, я бы исключение сделала, а так... Ладно.

— А чего нельзя? — спросила Ульяна.

— Да... С антидепрессантами плохо, — тетя Марина улыбнулась. — Побочки там могут всякие.

— А.

Стала понятна и обмяклость тетина, и надломленность, и скрип в голосе; и за то, что тетя Марина ей призналась, Ульяна смягчилась, ослабила пружину.

— Я мысль хотела досказать... Время нервное, а главное... Главное, что не мы в этом виноваты, понимаешь? Мы тут все заложники. Ты по-своему, я по-своему, Максик... А виновата такая

сила, перед которой мы просто пух, ничто. Микробы. И вот мы злимся-то не друг на друга на самом деле, а на нее. Но с ней-то ничего не сделаешь, и даже сказать боязно. И от того, что боязно, нам еще хуже. И мы вот друг на друга... Собак спускаем. На семью, на друзей. На своих-то можно срываться, на своих не страшно. Да? А то, что так можно последних близких людей потерять... Не думает никто. А если родных, друзей просто вот так в споре... От себя оттолкнешь? В такое время, тем более. Уж хуже ничего не придумаешь. Чем одному остаться.

Ульяна кивнула: ну. Само собой кивнулось.

К теть Марине у нее претензий, в принципе, было ноль. Та к ней каждый из полутора раз, которые племянницу за всю жизнь видела, была по-доброму. Она, видимо, маму Иру любила, сестры же, хоть и двоюродные, и вот по материнской линии перепало этой любви и Ульянке.

— Я это Максу все пытаюсь донести. Но он такой, знаешь... В танке.

— Я и вижу, — хмыкнула Ульяна; на секунду расслабилась и положила на живот руку.

— Ты не беременна, случайно? — вдруг спросила у нее тетя Марина.

Врасплох застала, попала в мякотку. Ульяна ойкнула, съежилась, губы хотела загнуть вверх уголками, а они загнулись вниз.

Тетя Марина без слов поняла, придвинулась к ней и обняла.

— А кому же он за игристым тогда пошел? — прошептала она.

Ульяна только пожала плечами. Тетя Марина подержала еще чуть-чуть и отпустила ее. Вдохнула — выдохнула. Щелкнула духовка.

— А вот тебе — неужели не страшно?

— Да че тут, — сказала Ульяна.

• • •

Как matka узнала, что Сашка теперь без ног, — так и все.

— Я ему звоню, слышишь, это самое, Саш, радость какая, на-шелся. А он мне: мам, ты только не ругайсь, это самое, мне ведь ноги отрезали. Я говорю, как это, отрезали? А вот, одну по колено, а другую-то по жопу почти по самую. Гангрена была, говорит. Док-тор не разрешил оставить.

— Ой, горе какое... Горе... Санечка мой... Мой Санечка... Ох... Ох...

— Да не вой ты уж так-то. Живой ведь, главное дело. Вчера еще думали, что помер, а сегодня уже живой.

— Ах ты Саня-Санечка!

— Мам! Я тебя попросила!

— Ну ладно... Ну ладно... Ох...

— Будешь выть так, еще опять сердце схватит. Не вой, го-ворю тебе.

— Дак это ведь как?

— Я ж не вою!

— Дак ты, Танька, вон какая. У тебя шкура-то какая толстая. Тебе-то что будет.

— Все, мам! Иди выпей валокордину, и все!

Такой вот разговор состоялся. Повесила Татьяна трубку, поси-дела в тишине. Была обида на мать за слова про толстую шкуру. Нечестно это было ей сейчас говорить.

А сама Татьяна, как про Сашку с его ногами узнала, поняла одно: теперь не будет, как хочется, а будет, как надо. Вот, надо было ехать в Москву. Надо было с сыном сидеть. Надо было его вытаскивать. Всю жизнь оставшуюся теперь чего-то надо будет.

Спросила Светку поискать про выплаты. Это ведь, если без ног, инвалидность получается, и сразу первой группы. Потеря трудоспособности. Светка рыла-рыла, нарыла в телефоне своем, что бывают президентские выплаты по тяжелому ранению на три

миллиона, за инвалидность еще миллион, и потом если со службы увольняться, то еще чуть не три. Когда этих миллионов навалило, хоть они были и воображаемые, Татьяну отпустило сразу. Другое дело. Тут и ипотеку закрыть хватало, и оставалось еще. Больше получалось, чем если б Сашка три года служил.

Выпила сама валокордину, стала звонить Ульяновке. Надо, раз обещала. Была мысль — поехать самой, не терпеть Ульяновку в поезде в одном купе с собой рядом, но уж ладно. Это вот и еще одно: лучше ее было держать при себе, когда она пойдет к Сашке. А то, неровен час, соберется еще скулить ему, дескать, мать ее аборт убеждала сделать, а Сашка впечатлительный. Рассорит еще, не дай бог, их с Сашкой. А он вона, раненый, надо ему это? Нет, пока поедут в купе, могут по-женски все позакрывать, помириться.

А может, она и сделала аборт уже?

Сначала хотелось, чтобы уже сделала. Чтобы отвязалась от них Ульяновка, не зарилась на Сашку, не претендовала. А потом Татьяна вспомнила, что он теперь безногий. Безногому-то нелегко будет найти себе другую невесту. А тут уже, вроде как, решен вопрос. Своя, знакомая. И что женится, пускай, как раз им президентских безногих денег еще столько же насыплют, сколько она от солдатской получки думала выгадать. Будет и им, и ей хватать. Надо только теперь отношения наладить. Взять Ульяновку под уздцы.

Да будет ли она с ним сидеть? Татьяна, как первый раз Ульяновку увидела, как про массажку узнала, сразу поняла — ненадежная. Массажка ли, блядушник ли, невелика разница. Поймешь, какой от щелки легкий заработок, пойдика после этого на птицефабрике потяни лямку, птичьего дерьма понюхай. Небось, не захочешь. Нужна им в дом такая невестка?

А все же...

Ну, пускай как будет, так и будет.

В трубке все пищало и пищало длинными, по-комариному, Татьяна уже плюнуть хотела, пока Ульянка наконец очухалась.

— Да, Татьян-Николавна. Добрый вечер.

— Долго ты! Не отвлекаю?

— Нет-нет. Как вы? Какие новости?

— Да какие тут новости... Сама знаешь. Слушай-ко. Я вот думаю ехать. Ты-то поедешь? Собиралась.

— А вы когда думали?

— Дак вот, хоть завтра утром.

Ульянка там что-то призадумалась. Татьяна подождала-подождала, не вытерпела: ну не хочешь, как хочешь. Мое-то дело предложить.

— Или что у тебя, работа?

Та оживилась.

— Работа, да, Татьян-Николавна! Я так день в день не отпрошусь. Давайте, может, хоть вечером завтра? Там же есть ночные вот до Москвы.

— А есть? Я не смотрела еще.

— Всегда были раньше.

Вечером? Положа руку на сердце, вечером-то и Татьяне самой было лучше. Доделали бы спокойно детскую, шей бы хоть сварила им на два дня, чтоб всухомятку из холодильника не жрали, да и поехали бы ночным, в самом деле. Еще жить где-то ведь надо, так небось и не найдешь.

— Ну ладно, давай вечером.

Подождет уж Сашка, ничего ему не сделается.

• • •

За стол Ульяна вернулась вся взвинченная. Вроде и выбила себе отсрочку, а все равно. Это все быстро закручивалось, быстрее, чем хотелось бы, а впереди было такое время, где ни себя жалеть уже нельзя будет, и никого.

Положила руки на стол, а они прыгают. Убрала на колени.

Дядя Максим вернулся с улицы с бесполезным шампанским; хоть вроде как успел продышаться, остыл, а разговор все равно не клеился. Слышно было, как лязгают ножи по фарфору. Дома, когда ссора, Ульяна под телевизор ела, чтобы тишина так в уши сильно не лезла, а тут и телевизор был под запретом. На хера и покупали тогда.

Только тетя Марина все поглядывала на Ульяну многозначительно и тихо улыбалась: мол, вот какой у нас с тобой от него секрет. Но от разговора с Сашиной матерью эта струнка, на которой в Ульяне можно было поиграть, а та тихо пела, натянулась чересчур и звенела теперь слишком высоко и угрожающе. Ульяна уже слышала это в себе, а тетя Марина пока что не слышала.

Искромсали и перетерли зубами весь салат, настала очередь рыбы. Опять руки в варежки, опять из духовки, как из пекла, дохнуло — тетя Марина выложила аккуратно окуней, запахло розмарином. Стали разбирать рыбу на кости и волокна. Два бокала с пузырьками стояли нетронутые, только дядя Максим себе подливал. И чем больше подливал, тем больше пузырилось в нем какое-то говно. Это видно было — тик выдавал. Но нос поморщит, то рот скривит, то прищурится. Нет, не закончил еще выступать, поняла Ульяна.

— А за что мы еще не пили? — сказал он.

— За Сашино здоровье, — твердо ответила ему она.

— Ну давай, давай за Сашино здоровье.

Ульяна подняла бокал, пригубила. Тетя Марина тоже, осторожно — и предупредительно на мужа так краем глаза, раз. Дядя Максим большой глоток сделал, не пожалел. Потом постучал по стеклу ногтем: зазвенело очень высоко и тонко.

— Ты же была у него? Что говорит?

— Да чего ему говорить? Привыкает. Думает, че дальше. Уже хорошо.

— Хорошо?

— Ну а че. В его-то положении.

— А он... Ну... Рефлексирует вообще? Думает, как он в этом положении оказался?

— Максим, — вклинилась тетя Марина.

— Да не, все ок, тетя Марин.

— Максим, человеку пришла повестка. Что тут можно рефлексировать? Деваться некуда, встал и пошел. Опять ты с нашей колокольни...

Дядя Максим еще больше глоток сделал, подавился пузырями, сморщился. На жену он не хотел обращать внимания. Хотел дальше Ульяну ковырять, хотел ее тоже — на кости и волокна.

— А как мы все в этом положении оказались? Ну он ладно, а ты?

— Что я?

— Ну вот ты думаешь, как и почему мы тут все, в этой точке?

— «Мы» — это кто?

— Максим.

— Мы — это ты, он, я, Марина. Все мы. Как это так получилось?

— Вы, может, прямо уже скажете?

Ульяна отложила нож, отодвинулась от рыбы, от которой чуть-чуть только успела отъесть.

— Ульяш, не надо. Тебе не нужно...

— То есть никакой вообще рефлексии.

— Чисто по полям, — нагло глядя дяде в глаза, сказала Ульяна.

Если надо вашу рыбку вместе с наставлениями кушать, то на хуй. Документы готовы все, завтра будет у нее свадьба в бэушной фате, зарегистрируют отношения, начнется все другое, там уже никто не будет ей морали читать, уму учить — и там Ульяна будет у жизни не в гостях, а сама себе хозяйка.

Дядя тоже сложил прибор.

— Я просто поражаюсь, если честно. Вот у тебя забирают твоего молодого человека. Забирают, возможно, на смерть, под каким-то совершенно бредовым, завиральным поводом.

— Максим! Остановись, не порти всем ужин!

— Мариночка, неужели ты считаешь, что этот великолепный ужин так легко испортить?

— Я тебя прошу...

— А я прошу тебя! Можно я хотя бы у себя дома буду называть черное черным, а белое белым? На работе — молчи, на улице — молчи! Можно дома-то хотя бы не бояться правду говорить? Дома это не «СВО» называть буду, а войной — можно?

Ульяна ухмыльнулась.

— А что вы на улице-то молчите? Вы не молчите.

— А ты что молчишь? Вот у тебя парня твоего забрали! Как крепостного просто схватили, и все! Ломают и ему, и тебе всю жизнь. Просто берут человека и через мясорубку пропускают. И мало того, что пропускают его самого, еще и превращают его в оружие... Ладно. Нет, не ладно! В оружие убийства. И вот неужели до сих пор ничего не становится ясно? Ну ты же неглупый, вроде бы, человек, Ульяночка!

Вот это, может, ее и добило. Затянула красная пленка дядю Максима. Была бы Ульяна прежняя, может быть, и потупилась бы, и стала себе дальше окуная кушать, белками и рыбьим жиром запасаться. Какая разница, потерпеть-то уже осталось! До завтра. Но та Ульяна, которая в Москву поездом с ебнутыми солдатыками приехала, которая в госпиталь к Саше походила, была уже другая какая-то, нервная.

Ну ладно, че. Погостила — и хватит. Наклонила голову вбок и четко вбила:

— А че это он крепостной? Саша сам пошел.

Этого ее дядька совсем не ожидал. Учительское строгое выражение у него сдулось и сползло, что он там все пыжился. На тебе леща, распишись.

— В каком смысле?..

— Ну в каком, в каком? В прямом. Контракт подписал.

— Добровольцем? Это вот которые за деньги?

Он оглянулся на свою жену — ошалело. Та только губами шлепала, сама-то как рыба. Потрясла головой — я не знала, не знала, мол... Ну ничего, вот теперь и узнала. Сколько можно уже Ульяне это в себе держать? Хавайте.

— Ты же нам сказала, что он по повестке... Вы мне говорили, что он по повестке, по мобилизации!

Ульяна мигнула, но растерялась ненадолго.

— А при чем здесь деньги-то?

Дядя Максим все пытался управиться со своим лицом, но брыла у него тряслись, а глаза покраснели и слезились от с трудом удавливаемого бешенства.

— Да тут при всем деньги! Давай ты у нас не будешь теперь дурочку изображать невинную! Это сколько ему миллионов положено? Пять? Семь?

— А че вы считаете-то, дядь Максим? Ваши, что ли?

— Слава богу, что не мои...

— Ульяна! Я умоляю! Тебе нельзя нервничать...

А она не хотела, чтобы к ней сейчас с побряжками, со снисхождением. Она уже все, на арену вышла. В ней, сука, Хабиб проснулся.

— А как ты думаешь, Ульяночка, за что ему такие деньжищи платят? Пять миллионов рублей! Это за жизнь столько не заработать!

— Потому что рисковал этой жизнью, вот как раз и выходит.

— Да мало ли кто рискует! Вон рабочие на стройке лезят по верхотуре, рискуют! Им же столько не платят? Нет, не за это.

— А за что?

— А за то, Ульяночка, что он туда пошел убивать других людей, которые ничего ему плохого не сделали. Других живых людей, которые жили-были в своей стране, в своих домах, пошел

убивать и мучить. Он же знает, что людей убивать плохо, что это грех, его же так воспитывали, нет? А там ведь такие же люди, как мы! Украинцы. Они на нашем языке говорят, у них имена такие же, такие же фамилии, как у нас. Дома такие же у них, мебель, ковры. И вот, чтобы он про это не думал, чтобы ему не страшно было их убивать и чтобы не стыдно, ему такие деньжищи дают. Пять миллионов! В «Газпроме» люди столько не получают! А знаешь, кто столько получает?

— Кто? Ну кто?

— Киллеры! Убийцы наемные!

И тут Ульянку разорвало совсем: вскочила и зыркнула сверху дяде глаза в глаза. Стул завалился, бокал упал, растеклось выветрившееся шампанское.

— Он туда не за это пошел! — крикнула она. — Вы его не знаете, а я знаю! Саша не убийца никакой! Он добрый! Он отзывчивый! Он туда пошел, потому что там людей наших обижали! Он за них туда пошел!

— За кого? За каких людей?

— За русских людей, за каких! Вы знаете вообще, с кем они там воюют? Они не с украинцами там воюют! Они там со всем Западом воюют! Вы про мясорубку, так вот это их, их в мясорубку-то! Простых украинцев! На наших пацанов кидают! Вы знаете, в каких условиях? Вот ему ноги отрезали, и что ему эти ваши миллионы?!

Тетя Марина спряталась в ладони, молчала. А дядя Максим встал тоже — стряхнул с себя эту всю свою ученость гребаную, все равно она на нем лопнула по швам — и просто орал.

— Да он сам виноват, что отрезали, если поперся туда! Если за деньги, то идиот, и если по дури, то тоже идиот! Все! Не могу больше эту херню слушать!

— Он долг! Долг выполнял! Не можете понять, да? Конечно. Куда вам! Ладно. Приятного аппетита.

Вылетела пулей, кинулась в кровать. Лежала в мандраже, пульс, наверное, двести, сердце колошматило о ребра. Знала, что

могла бы за собой оставить в этом споре решающее слово, и еле удержалась, чтобы не произнести его вслух. Потому что тогда б уже все стало совсем бесповоротно.

• • •

Марина дверь закрыла тихо, аккуратно, плотно. Потом села на свое место, положила руки на стол и стала на них смотреть. Так, может быть, инженер какой-нибудь сдается, когда понимает, что починяемый им сложный механизм никогда больше не заработает, зря только были потрачены на него месяцы работы. Он был знаком с этим отрешенным выражением: Марина никогда не кричала на Максима, но несравненно умела минимальными средствами выразить свое полное в нем разочарование.

Случалось, это молчание било его под дых куда больней, чем ему было бы от открытой ссоры, от истерики. Но сейчас Максим твердо знал, что был стопроцентно прав, поэтому держал паузу.

— Она от него беременна, — прошептала Марина.

— Еще хуже!

Рявкнул, но на минуту потерял равновесие. Стали понятны женские переглядывания, вся эта таинственность-многозначительность, Ульянина истерика, в конце концов. Стыдом обдало, но это он от себя отогнал: какое ее беременность имеет отношение к сути их разговора? Никакого!

— Ее можно понять, Максим.

— Нет! Нет, ее нельзя понять! — упрямо замотал головой он. — Что тут можно понять, Марин?! Да как это связано-то? Один пошел за деньги убивать, а другая от него залетела... Давай мух отдельно, котлеты отдельно!

— По-женски понять. Ты когда от мужчины беременна, когда любишь, конечно, ты его всегда оправдаешь... — попросила Марина. — Он же твой! Он не может быть плохим. Ты же тонкий, Максик, как ты такое не чувствуешь?

— Нет-нет. Нет-нет-нет. Секундочку! Это тебе не «мама, я жулика люблю», Мариш! Тут другое происходит! Они на всех столбах рекламу убийства за деньги развешивают! Они из всех утюгов это геройством называют! Здесь полное, полное перевертывание ситуации! А это убийство! Это геноцид, по сути! И мы с тобой да, отвыкли уже об этом говорить, и столбы эти не замечаем, но сейчас нам просто в рожу эту суют. И говорят: это — нормально. Убивать — нормально. Завтра концлагеря нормой станут! И ты тоже скажешь тогда — ну, она забеременела от надзирателя, ее можно понять?! Марин... Ты знаешь, я матом не люблю ругаться, но это пиз-дец. Я это не хочу понимать. Если ты это поймешь, то ты скоро с этим соглашаться начнешь. Там уже один шаг.

— Она просто девчонка...

— Тридцать лет ей! Какая еще девчонка?! А он просто мальчонка, да? Нет. Послушай, мне ее как человека жалко, что она вот в такой ситуации оказалась. С беременностью. Окей, жалко! А его мне не жалко. Я отказываюсь его жалеть. Он взял деньги... Все! И я не буду играть в эти идиотские поддавки для беременных. Можно?

— Ну, они поддались на искушение... Они оба из бедных семей... Ульяша точно. Ну их вот заманили в эту ловушку. Взял деньги, да. И что? Люди нищенствуют... А тут им такое... Можно понять, если постараться... Им же не говорят — идите убивать, им говорят — идите защищать родину. Родину!

— Нет. Нельзя! Есть Телеграм, есть каналы, не хочешь читать независимые медиа — в телиге поищи, все сразу станет ясно, за что там деньги... Нет! Никакого им понимания, никакого им сочувствия! Нет!

Максим трахнул кулаком по столу, посуда запрыгала и зазвенела испуганно. Он прямо чувствовал, как через него кипящую кровь качали. А кулаком и по человеку какому-нибудь хотелось ударить. По кому? Ну по Саше, были б у него ноги.

— А что у нас есть, кроме сочувствия? — Марина посмотрела на него упрямо. — Что у нас осталось? Что нас людьми вообще делает?

— Нет. Нет, не так! Что у нас осталось, кроме однозначности? Вот как тебе объяснить еще? Мы в животе у чудовища, понимаешь? Варимся в его желудочной кислоте. И эта вот кислота — неоднозначность. И она нас разъедает. И если мы не будем держаться за самое простое — за то, что в мире есть четко добро и зло, есть черное и белое, есть допустимое и есть недопустимое, если мы согласимся с их иезуитскими тезисами, если мы начнем мир в пятидесяти оттенках серого видеть, то нам все, нам кранты, мы обваримся и будем такими же вот бесформенными огрызками, как все, что в этой зловонной жиже мимо нас плывет. Они же через это именно и берут нас, через то, что не мытьем, так катаньем принуждают принять это, то такую перспективу предложат нам, то сякую, пока не найдут, с какой точки зрения убийство как будто бы не выглядит убийством, а выглядит чем-то другим, приемлемым. А это бесчеловечно!

Максим заходил по кухне; от разлитого шампанского в кухне стояла кислая вонь, валялась недоеденная рыба, как будто они с Мариной и взаправду плескались в желудочном соке у какой-то твари в брюхе. Уставился в окно, чтобы на жену не смотреть; пригляделся — а там вместо окна темный аквариум, в котором они вдвоем с ней заперты и тычутся; а от Москвы ничего не осталось.

— Бесчеловечно — это не прощать, Максим. Вот так вот людей судить по-инквизиторски, вот это бесчеловечно. Без права на раскаяние.

— Это все демагогия, Марина! Там никто не собирается раскаиваться, ты что, не слышала? Я не понимаю, почему ты на ее стороне? Почему ты не на моей? Да вытри ты это шампанское уже, почему мы живем в свинарнике?!

— Вытри ты. Вытри-вытри, Максим. Вытри это шампанское. Что ты мне-то все приказываешь? Что ты называешь свинарник-

ком? Это я, между прочим, тут порядок поддерживаю. Все это время. И тут, — она пальцем уперлась себе в висок. — Ты знаешь. И я не на ее стороне. Просто знаешь, сколько у меня знакомых рассорились так вдрызг со своими детьми, с родителями, с мужьями? Счету не поддается! Из-за ситуации всей, из-за войны! Тебе что кажется важней — вот эта вся риторика или чтобы семья держалась? Мне, прости уж пожалуйста, важнее семья. Потому что семья — это реальное, это и есть жизнь. А для этого, хочешь не хочешь, приходится идти на компромиссы.

Максим подошел к раковине, схватил тряпку, принялся с ненавистью тереть липкую кислоту.

— Пожалуйста. И протру. Мне не сложно. Гляди-ка, это она, оказывается, одна тут порядок поддерживает, надо же... Компромиссы... А вот скажи... Это такой же компромисс, как размещать портреты «героев СВО» на остановках к Девятому мая, чтобы сохранить работу? Или не такой же? Ну раз уж мы заговорили. Я не собирался, но ты сама...

— Максим...

— А на фестивалях варенья рассказывать школьникам об освобожденном Мариуполе, когда ты знаешь про то, сколько этих школьников там... Это такой же компромисс?

— Это нечестно!

— Нечестно? Или наоборот — честно? Вот мы дома все эти мантры проговорили: война — зло, война — плохо, страна катится в тартарары, и вроде бы как остались приличными людьми, на правильной стороне истории как будто бы остались. Только вот беда: на работе — но это строго по работе! — мы школьников потчуем тем, что в Мариуполе дети счастливы! Вареньем подсластили и пичкаем их этим, а они ничего не понимают и кушают. Мы-то знаем, что там именно перед Мариупольским драмтеатром на асфальте было написано, когда наша авиация его разнесла, а школьники-то не знают — и не узнают. Будет у них Мариуполь теперь ассоциироваться с вареньем. Так? Так, если задуматься.

Для этого и варенье варили за городской бюджет. Но давайте мы в эту сторону не будем думать, а давайте мы себе придумаем другой сюжет: что время непростое, что люди в депрессии, что надо их как-то утешить, и праздники и фестивали — это хорошо. Давайте и сами это варенье будем жрать. Мы превратили Москву в город-сад, мы привезли десять тысяч деревьев в кадках! А что там в подвалах в этом городе-саде происходит, или, как это сейчас принято говорить, на подвалах... Ну так мы туда не будем смотреть! Мы туда, где цветочки и красиво, смотреть будем! Вот твои компромиссы, Марин! А заодно мы и подряд от мэрии не потеряем, да что там, следующий еще жирней будет, раз мы на этот раз так славно справились! Вот это вот честно. С самими собой давай честными будем?

Марина, которая всю эту тираду его от и до прослушала, обернулась, потом встала и принялась убирать со стола. Счищала исковерканную рыбу в ведро, грохотала посудой, разбила винный бокал. Заплакала. Довел ее до слез все-таки. Вот это, что в нем клубилось, клокотало, оно и требовало довести ее, доломать, чтобы разрыдалась, потому что без ее слез ему невозможно было разрядиться, на миллион вольт статики осталось бы в нем самом, от духоты можно было бы сознание потерять. А тут — гроыхнуло, сверкнуло, хлынуло, и сразу легко задышалось. И как только ее прорвало, Максим протрезвел и спохватился.

— Прости меня, — сказал он другим голосом, снова своим. — Я не хотел.

— Ты хотел. Ты давно уже хотел мне это сказать, я знаю. Я что, думаешь, не замечаю ничего, ничего не замечаю? И поделом мне. А что я могу сделать? Скоро уже совсем ничего не останется, куда политика не влезла, куда мне деваться? Или так, или без работы. Ты думаешь, я сама себя каждый раз не спрашиваю: а вот сейчас я уже перешла черту или нет еще? А они так мягко стелют, понимаешь? Там ведь тоже люди, которые не то чтобы за, просто работа такая. Нормальные люди. У всех такая

работа, и все друг друга потихоньку вталкивают. Ну вот так хитро это устроено. Вот в кадках же с деревьями нету ничего такого? Если их отдельно брать. Город хорошеет, простите за выражение, в чем криминал? И в варенье самом по себе.

— В Освенциме только один человек напрямую тысячи других «Циклоном-Б» травил, знаешь? И он был еврей-заключенный. Остальные просто процесс организовывали... — сказал ей Максим. — Ты не думай, что это я тебе только говорю... Я и себе это говорю.

— Вот и говори себе. Что ты мне все время этим несчастным евреем... А тебе-то самому куда деваться скоро будет? Да, Максим, компромисс. И ты сам знаешь, чего мне этот компромисс стоит... Ты знаешь, что я без таблеток не могу уже функционировать... Зачем ты всех допрашиваешь?

Максим поймал ее, она выкручивалась, он попытался ее поцеловать, она сопротивлялась. Тогда он обнял ее крепко, как борец соперника.

— Ну прости, пожалуйста... Правда, прости. Я просто очень устал. Я устал.

Потом Марина затихла — но, как только он ее отпустил, сразу же от него отстранилась.

— Так нельзя, Максим. Надо жить дальше. Надо просто жить! Понимаешь?

• • •

Уснуť, конечно, было нельзя и выйти из комнаты тоже было невозможно. Ульяна забилась в угол постели, самый дальний от входа, и вся сжалась, как будто за ней сейчас спецназ вломится. Но никто не шел. Не хотели они с ней мириться, не собирались просить прощенья.

Вот почему он сразу за деньги зацепился? Что ему эти деньги? Завидно, что ли? Сами живут в таких хоромах, по ресторанам каж-

дый второй день шляются, а сразу — миллионы, миллионы. Даже и до того, как Саша ей все объяснил, Ульяна знала про него, что он не за тем пошел, ну не шарил он в деньгах, дурачок.

Ульяна вытянулась, закрыла глаза, думала, что настанет темнота, а перед глазами кухня плясала и перекошенное лицо дяди Максима, когда он на нее брехал. Прямо озверел, когда услышал про контракт. Ульяна знала, что у него пробки вылетят, и пусть, потому что скрывать это от московских ей не хотелось, не хотелось этого стесняться.

За убийство! Да кого он там и убил-то, у него руки из жопки, он и накидать-то никому толком не может, каждый раз, когда Ульяну провожал затемно, весь поджимался, дворовые с ней здороваются, а у него все руки потные потом со страху. Миллионы... А сколько это стоит, дядь Максим, когда ты идешь на СВО, там же убивают, на войне, а ты вот не можешь по-другому, понимаешь, что дома ты остаться не имеешь права, просто за страну свою впрягаешься, потому что так надо, потому что кто-то должен, вон как те пацаны в поезде даже — веришь, что если ты сейчас не пойдешь туда, то эти сюда придут, не важно, американцы там, не американцы, вот и подписываешь контракт, а государство что? Государство должно потом жен с детьми без хлеба оставлять? Это что за государство такое будет? Платят, ну платят, да — платят, чтобы те, кто воюет, чувствовали, что семья, если что, побираться не пойдет, что будет на что детей хоть дорастить. И сколько этих миллионов, не так уж и много их, вон как все дорожает, а деньги дешевеют, это сегодня кажется — «Ого, епт! Пять миллионов!» — а завтра уже на них и не купишь ни хату, ни тачку, ни вообще ни хера, и что? Нет, это справедливо, что платят, и хорошо, что не бросают, как лучше — как у нас, когда добровольцев набирают и платят им, или как у них, когда на улицах со спины забегают, руки заламывают, в бусик — и без подготовки на передовую, на мясо, сколько они там живут вообще, день, два? Ну это честно же, что если люди рискуют, то им положено от государства, причем

тут вообще эти монтажники-высотники твои, они за себя только отвечают, они туда чисто за бабки и идут на стройку на свою, а не страну свою защищать, и что ты хочешь сказать — у них, что ли, страховки нету? А эти выплаты вот бойцам, по смерти и по инвалидности, это ж страховые они наполовину, а что им, надо сдохнуть просто, и все, чтобы матерям хоронить их не на что даже было? А инвалидам что, вот Сашке что теперь, ему государство тоже не нужно, чтобы помогало, пусть выгребает сам, в коробке деревянной вместо коляски его должны выписать, что ли, и пусть по электричкам побирается? Нет, времена другие, и слава богу, что у страны на это хватает, и че это, хуже, что людям деньги от всей этой нефти идут, лучше, типа, пускай бы дальше дворцы свои на них строили? Это справедливо, что людям наконец идет, это по-честному, люди таких бабок в своей жизни и не видали никогда, в отличие от вас тут в Москве, хуль ты будешь нас осуждать со своим мериллом, че вы со своим Кирюшенькой понимаете-то, один раз он в Вологду ездил, в деревню на настоящего петуха живого позирить, конечно, ему-то не нужны эти деньги, потому что у него и папа в Москве работает, магазин свой, и мама при деле, а в Москве какие зарплаты-то, скажи еще спасибо, что я тебя не лупанула по самому нежному, мне одной вон прокурорши в Вологде мало, ты еще будешь доебываться. Вырастил вон лба, балбеса, по клубам каждую ночь, не вынимая, забашлял еще, небось, чтобы у военкома память отбило, была повесточка или не было, а мне как сливку растить, не подскажешь?

Завтра покажу Сашке снимок, вон он офигеет, фата трешовая, конечно, но даже угарная, в принципе. Шампанского надо, это еще рублей сто пятьдесят, с утра прямо пойду, и конфет еще для него, ему же нельзя спиртное, наверное, и расскажу, кстати, ему приколы про то, как чувачок внутри конфету заценил.

Полежала. Ну что, все? А все-таки тянуло что-то в животе. Рыба не рыба...

Взяла телефон, потыкалась там, спокойней не стало. Рилсы и тиктоки бесили, не оставалось на них ни смеха, ни интереса просто, душа была как пустое вымя: жми не жми, только болело. Нет, там что-то еще должно быть, в телефоне. Там же все что угодно есть, если поискать. Стала искать эти его названия. Что там было? Медуза? Не хотела, а запомнила — даже название склизкое. Не нашла. Подумала, включила VPN, искала через ИИшку, через чатик.

Чатик подсказал — сюда.

Там сразу сверху — ВОЙНА, ДЕНЬ ТЫСЯЧА ДВЕСТИ ТРИДЦАТЬ ПЕРВЫЙ, все аршинными буквами, все красное. И новости — годовщина российского ракетного удара по детской больнице «Охмадет». Фотки горящей больницы, спасателей на завалах, фотки столбов жирного дыма; у Ульяны сжалось что-то, поднакаатило жути. Погодите, ну это еще когда было, а что из свежего — ну вот, бомбардировкам ФАБ подверглись города Белицкое и Родинское, погибли две женщины, семь получили ранения... Ну уж... Потом еще покликала по ссылкам, там опять — Россия бомбит, Киев горит, многоэтажки, названия районов незнакомые, но дома такие же, как в Одинцове в каком-нибудь, как на московских выселках. Ракеты попали в жилую многоэтажку, опять горит, опять дым, опять спасатели. Прямо драма-драма! А что у вас все Россия да Россия-то бомбит? Это одна сторона только воюет, что ли? Еще — и вынесло на новость о Мариуполе, что-то там восстанавливает Россия, ну вот, хорошо же! А они стали сравнивать с тем, как все разбомбили, пока штурмовали — черный мертвый город, от целых кварталов одни остовы стоят. Эта чернота прямо из экрана стала переползать Ульяне в глаза, копиться там, капать в солнечное сплетение, до горла накапливаться. А там еще ссылка — про то, как устроена жизнь на передовой, и не хотела, а пришлось читать. Про раненых, которых не забирают, про украинских пленных, которых расстреливают, про побои, которыми

командиры солдат обкладывают. Ну конечно, а у них там не обкладывают, что ли?

Ну там не про одни бомбежки, конечно, было. Там еще, что где-то кого-то за госизмену арестовали, где-то на кого-то написали в ФСБ, где-то кого-то за репост приняли, что против СВО выступал, чуть ли не за лайки, вот как страшно у нас тут жить, не продохнуть буквально.

Читала-читала, читала-читала — и плюнула. Давайте, собирайте одни только новости сюда про то, какое мы, Россия, говно. А вот что украинские дроны прилетели по заводу нашему, куда вы статью заныкали? Они нас бомбят, а мы что, помалкивать сидеть должны в тряпочку? Терпили мы, что ли? Понятно все с этой вашей «Медузой», остальное можно и не смотреть, в принципе. Конечно, мы все начали, мы продолжаем, мы бомбим, мы сатана, мы гитлер, мы и пленных расстреливаем, мы и мирных насилуем, и за репосты у нас пожизненное! Ну а че тут попишешь, вот такие вот мы звери от природы! Это вот, что ль, твои адекватные новости, дядя Максим? Да вот это как раз и есть конченная пропаганда, когда ты такое вот наваливаешь кучей! А о причинах СВО ничего не хотите сказать? Говном только хотите перемазать нас всех, ну вы красавцы, ну молодцы!

Закрыла эту «Медузу», чтобы не воняло. Правильно, что забанили вас к хуям, потому что это не информация никакая, а это манипуляция называется. Ясно все с вами. Разобрались. Хочешь, дядя Максим, сидеть с умным видом, что всю правду знаете, ну сиди, а у самого мозги все червивые. «Правда!» Ага, бля.

Спустила скопившуюся черноту в пространство, слила — как-то полегчало.

Ладно. Хер бы с ними со всеми. Зачем Ульяне в себя это все пускать? Завтра большой день, нужно, наоборот, настроиться на светлое. Все она подготовила, снимок заместителю главврача скинула, на двенадцать подтвердились... Еще заноза — Сашина мать, как ей завтра врать, но это уж завтра будет. А что врать?

Может, уже и не придется врать ничего. Можно сказать как есть: извините, Татьян-Николавна, с таким обращением, как вы в тот раз мне, я что была должна думать вообще? Рисковать мне, что ли? Вот снимочек, не хотите на внука посмотреть? Это вот его вы мне предлагали выскрести, между прочим. Хорошо я сделала, что не послушалась? Или плохо? Да вы смотрите-смотрите, не отворачивайтесь. Любит, как и ваш сын, конфеты. Мне им вот надо было рисковать? По-другому бы вели себя со мной, нормально бы общались, мне не пришлось бы тогда, и мысли бы не возникло так вот с вами. А когда вы уже нам с барского плеча, мерсишки, нам тогда уже не надо. Это такая жизнь, что каждый сам за себя, в ней без вторых шансов. Так что на хуй с пляжа со своими претензиями. Мне вот что положено, чтобы ребеночка вырастить, то мне и положено. Это не я решила, это государство решает. Да и вообще, с чего бы. Все взрослые люди, решили пожениться, женимся. Я ж не школьника совращаю. Разрешения просить? Мы в каком веке? И тем более что просили уже и были посланы вами, Татьян-Николавна, сами помните куда. А теперь вот такой гамбит, подставляйте панамку.

Закручивалась в простыню, раскручивалась, то было холодно, то душно. Отправила маме УЗИ свое зачем-то. Не прошло и пяти минут — та перезвонила.

— Твой, что ли?

— Ну а чей, мам?

— Какой хорошенький, это надо же! — мама попричитала, чуть не поплакала.

— Мам... А если вот что... Ты же поможешь мне с ним? Ну вдруг если я одна там.

Та подумала-подумала и сказала:

— Ты его должна точно оставить, Ульяша. Если что, мы с тобой его и вдвоем вырастим. Ты ведь знаешь, солнце, как я внука давно хочу. Ты только роди мне, а я там сама дальше.

— Ну окей, ма.

Чуть-чуть стало после этого спокойней.

Уже сквозь бредни слышала, как вернулся со своих гулянок Кирилл, опять журчал-мурчал что-то в телефон, расхаживая по коридору, тетя Марина его там еще кормила, кажется. Еле уgomонились. Так хотелось поскорей сознание потерять, чтобы уже завтра было, а то сколько можно-то.

• • •

Вот она рожает как будто и прямо по-настоящему чувствует боль, такую, как при родах чувствуют, откуда-то она ее знает, а вокруг собрались все — и Колька Рыжий из школы, и Дэнчик, и Стас — ну, короче, по списку, и тут же Саша, у него обе ноги на месте, вылечили. А роды принимает тот жуткий мужик, клиент из салона, из-за которого Ульяна с работы вылетела. Ребенок лезет долго, трудно, и неприлично, что столько мужчин вокруг, что все смотрят, на родах вроде только один должен присутствовать — отец, а остальные-то что тут делают? Вот этот клиент, а он голый, как в коридоре к ним с Кристинкой вышел, объявляет, что головка показалась, слышен детский плач, ну слава богу, она тужится дальше, потом говорят — все, поздравляем! Вручают ей ребенка. Она хочет посмотреть — ну кто там, мальчик все-таки, будет сын у Саши? Глядит — а у него ног нету, одна по колено отрезана, а другая почти что вся.

• • •

Проспала.

Ставила будильник на восемь, но в восемь, в липкой хмари, машинально тыркнула телефон, чтобы заткнулся. Лишний час проваландалась в этом вареве и вот под пробуждение уже увидела такое. Это как ледяной водой ее окатило, сразу подскочила.

Побежала умываться.

В кухне, как и не уходили, сидели Кирилл с дядей Максимом, ворковали. Она сказала им невнятное, заперлась в санузле. Прочистила горло, набрала Лешему на его мобильник: пожелать Саше доброго утра, сказать, что вылетает.

— Здоров, невестыч. А его нету.

— Как нету? А где? — растерялась Ульяна.

— Так его на операцию забрали. Прямо с утра с самого.

— В смысле?! Операция же на четверг была назначена!

— А че на меня-то орать? Я те че сделаю? Перенесли, значит.

10.

У Марины к ночи разыгралась мигрень. Проворочалась, бедная, простонала и забылась только к утру уже, кажется; Максим, чтобы ей не мешать, перелег на диван, в гостиную. И там, неожиданно для себя, прекрасно выспался. Выспался и забыл о вчерашней ссоре. Было у него такое счастливое свойство: проораться и прочиститься, скинуть лишний груз и дальше жить.

Встретил на кухне Кирюху, который по будильнику встал — припухший, но счастливый — и решил сам ему сварганить омлет. Так у них раньше было, когда Кирилл в школу ходил: Максим часто поднимался раньше Марины, в семь тридцать как оловянный солдатик был на ногах — биоритмы какие-то, что ли, — будил Кирюшу осторожно и ласково, чтобы парень с хорошим настроением шел в школу, и потом сам ему тосты делал или кашу варил. И вот в это время они раньше обычно всегда болтали, прежде чем разойтись каждый на свою службу. И Кирюха этот утренний их общий час тоже любил, кажется.

— Ну что, как ночная жизнь? Продуктивно хотя бы? — спросил у него Максим с полуулыбкой, размешивая яйца.

— Мне кажется, это любовь, — пошутил Кирюха.

— Ого. Серьезные заявления. Как зовут избранницу?

— Диана. Богиня охоты.

Видно было, что Кирюху распирает радость, и Максим чуть сам не засмеялся, снова подключившись к его предвкушению веселого летнего дня и целой летней жизни.

— Красотка?

— Могу продемонстрировать. В Инсте, — сказал Кирилл.

— Почту за честь.

Кирюха вскочил со стула, принес ему к плите свой телефон — уже открытый на нужной странице, наверняка сам сидел и любовался своей новой подружкой.

Максим ждал милашку какую-нибудь там увидеть, губки бантиком, стрелочки на глазках, как все эти пигалицы на московских верандах и в инстаграмах, а увидел неожиданно по-настоящему красивую девчонку — очень точно и правильно вырезанную из мореного дерева, с живыми и умными глазами, одетую не скромно и не пошло, просто классную. В ней было ноль процентов фейка. В такую точно можно было влюбиться, особенно когда тебе двадцать семь.

— О.

— Ну офигенная же, да?

— Бомба, — стеснительно применил молодежное слово Максим.

— Реально богиня, — обрадовался Кирюха.

— Чем занимается? — не удержавшись, задал родительский вопрос Максим.

— Диджейка. Оч модная. Оч крутая. И оч милая. Просто топ.

— Ну что? Тогда совет да любовь, получается?

— Ну давай не торопить события, — хохотнул Кирилл. — Чтобы не сглазить.

Максим запустил руку в его густые волосы, поворошил их. Они были такие же, как у самого Максима в его двадцать.

Положил Кириллу дымящийся омлет — ничуть не пригоревший, несмотря на отвлекающие факторы, с нежной сопелькой, мастерский. Кирилл уселся, отрезал, зажмурился от удовольствия.

И вдруг Максима будто пальцем в затылок ткнули.

Обернулся — а там Ульяна стоит, в полутьме коридора. Зыркнула, буркнула что-то — и спряталась. Дичь.

• • •

Фату она все равно с собой взяла, скомкала и сунула в сумку. Как талисман, что ли. А может, это ненадолго — операция. Закончат, а она уже тут как тут. Если замглавного обещал, что регистрацию на двенадцать назначат? Может, к двенадцати уже и закончат, тогда все по плану.

Она, конечно, сразу Артуру Ивановичу бросилась писать, просить объяснений, но не доставлялось ничего и дозвониться не получалось. После второй попытки Ульяна себя сама осадила, побоялась показаться ебанашкой, спугнуть. Надо было не в телеге его сообщениями заваливать, а руки в ноги — и мчаться туда, к нему в приемную, и там уже задавать ему все свои вопросы.

Стерла лишнее, хмуро на прощание что-то рыкнула в кухню, шваркнула дверью, помчала без завтрака. Они там в кухне притворились, будто вчера ничего не было: легко забывать обиду, когда ты же и обидел.

День — звякнуло сообщение от Татьяны Николаевны: «На какой поезд брать?», но Ульяна ее сообщение не прочла, прикинулась слепой. Подождешь. Я ждала, и ты подождешь.

На асфальте лежали лужи — когда-то перед рассветом, видимо, прошел дождь. Воздух остыл, сделался жестким. Над головой все было забито стекловатой, не понять, есть ли там вообще где-то солнце. Ульяна прыгала через лужи, пока к метро бежала, а сама думала: это вот какой знак? Добрый или недобрый?

Во всем ей чудились знаки. Того свадебного шампанского, которое она рассчитывала взять, в «Перекрестке» не осталось, разобрали. В метро по вагону полз калека, клячил милостыню. Автобус уже отъезжал, но тормознул, подобрал все-таки Ульяну.

Небо набухло, ветер крутил бумажки и оборванные листья вихрем, будто зарождался настоящий ураган, высаженные недавно деревца гнулись, но капало только чуть-чуть, свинцовыми каплями, а настоящий ливень ждал, пока Ульяна доберется до проходной. Что это все значило для нее и для Саши?

Октябрь посреди июля сломал что-то в Одинцове — без солнца оно сделалось серым, поднимающийся ураган сорвал с него, как маскировочную сеть, всю его летнюю вальяжность, оголил его гарнизонную суть: казармы да лазареты.

Высадилась, добежала.

Саша где-то там лежал под ножом, под наркозом, а выписанный им пропуск еще работал. Двор опустел, все ждали, что вот-вот ливанет, только под козырьками курили люди в синих пижамах и люди в белых халатах.

Она пробралась в корпус, где заседало начальство, встала в живую очередь к заместителю главврача. В руках пакет, в пакете кулек с конфетами и снаряд шампанского. Наелась шоколадом, чтобы на голодный желудок у начальства не сорваться. Шуршала конфетными обертками стыдливо и прятала бумажки в сумке: госпиталь был строгий, стерильный, негде насорить даже.

Еле дождалась.

— Здравствуйте, Артур Иванович. Я вам все утро... Я Ульяна, Царева Ульяна, по Лазаренко, насчет регистрации брака? Я присылала вам снимок, справку... О беременности.

— А? Да, — посмотрел, как будто не признавая. — И что?

— Нам на сегодня было назначено на двенадцать, распись. Регистрация брака.

— Ну прекрасно. Я вас поздравляю. А что, собственно...

— Его на операцию увезли. Должны были послезавтра... Вы сказали, в двенадцать, а его нет. Вы же мне назначили, Артур Иванович. Я вот приехала, шампанское привезла... Как дура.

Он потер свою залысину пухлой ладонью, как будто укладывал несуществующий чуб.

— А! Лазаренко... Лазаренко. Нейрохирургия? Да-да...

Он поднял трубку, что-то помычал, посмотрел в окно. Окно выходило на больничный храм, на купол с крестом. Кабинет у Артура Ивановича был меньше, чем у его начальника, но зато какой-то обитаемый, обжитой.

— Ага. Ну да. Принял, — он положил телефон, обернулся к Ульяне. — Да. Операцию ему поставили. Хирург с лечащим решили.

— Но мы ведь договаривались...

Он наморщил круглый лоб.

— Ульяна?..

— Константиновна.

— Ульяна Константиновна! — Артур Иванович вежливо так ей улыбнулся. — Можно личный вопрос? Вот вы что больше хотите — замуж или вдовой стать?

— Но ведь у нас все же было запланировано... — как заведенная, прочирикала опять Ульяна. — На двенадцать.

— Еще раз. Тут вам не дворец бракосочетаний. Наша задача — вашего жениха вылечить. Насколько это возможно. Если консилиум высказывается за срочную операцию, все остальные планы мы — что? — ставим на паузу.

— А насколько там все серьезно? — испуганно спросила Ульяна.

— Вот настолько. Открылось внутреннее кровотечение, решили уже все сразу сделать.

На секунду вся эта канитель с женитьбой перестала казаться Ульяне и важной, и возможной. На секунду ей стало понятно, что Саша может по-настоящему умереть — может быть, и прямо сегодня. Это было так, будто в кабинете окно зашторили.

— А как... Операция?

— Ну, пока что вроде бы по плану.

И как только отпустило, отхлынуло — Ульяне сразу снова стало нужно то, за чем она сюда пришла. Мгновенно.

— А сегодня еще получится расписаться?

Зам покачал головой, поглядел на нее как на дебилку, неласково; напрасно он вообще показался ей своим.

— Длительность операции семь с половиной часов. Это тяжелая операция, понимаете? После операции — давайте будем молиться, чтобы она прошла удачно — пациента переведут в отделение интенсивной терапии, где он будет находиться под седацией, без сознания. Понимаете, что это значит?

— Что?

— Что сегодня вы совершенно точно не сможете зарегистрировать свой брак. И завтра. И в реанимации вас, разумеется, тоже никто расписывать не станет. Придется подождать.

Он сцепил пальцы и посмотрел на Ульяну очень внимательно: все ли до нее хотя бы теперь дошло?

— Он воевал там, мой Саша. Его ранили. Он — участник СВО. Ему положено день в день регистрироваться. Везде сказано, — она это все отчаянно бормотала, как заклинания, которые раньше работали, а сейчас вот почему-то перестали работать.

— Ульяна Константиновна. Здесь все такие.

Так сказал, что она сгорбилась. Был у нее прямой хребет, когда заходила сюда, а теперь дугой согнуло. Вся та сила, которая в ней появилась в поезде, в купе, когда она стала на верную сторону, вдруг улетучилась.

— А если он не выберется? — севшим голосом, беззвучно почти спросила она.

— Ну давайте все же будем оптимистами оставаться.

Он выделил ей еще время задать какой-нибудь другой вопрос, но Ульяну парализовало. Вот полыхал дом, в котором было расставлено все, что она за свою жизнь туда натаскала, а она глядела на зарево, замороженная, и не могла шелохнуться.

— Телефон мой у вас есть, пишите, — растолкал ее он. — В рабочие часы.

Ульяна промямлила что-то, поднялась и побрела. Артур Иванович проводил ее взглядом — не сочувствующим, не равнодушным, а таким, как у дрессировщика. Но разговор тут уже некуда было двигать, разговор уперся в бетон.

Ничего было нельзя сделать, ничего. Ничего было нельзя.

Выползла Ульяна во двор, подергала лапками, достала курилку — а та сдохла. Выпросила у какого-то обожженного солдата сигарету, сказала, жениха оперируют, ну, он чиркнул ей. Она в первый раз за пару лет точно вдохнула настоящий ядовитый дым, и он был слаще, чем электрическая дынька. Над кронами плыли купола, блестящие, как свежееотчеканенные монеты, но Ульяна туда не хотела; церковь не машина желаний, с богом надо начистоту, если уж он есть.

Зажужжало.

Ульяна машинально проверила — Татьяна Николаевна. Она уже, оказывается, писала ей еще что-то, пока Ульяна была у врача, тыкала своими обрубочками в засаленный экран, требовала ясности: когда поедешь, да когда поедешь?

Че ты пристала, как банный лист?

• • •

С самого-то утра Татьяна еще была добрая, на вчерашнем счастье ехала, но ближе к полудню остался от этого топлива один перегар. Ульянка на эсэмэски не отвечала, и каждая неотвеченная еще чуть-чуть подкручивала ворот, на который наматывались Татьянины кишки: она людей кишками чувствовала, от кого спокойно, а от кого тянет. Вчера, когда с Ульянкой говорили, тоже вообще-то шевельнулось там, но Татьяна отмахнулась, не хотелось портить себе радость сомнениями. А может, что и зря.

Но и еще кое-что случилось. Виталя со строительного рынка принес журнал, Татьяна заварила себе утренний кофе по-своему: размешала полторы ложки растворимого на три ложки сахара,

села листать этот журнал, и на предпоследней странице увидела большую рекламу, что коттедж продается. Коттедж был кирпичный, построенный уже, только без ремонта, в Семенково, это от города, так-то, минут десять на машине. Двести метров! Двести три даже. А денег — всего десять миллионов. За такую-то доми-ну... Стала просто так, для себя, как зарядка для ума, складывать. Если бы квартиру продать, ипотечные вернуть и потом все Сашки-ны выплаты собрать — и за тяжелое ранение, и по инвалидности, первая группа, и еще за выход со службы, ну и поторговаться за этот их коттедж еще — легко продавалось бы, не стали бы уж рекламу вон ставить! Может, миллион скинут, а может, и полтора. Двести-то метров, поди плохо? Тут и Сашку разместить можно, а хоть и Ульянку, и мать можно из деревни забрать, а кстати, и продать ее избу с участком, всех можно подобрать к себе под бок, да и жить не тужить. Все рядом, всех видно. Тут и за Сашкой удобней ухаживать, и Ульянка не распустится, и matka под при-смотром, а то уж ездить к ней больно долго, надоело.

Началось как фантазия, а потом засосало. А почему фантазия-то? Деньги все Сашкины были, для родителей-то неужели бы он не захотел это сделать все? Кто его воспитывал-то? Родители. И ухаживать, поди, мамка станет. А Ульянку бы уж приткнули тоже. Надо было только с ней так подружиться, чтобы она Татьяну как мать слушалась. А то и лучше матери.

Первую эсэмэску она ей послала, когда стала с утра свой день расписывать. Вторую — когда не смогла дозвониться до Сашки, а третью — когда ответил за него этот Алексей, который с ним в палате лежал. Ответил и все ей доложил, что Сашку забрали, что резать будут.

— А скажи... Он как хоть?

— Да ниче, в принципе. Бодрячком. — Он вроде это ей ровно сказал, спокойно, но так ровно, как курицу уговаривают, перед тем как ей бошку топором тяпнуть.

— Плохой он, да? — поймав его на этом, стала допытываться Татьяна.

— Ночью в реанимацию забрали, а потом вот на операцию экстренно.

— Господи Иисусе, — всхлипнула она, сама от себя не ожидала.

— Да вы это, че... Нормально все будет, — пообещал ей Алексей. — Он крепкий пацан, так-то. Без ног, а молодцом.

Он с ней негрубо был, Алексей, может быть, о собственной мамке думал.

— Спасибо. Спасибо, Алеша. Я тебе позвоню еще, можно?

— А че, звоните.

В глаза-то Сашку нельзя было пожалеть, чтобы не кис; дашь слабинку — а он тоже разнюнится, еще жалче его станет, ему так и самому будет тяжелей; а надо, чтобы он себя не жалел. Татьяна и никогда ведь с ним не миндальничала, ну и тут не собиралась. Будешь нежничать — бабу воспитаешь, или того хуже — распустишь их еще, пойдешь потом в узде удержи, или сопыются, или сядут. Пацанов растить — такое дело.

Это одно. А другое — чтоб он не думал, что мать перед ним заискивает, что засомневалась в себе и в том, что сделала. Мать права и всегда права.

Ну вот и написала, чтоб Ульяновку про операцию поставить в известность. Но та не чухалась. Сначала Татьяна за Сашку обиделась, а через обиду все уж и пошло-поехало. Вот ведь, рассказывала: дескать, вся-то она испереживалась, а от самой ни слуху ни духу. А я ведь ей навстречу иду, с собой готова взять, не в коттедж жить, так хоть в Москву съездить, ну а там уж как пойдет, поглядим на ее поведение. И так через себя переступила ради Сашки, чтобы его не обижать, — ладно, прикипел он к этой своей манде ивановне, так и я уж не какая-то прямо ведь змеюка. Ради Сашки, да! — а ей-то на Сашку не насрать ли? Вон ведь, не наберет сама, не спросит, ни даже ответить не соблаговолит.

Ну у ней-то, поди, тут пока что свои дела — небось, повеселее. А что за дела такие, чтоб даже на эсэмэску ответить оторваться не могла?

Терпела-терпела, не вытерпела. Позвонила.

Надо было уже ее голос услышать — как звучит, не криво ли?

Пи, пи, пи, пи, «Здравствуйте, Татьяна Николаевна». Опять на десятый только раз. И таким тоном, как чужие, как будто у них теперь общего дела не было.

— Что не отвечаешь?

— Да я траванулась чем-то. Суши ела вчера, вот ими, может. Лежу.

— А дома бы ела ты... Ну уж ладно. Что, к вечеру-то оклемаеся?

— Не знаю. А мы до завтра не можем подождать, Татьян-Николавна?

Кто-то у нее в трубке крикнул, кто-то засмеялся. Потом ветер будто бы налетел, зашуршало.

— Кто там у тебя ржет-то?

— Да это я с открытым окном просто... Во дворе это.

Татьяна помолчала, дала еще Ульянкиной трубке подслушать, что там, вокруг. Но больше ничего не происходило, прикрыла она, что ли, трубку рукой.

— А с Сашкой что, тебе не интересно?

Ульяна вздохнула. Подождала.

— Да все мне интересно, Татьян-Николавна. Знаю я, что с ним.

— Откуда хоть?

— Он мне дозвонился.

— Когда это?

— Вчера. После вас.

Так. Без нее, без Татьяны, выходит, уже там договариваются. Сами с собой, напрямую.

— А про сегодня знаешь?

— Про операцию? Знаю.

— И поехать не хочешь?

— Я хочу, я больная просто, Татьян-Николавна, — лязгнула Ульянка. — Чего сегодня-то ехать, если он пока то, пока се, пока в реанимации. Все равно же к нему не пустят.

— Все-то ты знаешь, — сердито ответила Татьяна.

— Ну я ж тоже переживаю, не только вы одна тут!

— Ладно мне! Давай лечись.

Отрубила Ульянку и стала думать. В конце-то она стала по-людски звучать, разбесилась, когда Татьяна ее вывела. Ну и поговорила с Сашкой. Хорошо, не равнодушная. Ну, отравилась сушами своими, бывает. Еще рыбу сырую она станет беременной жрать! Эх, забыла ввернуть.

Ладно. До завтра обожжет.

• • •

Что вот она до Ульяны докапывалась? Чувала все потому что.

А сколько еще Ульяна сможет тянуть волыну? Уже там такие подозрения, что следующий раз уже, глядишь, и электрошоком ее пытать будет, допрашивать. Выцыганила себе Ульяна времени до завтра, изовралась, но выторговала — а зачем? Завтра все равно все схлопнется: все, что она там себе навоображала, все превратится обратно в тыкву, сука, все — в пыль. Приедет Татьяна Николаевна и ошпаренными своими пальцами все скомкает, сломает и все себе загребет. Не надо тебе, Ульянка, другой жизни, а выкормышу твоему и никакой жизни не надо. Подавай-ка все сюда, нам нужнее. Так, что ли? А Ульяна это просто схавать все должна, получается? А с чего? Из уважения к ней, что ли? Ага.

Это, значит, все, что Ульяна вилами по воде нарисовала, отдать ей, пусть жрет? Новостройку в Одинцове, где тесная, но уютная квартирка, кухонька-комнатка? А ведь туда уже новый жилец въехал, Сашин сын, сладкоежка; Ульяна не за себя теперь старалась, не за себя одну. Она успела уже покатать его ко-

ляску по одинцовским прямым улицам, примерилась к каруселям, к песочницам, детскую поликлинику уже заметила, разведала и где «Пятерочка», и где продуктовый рынок. Уже по-другому, как местная жительница, посмотрела из-за МКАДа на зарево ночной Москвы, когда-то несбыточное, а теперь сияющее лично ей, как горящее в темноте окно — замерзшей мошке. И вот теперь, когда уже были туда маршруты проложены и тропинки протоптаны, что же, и это, и все остальное надо было похерить — только потому, что Татьяна Николаевна так сказала? А она-то, а Ульяна-то когда уже будет жить?

Нетушки.

Подошла Ульянина очередь и становиться, и быть. Она долго ждала, тридцать лет ждала и не пиздела, а теперь она уже отступать не станет. Потому что следующего раза может и не быть.

Развернулась и пошла обратно к Артуру Ивановичу. Нужно было гнуть реальность, пока та гнулась.

Тот ее увидел — даже не удивился.

— Что-то еще?

— Я беременна, — сказала ему Ульяна.

— Ну вы же прислали снимок. Я как бы в курсе.

— А если он не выкарабкается? Саша. Я же обязана об этом думать. Что я тогда? Куда? Одна с ребенком.

— Понимаю, — он ей в первый раз кивнул с сочувствием.

— Распишите нас, — тихо нажала Ульяна. — Я на это имею полное право.

— А вы не слышали, да, все что я до этого? Он же без сознания...

— Распишите.

Он сначала насупился озадаченно, как бы пытаюсь вместе с Ульяной найти решение этой нерешаемой проблемы. Сошлись взглядами — и дальше уже глазами друг друга ощупывали, чтобы удостовериться, что поняли друг друга. Лицо у него теперь совсем другое стало — то он будто спал, а теперь проснулся.

— Это будет...

— Да.

Он поднялся, подкрался к двери, проверил замок, снова пощупал Ульяну, отвернулся от нее, встал у окна, как будто там ему интересней было.

— Ну единичка, — невнятно, затылком произнес он.

— Что?

— Единича.

— Это что значит? — растерялась Ульяна.

— Миллион.

— Да откуда у меня?.. — поразились она. — У меня всего-то двадцать семь тысяч на карте осталось.

Он обернулся к ней, развел руками; лицо сочувственное.

— Ну это вот столько стоит, к сожалению. А что вы на меня так смотрите? Я же не себе это забираю. Тут такое количество народу надо подключить, и всем дай, — еле слышно, мягко, как бы извиняясь, стал объяснять Артур Иванович. — Вы же меня о чем просите?

— Я вас прошу меня расписать с моим женихом, — уперлась Ульяна.

— Вы просите меня пойти на должностное нарушение. Пациент находится без сознания. Как он может выразить согласие о вступлении в брак?

— Он мог бы на секунду в сознание прийти и...

— Так не бывает, к сожалению. Это же процедура! Сколько глаз. И сколько ртов. Сотрудники ЗАГС, сотрудники госпиталя, — принялся перечислять Артур Иванович все так же виновато, сконфуженно. — Непосредственное начальство, контролирующие инстанции... Вы понимаете, было бы это между мной и вами, я бы вас с радостью зарегистрировал совершенно бесплатно. По закону. Но то, о чем вы просите, — это не по закону. Это даже не просто превышение...

Теперь он вернулся уже за стол, наклонился к Ульяне и мурчал, мурчал — вкрадчиво; он не обвинял ее, не вымогал, он уже стал ее сообщником, он ей по-партнерски честно, доверительно всю механику раскладывал.

— Я из Вологды сюда, мы в Вологде живем. От полочки до полочки, сорок тыщ, — беспомощно сказала Ульяна. — Где мне этот ваш миллион-то взять?

— А вы одолжите, — посоветовал ей Артур Иванович.

— У кого? За день вот так вот?! — отчаялась Ульяна.

— Найдете. Мир не без добрых людей.

Он перешел на Ульянину сторону, присел рядом с ней на корточки и заговорщически шепнул ей:

— Вам же пять миллионов светит, а то и больше. Неужели вы на единичку и не перекредитуетесь?

Ульяна хотела спорить, но он уже встал на ноги и ей стал помогать подняться, уже повел ее, приобняв, к выходу, а то у нее у самой ноги путались.

— Ну и вы не затягивайте там особо... Да хотя что я говорю, да? Разумеется, вы и сами все прекрасно понимаете.

Она закивала: понимаю. Загипнотизировал.

Высунулась, а там наводнение. Свернулось все лето, ливень косой сек, как стальная проволока, деревья дугой, белые пакеты летали, поднимались из больничного двора хороводом к черным небесам. Воздух стал тугой, плотней воды, не пускал Ульяну, выталкивал.

Она без зонта, в свадебном своем, на шпильках по грязным ручьям кинулась к остановке. Вся вымокла, продрогла как собачонка, еле дождалась автобуса, который приплыл по этим мутным потокам, запрыгнула внутрь, прижалась к окну и обмякла.

Ну вот, она хотела, чтобы ей цену назвали, ей и назвали.

Жизнь поменять стоило столько, сколько у нее и не было никогда. Такие вот в их Москве на это были прайсы. Катись-ка давай обратно в свою Вологду, Ульянчик, в свою конуру.

По жестяной крыше барабанило, дворники не успевали раздвигать воду, и впереди, над Москвой, молнии вспыхивали сразу целыми сетями, как будто у неба горела проводка.

Ульяна была жалкая, грязная, как вдавленный в грязь дождем тополиный пух. Бессильная.

Ну а может, все будет нормально?

Саша оклемается, Ульяна убедит его, чтобы они вместе его матери слово против сказали, чтобы он заступился за нее. Заступится ли? Кто у него настоящая-то хозяйка? Уж не Ульяна, точно. Приедет мать, дернет его за поводок, крикнет «место!», он опять и подождется, как в тот раз. Вот тебе и все «нормально». Или что? Или примет она Ульяну, но на своих условиях, попадет Ульяна за такое благословение к Татьяне Николаевне на службу, пожизненно. Поплохело уже от одной этой мысли.

А если он умрет? Не приходя в сознание.

Ливень хлестал, а дышать легче не становилось. Ехала как в аквариуме. Снаружи духота, и внутри духота. Стекла запотели, как будто целую машину пьяных везли. Ульяна тупо глядела в запаренное окно и пальцем со свежеевыкрашенным ноготком медленно выводила на запотевшем стекле переливающееся слово «ХУЙ».

В метро она болталась на подземных виражах вместе со всем вагоном вправо-влево: весь вагон полон таких же людей был, весь поезд. Все были с гибким хребтом, всех мотало. Друг на друга никто не смотрел, знали, что нечего там и высматривать. У всех глаза были обращены внутрь, а если у кого и на телефон, то осторожно, с оглядкой на соседей. Украшены вагоны были рекламой службы по контракту.

От метро до дома Ульяна даже не бежала: вся была так и так мокрая, уже без разницы. Вдоль тротуаров такие потоки бурлили, как арыки в кишлаках. Казалось, они такие глубокие, что можно в них запросто утопиться.

Но потом залезла в горячий душ, и душ ей кровь хоть как-то подразогнал, подзарядил Ульяну упрямством. Можно было еще побороться чуть-чуть, чуть-чуть побарахтаться. Артур Иванович, конечно, во всем оказался прав — к примеру, в том, что у Ульяны было, на самом деле, у кого одолжиться. Надо было ей теперь до конца, до упора идти, раз уже так далеко забралась. Еще раз попытать удачи.

Поругались вчера, да. Но все-таки они ее пустили к себе, ужинами кормили вон, спрашивали даже про Сашу, дядя Максим через губу, а тетя Марина так прямо искренне. Что тетя Марина ее жалеет, Ульяна чувствовала. Такие вещи через голос, через взгляд знаешь — видит человек в тебе кровь и по-семейному прощает, потому что семья ему важнее, чем политика какая-то. А тем более, она и сама так сказала. Чуть-чуть заворковала в груди надежда. Мама с тетей Мариной друг друга любили, в детстве играли вместе, в деревне. Дядя Максим — гиблый вариант, а тетя Марина, может, и уговорится. Она добрая. А может, и он Ульяну тоже пожалеет? Не совсем же он бессердечный, хоть вчера и дал завуча. Беременность все-таки.

А больше Ульяне за этим идти не к кому.

Дождалась тети Марины. Пришла к ней в кухню чаевничать. Чисто кошка беременная с гулянок возвращается и трется об ноги хозяев, чтобы пожрать насыпали, подумала она сама про себя.

— Привет, Ульяш, ты как?

— Да так... Теть Марин. А можно это... Денег у вас попросить? В займы.

— Конечно, разумеется... — заторопилась тетя Марина. — Подождешь? Я за кошельком. Или тебе лучше на карту?

— Нет, мне нал надо...

— А сколько? Тысяч двадцать хватит? Тридцать? Не знаю, сколько у меня...

— Теть Марин. Мне миллион надо.

— Сколько?..

— Ну миллион. Рублей просто, если что, — улыбнулась ей, как сумела, Ульяна.

Тетя Марина застряла в дверях, подергала бровями, потом вернулась к Ульяне, присела.

— Тебе зачем столько, Ульяш? Все в порядке? То есть...

— Да ничего не в порядке, тетя Марин, — улыбка так и присохла, мешала ей говорить. — Это у меня в больнице взятку просят, надо дать.

— Какой кошмар... А за что взятку, Ульяш?

— Чтобы меня с Сашей расписать. Без денег не регистрируют. Не женят.

— Как это может быть? — не поверила тетя Марина.

— Ну так. Он без сознания там. Его прооперировали сегодня вроде.

— И как прошло?

— А мне не говорят, я ж ему никто, получается. В реанимации только родственникам отвечают.

Тетя Марина устала глядеть на Ульяну; осмотрела чашку, тарелку, коньячную бутылку.

— Ну все-таки миллион... Миллион за такое просить. Совсем уже, что ли, они обнаглели?

— Я верну.

Пообещала ей это уверенно и потом уже только спросила себя — а когда вот она вернет? Тетя Марина тоже быстренько так вскинула на нее глаза — и сразу отстала, быстрее, чем Ульяна смогла бы заметить. Но Ульяна все заметила, прочла: откуда ты отдавать-то собираешься, из каких денег?

— Там положено женам компенсацию просто.

— Да не приведи господь...

Тетя Марина собралась с мыслями, погладила, как тогда, Ульянины пальцы. Холодным. И веко у нее дернулось.

— Я... Сейчас Максим вернется, я поговорю с ним, хорошо? Мы же все понимаем. Мы все понимаем.

• • •

Пока Сашки не было, от Татьяны и не зависело ничего. Явилась в военкомат, отметилась, все свои вопросы обычные задала: совесть почистила, ну, ступай домой. Армия ее, да, пускай что футболила, но зато и всю ответственность за судьбу сына на себя брала: разбираемся, не лезьте. Она и шла домой обои клеить — что могла, сделала, а еще-то тут что сделаешь?

Но когда Сашка нашелся, тут уже перевалило груз и Татьяне на плечи. Теперь она про него знала, и уже не получалось клеить ровно. Вот что он там со своей операцией? Как прошло? Надо было спросить.

Стала писать этому Алексею. Он дрых, что ли? — молчал. Отправила Ульянке сообщение — та тоже в отказ. Накричала на Виталю, что руки из жопы, а на Светку — что накрасилась как прошмандовка. Уже говядина проварилась, Татьяна и сняла с бульона мясную пену, и картошку бросила, а никто не отвечал. Семья вся от Татьяны попряталась, как тараканы, от греха подальше.

В тишине зато думалось лучше.

Значит, все уже Ульянка про Сашку знает. И говорила с ним. А ведь, не спроси ее Татьяна, сама бы не создалась. А чего бы ей не сказать Татьяне-то? Зато вот отравилась как кстати, суши она поела, беременная. Это ведь и Татьяна знает, что беременным сырую-то рыбу нельзя, а ведь она еще когда рожала — тогда и суш-то никаких в помине не было. Ульянка же современная вся из себя — неужто не соображает?

А что тогда? Ну вот что?

Нашинковала пока капусту и позвонила Алексею. Упрямо звонила, чтобы он заколебался уже слушать, как у него жужжит. Подождала и дождала его: подошел.

— Алло. Алеша?

— У аппарата.

- Я вот чего... Как там Сашка мой? Не привезли еще?
- Так куда его привезут? Там в реанимацию же сначала.
- А как прошло, не знаешь?
- Нам не сообщают.

У Татьяны во рту пересохло, она пожевала, чтобы расклеить его. Алексей поспел немного, потом пожалел ее, прибавил:

- Ну, вещи тут его. Если бы че вкось пошло, вещи бы выкинули и уже следующего кого-нибудь прикатили. Так что живой.
- Ох, ну слава тебе, господи. Спасибо тебе, Алешенька.
- Да вы это, не волнуйтесь вы так. Тут и не таких собирают.
- Ну как это не волнуйтесь... Вот будут у тебя свои...
- Спиногрызы-то? — с задержкой ответил он. — Дак

у меня и есть.

- Ну вот тогда. А много? Детей?
- Ну, двое.
- Сыночки?
- Девчонки. Три и пять.
- Приезжали к тебе?
- Жена приезжала, а детей я сказал, что не надо. На хера? — Алексей слышно втянул сопли. — Чтоб всякая херня им потом снилась?

Татьяна вздохнула.

- Ну... А Сашка-то как там мой? Не скучает, что у него никого нету? Я вот собиралась уж, пришлось отложить. А тут операция...

Алексей гыгыкнул там, на том конце провода, харкнул. Кому-то ответил в сторону неразборчиво. Потом вернулся к Татьяне.

- А че это он один-то? Он и не один. У него ж невеста дежурит.
- Какая еще невеста? — обмерла Татьяна.
- Ну евонная. Долговязая такая. Не знакомы, что ли?
- Не Ульянка?

— Во, точно. Хотел Юлька сказать, а она Улька. Она же тут его женить на себе собралась, вы на свадьбу-то хоть будете?

Ну и все тут.

Тут опять шум, капотен, крикнула, чтоб Светка билеты покупала до Москвы, а Светка уже свинтила куда-то и к телефону не подходит, и эта сучка, конечно уж, не подходит тоже, раз сто ей Татьяна позвонила точно — ничего. Не сдержалась, написала: «Я с тобой по-человечески, а ты со мной как, гадина?!»

Вот как так?! Как людям доверять после этого? И коттедж придуманный, где все бок о бок мирно жили, стал сразу разваливаться, и другое, хуже: схватил страх, что Ульянка вообще у матери сына угонит. Если ведь она на такое способна — взять, обмануть, тайком поехать, в одно рыло на себе его женить, — что дальше-то? Дальше и вообще убедит Сашку, что мать ему не мать, заберет его и спрячет, а он ведь совершеннолетний, что тут Татьяна сделает, если он женат, Ульянка поди напоет ему всякого, нальет в уши, так что он и от матери откажется, и от отца, и тут ипотека только одно, а она ведь так и вообще от семьи его, чего доброго, отвадит!

Татьяна стала требовать от Витали, чтобы вез на вокзал, чтобы сегодня же ехать ночным поездом, а он вдруг поди да заори, что не пустит ее в таком состоянии. Татьяна хотела уже с ним драться, да голова закрутилась, села на диван и просидела так: все гудит, мошки огненные летают. Только вроде стало полегче — заходят люди в синих комбинезонах: Виталя скорую вызвал. Давай ей мерять давление, а оно шкалит, вот вам ваш капотен, ничего и не помогает; сидите, говорят, мы вам ни в какую Москву не разрешаем, а если будете тут права качать, то еще и по неотложке увезем, вам по-хорошему не в поезде бы ночевать, а в горбольнице, под присмотром. Ладно, прикинулась им смиренной, они ткнули ее толстой иглой в сгиб, врачаха была совсем девчонка, еле попала, сделали ей капельницу какую-то, стало

вроде полегче. Ехать в ночь точно запретили, настрого, а завтра уж, мол, будете сами думать.

Ну вот только скорой Татьяна сдалась. Скорая все ж таки знает.

Написала Светке, чтобы брала ей на утро на самый первый, пускай даже и на шестичасовой. Включила телевизор смотреть, а там — «Давай поженимся». Тьфу ты, пропасть.

• • •

Максим рассекал на своей выдавшей лучшие времена «А-шестой» мутные воды Третьего транспортного и думал: не успеет это все просохнуть, как поедут все равно прямо с утра завтра поливалки. Эти чертовы поливалки Москву с утра до ночи скребли, патологическое какое-то стремление к чистоте было у городских властей, на грани с одержимостью. Скребут, скребут, скребут... От чего они отмываются-то? Известно, от чего. От того же, что твоя жена в зарослях прячет; что ты, в самом-то деле, как болван вопросы задаешь. Давай уж: с ней по-честному, так и собой по-честному. Бюджет-то у вас семейный общий, и вопрос еще, чьих там денег больше.

Набрал Кирюхе: как второй этап собеседований?

— Слуш... Ну вообще, прямо топ. Нормальная такая тетенька попалась, то ли психолог, то ли кто... Я шучу — она смеется, сама тоже шутит... Сказала, девяносто из ста, берут, остался финал босс... Позвонят, скажут.

— Ну... Дай бог. Поужинаешь дома с нами?

— Не, папуль... Мы с ребятами тут висим. Потом в барчик хотим, потом в клубешник. Надо же отпраздновать как-то!

— Не рано ли праздновать? Вот ты, конечно... — пробурчал Максим. — Куда только в тебя лезет... Посидел бы дома. Такая погода, а ты...

— На пенсии посижу. А ты как?

— На Трешке. Пытаюсь домой доползти. Все колом стоит из-за урагана. Держись, кстати, от деревьев подальше. Двух человек уже задавило вон... Видел в новостях?

— Окей, па.

Максим покрутил заглохший телефон в руке и бросил на соседнее сиденье.

Машины еле гребли, вода чуть не до середины колеса доставала — сливы же теперь декоративные все были, благоустраивались, зато центр теперь был сплошь гранитный и грандиозный. Гранит они стлали везде такого же цвета, как на Вечном огне, получалось торжественно, но отдавало воинским мемориалом, кладбищем.

В нулевых годах, когда и царь, и бояре все были молодые, пятидесятилетние, им все было нужно — большие деньги, красивые женщины, итальянские костюмы, дорогие машины, вкусная еда. Тогда и народу это все не возбранялось. Хорошие были годы — нулевые, думал Максим, хотя город весь и засран был тогда порядочно: кругом пестрые вывески, каждый пытался что-то купить и что-то продать, глаза друг другу мозолили... Зато пульсировала в Москве тогда бешеная либидозная энергия... Как и в Максиме. А сейчас — рекламу дикую поубирали, киоски снесли, вывески теперь все скромные были, буквы под цвет фасада... И вот это все... Плитка, гранит, строгость. Старость.

Марина ему объясняла, какой у них там был замысел, когда они зачищали город от лужковского базара: ремейк сталинского ампира. Хотели москвичей эстетически поместить как будто в безмятежные пятидесятые, но чтобы ревущие тридцатые за этой эстетикой просматривались и считывались тоже. Надо было очистить Москву от продуктов человеческой жизнедеятельности, которые выросли, как мох или раковины, на проекты деятельности государственной. Надо, чтобы людишки вспомнили свое место, а то в девяностые они слишком уж зарвались.

Но замысел замыслом, а исполнено было коряво, потому что доверили, как и все остальное, вору, а те — криворуким не-умехам. Зато своим. Ну и вот результат: на картинке все вроде солидно выглядело, а на деле ни черта не работало. Миллиарды потратили на эту плитку, на этот гранит, а стоки толком не спроектировали. Вот все дерьмо в них и застревало. И во всем остальном тоже дерьма было поэтому через край.

Люди стояли в пробке покорно, молча. В девяностые бы все гудели, подумал Максим. В девяностые все спешили куда-то. А сейчас все в свои смартфоны уткнулись и терпят. То ли терпеть снова научились, то ли спешить стало некуда.

А может, подумал Максим, неработающая ливневка — это, так сказать, не баг, а фича? Может, когда переделывали Москву, они намеренно заткнули сливы, чтобы уже залило все к херам, чтобы снова только одна верхушка Арарат-Хаятта торчала? Может, им самим это все уже опостылело?

Позвонила Марина, перебила мысль.

— Привет. Ты скоро?

— Ужинайте без меня, Марин. Тут коллапс.

— Я без тебя не буду. Я котлетки купила азбучные, прямо хорошие. Будешь парковаться — набери, я разжарю.

— Договор.

— Целую.

— И я.

Прощен, что ли, за вчерашнюю эскападу? Словно бы прощен. И позвонила сама, и котлеты... Неужели никакой не будет расплаты? Вчера казалось, что месяц с ним говорить после этого не будет.

А с другой стороны — ну куда они уже друг от друга денутся? Какую-то цену — символическую — придется, вероятно, заплатить. Но потом все забудется, потому что некуда Марине уходить от Максима, да и Максиму от Марины уходить совсем не хо-

чется. Называйте это любовью, если другого, более подходящего слова нет.

На дороге валялись сломанные тополя, выли сирены опричников, застрявших со смердами в одной пробке, ментовские мигалки пыжились-тужились разогнать мрак, но в их синих отсветах огромное черное брюхо навалившегося на Москву шторма становилось только еще гуще, еще плотнее, еще черней, и истерика слипшихся друг с другом насекомых где-то внизу на земле, конечно, никак не могла его пошелохнуть.

Максим любовался тем, как небо давит его город, и спрашивал у себя: почему мы так обворожены Апокалипсисом, почему постоянно его ждем и жаждем, что это у нас за такое дурное воспитание? Все тучные годы, пока страна упивалась нефтью, прошли как в дурмане, в самозабвенном набивании брюха, а почему? Вот именно потому что каждому казалось: все это благоденствие скоро кончится, проснешься назавтра — и окажется, что это был просто сон, не может же у нас так долго быть так сладко, так что надо пихать в себя еще и еще, пока сон не развеялся. А иллюзорность с чего бы? А из ощущения ненадежности, незаслуженности этого благополучия...

Этому НЭП нас, что ли, научил, тому, что семь тучных коров непременно будут забиты, спрашивал у себя Максим. Или это революция, которая все накопления в стране реквизировала? Или это еще дореволюционный у нас комплекс какой-то, убежденность в том, что мы самой историей обречены на страдания? Православный мазохизм? Или это от Ивана Грозного, который опричников запускать зарвавшихся бояр потрошить? Но вот ему лично, лично Максиму-то — какое дело до Ивана Грозного? Тут же должно быть на своем опыте замешанное чувство... Откуда тут ноги растут? Из бабушкиных рассказов о голодных военных годах? Из детских воспоминаний, как с родителями за колбасой в суточных очередях стоял, потому что сервелата давали только одну палку в руки, так что Максимовы ручонки были не лишними? Ах,

колбаса-колбаса, священный символ... Когда можно стало сколько угодно колбасы в одни руки, мы от счастья просто обезумели и стали эту бесконечную колбасу жрать. Потребительская булимия, до рвоты. По себе помнил — плееры, видеомэгнитофоны, плазмы, телефоны обязательно чтобы последние, машины немецкие, еще, еще, больше, быстрее, пока все не отобрали.

И чем больше набивали брюхо, тем трудней становилось дышать. Тем явственней и грозней маячило впереди очередное обнуление цикла, которое неизвестно чем будет на сей раз вызвано, но которого точно никак и никому не избежать. Все будет отобрано, все сгорит в вечном огне. Такое вот копилось в воздухе предчувствие — необъяснимое и непроверяемое. Как сказал классик: «Немцы делают вещи, мы ебашим трагизм».

Ну а вот все угрозы ядерной войной малохольному Западу по зомбоящику? Все эти ракетные учения, испытания, это вот что? Они ведь смакуют это, им это самим нравится. Это они только думают, что они ядеркой бряцают, чтобы Европу с ее рациональным мышлением запугать, они только думают, что просто симулируют безумие, вон как у Шаламова на зоне блатные доходяги визжат, размахивая бритвой и себя же ею калеча, чтобы нагнать страху на арестантов крупней и сильнее них. А на самом деле их тоже Апокалипсис завораживает. Достигли, бедолаги, пределов материальной экспансии, осознали, что исчерпали этот мир, и теперь готовы его обнулить, лишь бы вместе с ним и самим сгореть — потому что их от самих себя нестерпимо тошнит. Экзистенциальный ужас. Суицидальный синдром. Эсхатологический угар.

Хорошо сформулировал, сукин сын. Максим глянул на себя в зеркало.

Все равно стояло.

По «Орфею» играл Бетховен; ехал бы Кирюха на пассажирском, сказал бы: нормально так под картинку залетело, спасибо. Хотя до дома и втрое дольше обычного добирался, под такой саундтрек в целом даже славно вышло. Умничать Максим умни-

чал, а Апокалипсис ему тоже был в целом симпатичен. Плоть от плоти народа, так сказать.

Когда парковался, набрал Марине, сообщил; где-то там зашкворчали уютно азбучные котлетки, ожидая, пока Максим поднимется в лифте, умоет руки и прошествует в кухню.

У Ульяны было закрыто, из-под двери бил клин света. Ну, пусть там сидит. Чуть-чуть только в Максиме бултыхалось к ней вины, как в винной бутылке — осадка, и то исключительно из-за собственной толстокожести относительно ее беременности. Но эту вину легко было отогнать — просто вспомнить, как она своего головореза защищала. Как овчарка.

Марина ждала на кухне. Он поцеловал ее в щеку — щека была натянута. Может быть, со вчерашнего еще не улеглось.

— Ну как там? Кошмар?

— Тьма окутала обожаемый прокуратором город, — пошутил Максим.

— Бедняга. Сколько ехал? Три часа? Будешь? — она дотронулась до бутылки с виски.

— Давай.

Марина налила ему на два пальца, положила льдинку. Максим сделал большой глоток: дом, милый дом. Так ведь?

11.

Сухими оказались ее котлеты, но Максим не стал их ругать, а давился ими послушно: такова уж была цена примирения. И разговоры все лились пустые, светские — сначала апдейт по цифрам поваленных ураганом деревьев и придавленных ими людей, потом планы на выходные, потом отпускные фантазии, и так дальше они танцевали вокруг промоины, которая у них в кухне вчера вечером образовалась, вокруг черного провала без дна.

И то, как Марина старательно его вела в этом танце подальше от краешка, заставляло Максима все время об этой черной дыре вспоминать. Ульяна все сидела у себя в комнате, но он не хотел спрашивать про нее, не хотел призывать ее в кухню. Пусть как будто сегодня это не сегодня было, а позавчера, до ее приезда в их жизнь.

Но вот все котлеты были пережеваны, вот забрала Марина у него пустые тарелки, вот принялась загружать посудомоечную машину аккуратно, не грохоча — и вот от нее, не оборачиваясь к Максиму, она сказала:

— Ты представляешь? У Ульяны в госпитале вымогают взятку.

Он помолчал, а Марина все ставила тарелки, ставила: аккуратно, большие отдельно, маленькие отдельно, кружки в верхнюю секцию, вилки-ножи в специальную корзиночку. И, хотя виски уже взял Максима к себе на ручки, уже начал его ласково качать-баюкать, он через накатывающую сладкую дремоту увидел сначала

одну железную детальку, из которой Марина предполагала скрутить вечерний разговор, потом другую, а потом третью.

— Представляю, — хмыкнул он. — Как-то примерно так я себе все это и представляю.

Стало свинчиваться в понятную конструкцию все это: и виски, и котлетки, и разговоры ни о чем, все эти предварительные ласки; начала проглядываться сочиненная Мариночкой драматургия вечера. Стали края ямы осыпаться, как ловушка муравьиного льва. Максим отодвинул бокал.

— И сколько просят?

Первое чувство было такое: торжество. Торжество от того, что он оказался прав — и вчера, и вообще. Заманивают, перемалывают, калечат, а лечить соглашаются только за деньги — за те же деньги, которыми и соблазняли. Не откажешь в изяществе. Почти безотходно — только отрезанные руки-ноги на помойку. Вот тебе и точка во вчерашнем споре, жизнь сама поставила.

— Миллион. А у нее денег всего осталось двадцать шесть тысяч.

Что просят не у Ульяны, а у них с Мариной, Максим понял сразу. Конечно, сначала прижало — чисто рефлекторно, такой просто спазм малодушия случился, но Максим его, едва успев в себе услышать, переборол. Он тех, кто был его слабее, жалел — и часто жалел деятельно. Деньги были немаленькие, но для них не последние. Вдохнул, выдохнул, разжал кулак.

— За что? За операцию? — спросил он. — За реабилитацию?

Ее еще можно было пожалеть, Ульяну. Можно было простить ее. И именно потому что государство ее пыталось расплющить, все у нее отобрать, и нужно было протянуть ей руку, вытащить из-под катка. Он вспомнил, как почти сумел полюбить ее вчера, до перепалки из-за телевизора. И ладно с ним, с миллионом. Ну, миллион. Десятка евро, чуть больше. Можно дать, и ничего взамен просить не надо — просить чего-то в ответ мелочно, недостойно. Должны же мы чем-то от них отличаться, в конце концов.

— Это не за лечение. Ее не расписывают без взятки.

— Что?

— Отказываются регистрировать брак.

Его это озадачило: с какой стати вдруг за брак миллион? Нерыночная была какая-то цена. За жизнь можно столько просить, а за свадьбу?

Марина наконец повернулась к нему лицом — отрешенным. Максим хмурился, но подсказок не спрашивал. А она ждала, что он сам поймет.

— Он плохой совсем, может умереть, — продолжила она все-таки. — Хотя у нее вообще-то есть право в тот же день, как подались, зарегистрироваться. Для участников СВО такой закон есть...

— Прости, что? — Максима обожгло это прямо. — СВО? «Эс-вз-о»? Мы это так тоже теперь будем называть, да?

— Не придирайся, Максим. Это их юридическая формулировка... Ну как ты хочешь, чтобы я сказала? Участники военных действий?

— Это не юридическая формулировка, Марина. Это пропагандистская формулировка. Мы же с тобой обсуждали это, ты не помнишь? И не раз.

— Я помню, — она закатила глаза. — Я помню, да. Что они нас принуждают называть это «СВО», потому что через язык программируют сознание... Разрешают обсуждать это только в установленных ими терминах... Заставляют принять это... Маркируют нас... Делят на своих и на чужих... Проверяют на лояльность. Потому что, если мы соглашаемся называть войну «СВО», то мы как будто уже принимаем ее нормальность. Так? Все правильно? Максим, можно ты дашь мне досказать?

— Я дам тебе досказать, если ты будешь называть войну войной.

— Хорошо. Участники войны.

— Спасибо, — цыкнул Максим.

— Ну и вот... Ей вчера отказали, сослались на занятость, а сегодня уже взятку требуют. Просто вымогатели какие-то! — Марина поглядела на него ищуще.

И вот тут дошло, дошло и накрыло. Все проявилось. Был у него в детстве случай, когда родители его в кукольный театр привели, в Образцова. И в какой-то момент свет так неловко упал, что у марионеток все лески блеснули.

Максим поковырял ранку на скатерти, пытаясь себя удержать, пытаясь не сорваться во вчерашнее. Не получилось.

— А! — протянул он. — Так она жениться сюда, что ли, приехала?

— А что тут такого? Она беременна, Максим! Приехала, да. А что ей остается делать?

— Понятно.

Он взял стакан, отхлебнул. Ледышка мелко звенела о стекло. Рука дрожит, понял Максим.

— То есть это в гробовых все дело?

— Максим...

— Ну ты красиво все это обставила, Мариночка.

— Неправда! Я тебе все честно, Максим! Ты же знаешь, я ненавижу манипуляции...

— Ладно. Ладно, неважно.

— Нет уж, давай. Я могла бы, между прочим, сама пойти и снять, со своего счета. Но я решила, что это будет нечестно... Неправильно. Такие решения мы должны вместе...

— Вот именно! — заорал он. — Вот именно! Такие решения! Ты меня втягиваешь! Она тебя втянула, а ты втягиваешь меня!

— Максим. Речь не идет о том, чтобы вообще ей это... Мы бы просто дали ей взаймы... И она потом вернула бы нам все, как только смогла... — Марина запиналась.

— Да без разницы! Не в этом же дело! Ей давать, на это, а потом у нее же и забирать? Из этих ее гробовых?!

Он вскочил.

— Я не хочу! Я не буду в этом принимать никакого участия, ты слышишь?! Хватит паялься! Я всю, всю свою жизнь еле-еле, ты сама знаешь, с каким трудом выстроил, организовал так, чтобы не замазаться в этой гнуси! И ты мне предлагаешь — что?! Дать взятку, чтобы эта твоя цаца могла получить гробовые за своего жениха?! Нет, Мариночка! Нет! Ни мы с нашего счета, ни ты со своего! Нет, нет и нет! Я отказываюсь в этом участвовать! Ясно? И этот разговор окончен!

— Она беременна! Беременна, Максим! Ей нужны эти деньги! Как она будет воспитывать ребенка?!

— Беременна?! А ты уверена, что она вообще беременна?

— Максим...

— А что?! Я вот лично ничему уже не удивлюсь!

— Остановись, я тебя прошу. Давай хоть дверь прикроем...

Но было поздно. В проеме стояла Ульяна. Лицо у нее было белое. Руки скрещены на груди.

— Вам УЗИ, что ли, показать? — проговорила она. — А, дядь Максим?

— Да не надо мне твоего УЗИ! При чем тут УЗИ вообще!

Максима на секунду стыдом ошпарило, а потом сразу злой радостью, что вскрыется уже хотя бы этот нарыв.

— А что тут вообще при чем? — мертво сказала Ульяна.

— Послушай-ка, Ульяночка... Я не хотел тебе этого всего говорить... Может быть, Марина действительно права и ты тут просто жертва обстоятельств...

— Да вы говорите-говорите, че уж там.

Она шагнула в кухню, уперлась в Максима — того же роста, что и он. Костлявая, бледная, глаза углями, желваки ходят. Максима оттолкнуло от нее, как от магнита с тем же полюсом.

— Ты же не можешь не понимать, что это за деньги.

— И что это за деньги?

— А то. Это деньги за убийство людей. За убийство украинцев. Вот ты эти деньги себе хочешь забрать.

— Максим, пожалуйста! Ну опять ты на броневик полез...

— Я никуда не полез, Марина!

— Это война, Максим! Там две стороны воюют! Все стреляют друг в друга! Это не так просто, как ты описываешь... Они тоже там в нас стреляют... Там все жертвы...

— В нас? В кого это — в нас?

— А вот в нас, — ответила Ульяна. — В наших.

— Секундочку. В нас? Вот мы, тут, дома. И в нас не стреляют. Потому что мы не стреляем в них. Потому что мы не хотим никого убивать. А эти деньги — именно за убийство! Я это говорил и говорю! И вот она хочет их присвоить! Наследство такое, понимаешь?!

— И что? — холодно сказала Ульяна.

— Как — что? — опешил Максим.

— И что, что наследство? Я ему сына рожу. Ну наследство, да.

— Такое вот наследство?!

— Какое есть.

— Что ты несешь?! Ты вообще понимаешь, что ты несешь?! Все, отвали! Отстань от нас! Иди в банк, я не знаю, бери кредит и вот из этих денег плати за что хочешь! Это твое дело, а нас не впутывай!

— Да кто мне кредит-то даст... Вы че, издеваетесь, что ли?

— Я не знаю! Я не хочу знать! Это меня не касается и не должно касаться!

— Если вам денег жалко, так бы и сказали, — улыбнулась Ульяна.

Максим сделал шаг обратно — почти прижался к ней. Его трясло, голос от бешенства срывался в сипение.

— Ты у нас в доме, у меня в доме живешь, и ты такое мне говоришь?! Ты за гробовыми сюда приперлась! Ты его хоронить примчала, своего Сашу! За деньгами, за бабками, за баблосиком! За шестью миллионами, или сколько там, на которые он там людей настрелял! За призовыми! Чтобы тебе тоже перепало! Тебя

саму-то от себя не тошнит?! Я даже не знаю уже, кто из вас двоих хуже — он или ты!

— Максим! Зачем ты на личности... Максим!

Марина заплакала, но от ее слез Максим только еще больше взбеленился — его этими слезами хотели растворить, хотели ему вину впрыснуть, чтобы у него внутри размякло; а он, загнанный в угол, сейчас и ударить ее в себе чувствовал силу. И желание.

— И ты еще у меня, у меня на это просишь! Вот что он недополучил за тех, кого не успел убить — ты это хочешь у государства забрать, и еще чтобы мы тебе с этим помогли, так?

Маринины слезы тут ничего не решали, ничего не давали. Он хотел, чтобы она тоже зарыдала, Ульяна. Может, тогда бы ему полегчало чуть-чуть. Тогда бы он перестал ее ненавидеть. Тогда бы хоть горло разжалось.

• • •

Они там так в кухне кричали, что не пришлось даже особо подслушивать. Терпела-терпела — и не вытерпела. Как обычно, короче.

Ну и вот он перед ней стоял, брызгался в нее слюнями, а Ульяна имела ответ наготове, хороший, крепкий и тяжелый, как кастет, ответ. Она только держала пока руку с этим кастетом в кармане, ждала: он остановится или нет, как его тетя Марина просила?

И сейчас все, что он ей швырял в лицо, не долетало. Ничего там нового не было. Даже и хорошо это было все услышать, лучше от дяди Максима, чем от себя самой. Он весь вспотел, так старался, а Ульяна сберегла злость. В ней радость поднималась со дна, темная. Если б он сдал назад, то и она бы сдала. Но он не захотел, так что и она не захотела. И теперь вот, когда дядя Максим ей все эти внутренности свои вывалил, она не поморщилась даже. Высказала ему все чепенько.

— Саша не за этим поехал. Я вам говорила, вы не услышали. Потому что про бабосики — это вы тут, дядь Максим. Саша туда поехал, потому что ему мать сказала. Потому что так надо было. Долг, слышали слово? Стране надо. Что, думаете, он не понимал, что там всякое может? Понимал. И не зассал. В отличие от вашего Кирюшеньки.

Ну и сразу — чем он там надулся, чем хотел ей ответить, — все обратно проглотил. А Ульяна, которая себя весь день чувствовала бессильной, в этом кастете в кармане почувствовала ту самую нужную приятную тяжесть, которой ей так не хватало. Без которой ее мотало.

— Что ты имеешь в виду?

— А то и имею. Он-то вот у вас повестку получил, что сделал? Сдрикнул, вот что. В Грузию свою. Думаете, я не знаю?

— Да какое тебе дело... И какая вообще разница?! — запыхтел он.

— Прямое, вот какое. Вы тут это все мне — что правильно, что неправильно... А че, правильно это, что мой Саша без ног валяется, неизвестно, выкарабкается еще или нет, а если и выкарабкается, все равно колясочником будет пожизненно! А ваш Кирюшенька вон шляется, отплясывает в клубешниках своих, тусит, бухает ночи напролет... Телок клеит. Это что, честно?

— Что за бред...

— А его, между прочим, призвали, в отличие от Саши! Может, это он за вашего Кирюшу пошел...

— Ульяночка ... — скользко схватила ее за руку тетя Марина, но Ульяна ее руку скинула.

— Да что такого-то?! — опомнился дядя Максим. — Кирилл сделал свой выбор! Сделал выбор не участвовать в этой войне, в этой бойне! И мы еще из-за этого должны себя теперь чувствовать виноватыми, что ли? И, между прочим, все повестки за тот год уже давно отменили...

Но он уже задребезжал, трещинами пошел, зашатался. И вот тогда Ульяна достала свой кастет тяжеленький из кармана и вьебала ему за все разом:

— А знаете что? А давайте мы проверим, отменили или не отменили. Я вот пойду и заявление напишу на него. Что уклоняется. А на вас — что укрываете. Пускай его тоже забирают. Пусть послужит пойдет. Вот это будет честно. И катитесь вы все в пизду.

Посмотрела на его охувшую рожу, секунду посмаковала, развернулась и пошла.

— Ульяна! Ульяночка, куда ты?

Сначала к себе, сумочку с документами взяла и зарядку — и потом на улицу.

— Ульяша, вернись! Там дождь!

Да по хую, что дождь.

Промокла за минуту, и ничего: от дождя ей не было ни мокро, ни холодно, и штормовой ветер ее только вперед толкал, она вся была как парус. Пульсировала в ней сила, сидело внутри четкое знание, что делать. Забежала в кофейню, придвинула табурет, открыла ИИшку, ChatGPT.

В мокрый от дождя экран стала вдавливать ускользающие буковки.

«Как правильно написать заявление в ФСБ?»

Знаем мы, как на вас управу найти. Спасибо, дядь Максим, что раскрылся, что подкинул идейку. Ссытесь — и правильно, что ссытесь: рыльце-то в пушку.

Чат думал недолго — секунды не прошло.

«Заявление в ФСБ России пишется в свободной форме, но лучше соблюдать официальный стиль и четкую структуру. Подать обращение можно:

- Через электронную приемную на официальном сайте ФСБ России

- Почтой
- Лично

- Через территориальное управление ФСБ по месту жительства.

Обычно заявление оформляют так:

В управление ФСБ России по _____ области. ФИО, адрес, телефон, e-mail.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, ФИО, сообщаю следующее:

(кратко и по существу изложите обстоятельства: что произошло, кто участвовал, какие имеются доказательства или свидетельства)

Прошу:

- Провести проверку указанных фактов
- Принять меры в соответствии с законодательством Российской Федерации
- Уведомить меня о результатах расследования

К заявлению прилагаю...

Дата, подпись»

Дальше ИИшка советовала писать без лишних эмоций, чисто по фактам. Если есть скриншоты — скриншоты прилагать, если документы — то документы.

Ульяна прочла раз, другой, третий.

Сила: вот что она чувствовала. Силой наливались, свинцом, руки и ноги. Никакой ветер больше не мог ее подвинуть с места. Была она никем, и все ее через хуй швыряли, а теперь она становилась кем-то. Теперь она могла спрятаться за государством, за каменным великаном, и не просто за ним спрятаться, а вскарабкаться ему на плечо и в ухо ему сказать: вот этого — в порошок сотри, как таракана его пяткой размажь, чтоб одно мокрое место осталось. И вот этого. И вот этого. И великан сейчас ее послушается, и сотрет, и раздавит.

Зазвонил телефон: «Марина Тетя Москва». Ульяна скинула.

Всю жизнь Ульяна ощущала себя говном, пушинкой, пустым местом — потому что не знала этого секрета. Секрета, как челове-

ком стать. Сила на земле валялась, надо было просто нагнуться, подобрать. Можно было и дядю Максима в бараний рог скрутить, и Кирюшу, и любого всякого вообще. Захватило Ульяну злое озорство. Всомогущество.

Сообщения стали падать — «Ульяша, приходи, поговорим, пожалуйста».

Ага, бля, щас.

Она открыла заметки, стала набрасывать текст.

«Сообщаю, что Саввин Кирилл Максимович, получив в сентябре 2022 года повестку из военкомата для прохождения службы на Украине на СВО, уклонился от мобилизации и скрылся в Грузию. Пробыв в Грузии несколько месяцев, Саввин К. М. вернулся в г. Москва, где находится сейчас, проживая в доме своих родителей, Саввина Максима и Саввиной Марины, по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 37, кв. 380».

Когда дошла до тети Марины, замедлилась. Тетю Марину не хотелось ей приплетать, на нее не хватало зла. Но без нее писать заявление тоже было странно, как будто дядя Максим укрывал, а тетя Марина в сторонке стояла. Да что ее жалеть, подумала Ульяна на секундочку, все равно менты все установят, хошь пиши, хошь не пиши. Интересно, какой срок за укрывательство тех, кто от службы сбежал. Хотела Ульяна спросить это у чатика, но постеснялась. Потом подумала, что матери скажет — что на двоюродную ее сестру заяву накатала? Такое мать не одобрит, конечно. Она, как и тетя Марина, в первую очередь за семью, а уже в десятую — за правду. Но матери, если что, не обязательно и говорить.

Это плохие были мысли, от них Ульяна обратно слабела, разжижалась. Чтобы помочь себе закончить обращение, она вспомнила опять, как дядя Максим орал на нее, как Сашу убийцей обзывал, и главное — как сомневался в ее беременности. А если ты меня такой сукой все равно считаешь, дядь Максим, то я для тебя такой сукой и буду. На, жри.

Погуглила сайт ФСБ — открыла страничку, где заявления подавать. Скопировала из заметок текст, кликнула в окошко, чтобы вставить. Это был удивительный момент, таких у Ульяны еще в жизни не случилось. Она замерла, прислушалась к себе. Внутри ртуть переливалась, тяжелая. Внутри все трепетало от восторга. И жутко было от себя самой. Это была власть, вот что это было.

Поддержала пальчик над кнопкой «отправить».

Ух как.

А потом еще кое-что придумала.

• • •

В ушах звенело так, будто тут только что стреляли.

Когда Ульяна хлопнула дверью, Марину как из розетки выдернули. Упала на стул, глаза тусклые, руки плетью. Подвигала еле-еле по столу солонку. Максима как будто в кухне и не было вовсе.

— Ну что? Что?! — встал над ней он. — В чем я не прав?!

— Максим, ты идиот? — тихо спросила Марина.

— Прости?!

— Ты зачем эту сцену устроил? Ты что, истеричка какая-то?

— Сцену?..

— Что ты все переспрашиваешь? Что ты все переспрашиваешь?! Зачем ты ей это все наговорил?! — она посмотрела на него с ненавистью.

— Я просто своим ушам не верю, — помолчав, отозвался Максим. — Это я теперь, что ли, виноват?

— Зачем ты такими обвинениями бросаешься?

— Марина! Какие еще обвинения? Я вещи своими именами называю!

— Ты его убийцей назвал! Откуда ты знаешь, убивал он или не убивал?

— Но готов же был убивать? Готов?

— Ты не знаешь его. Ты не знаешь, на что он там готов. Зачем? Зачем?! Это война, Максим.

— Только давай ты не будешь всю эту ересь тут заново повторять, ладно? Мы знаем, кто эту войну начал и кто ее мог бы в любой день остановить. Ты же не будешь сейчас, как эти все, говорить, что в войне всегда виноваты обе стороны?!

— Между прочим, — сказала Марина негромко, — между прочим, если бы Зеленский жалел своих людей, вот как хотя бы мы их жалеем, он мог бы просто уйти. Эвакуировался бы в теплое местечко под гарантии безопасности, и все бы сразу закончилось.

— Что ты порешь?!

— А что, разве это не так? С нашим-то все понятно уже: да, тиран, да, кровопийца, тут двух мнений быть не может. Но мы про него давно все знаем. У крокодила нет заднего хода. И будь он проклят за то, что это начал. Но их-то... Зеленский. Он-то что? Ну неужели ему своих людей не жаль? Своих собственных людей? Что это за патриотизм такой?

— Прекрати немедленно пороть эту чушь, я тебя умоляю. Ты вообще хотя бы осознаешь, что ты несешь?!

— Просто два мачо меряются своими причиндалами, а по обе стороны границы гибнут люди. Которые могли бы жить себе и жить. Вот что я сознаю, Максим.

Максим сел рядом с ней. Она по-прежнему не хотела его видеть. Они сорвались по сыпучему песку в яму, они падали вниз, с такой скоростью падали, что кишки к глотке прибились, и не было уже никакой кухни вокруг, не было никакой квартиры, была только одна чернота.

— Марина. Ты это серьезно? — еле-еле ворочая языком, словно инсультный, спросил у жены Максим.

Он вдруг почувствовал, что может с ней развестись.

— Ты ее очень обидел, Максим, — ответила Марина. — Она пойдет и напишет заявление.

— Да ничего она не напишет, Марин! Ничего! Это все понты пустые! Это все бабский шантаж! Симуляция истерики! Это блеф!

— Кого ты лечишь, Максим? — Марина покачала головой. — Кого ты тут на чистую воду собрался выводить?

— Ты знаешь... — тихо сказал он. — Ты стала какой-то другой. Вот после этой выставки про Мариуполь и... После этих кадров чертовых... Вот ты тогда еще стала другой. Вот раньше ты бы никогда не стала ее оправдывать. А теперь... Знаешь, почему? Потому что ты сама в это все одной ногой уже вступила. Ты не ее оправдываешь, Марин. Прямо вот на Мариуполе, я тогда еще подметил.

Марина перевела наконец на него глаза — опухшие, сочащиеся, схваченные красной паутиной. Губы у нее дрожали. Она вздохнула-ахнула и запричитала, как деревенская:

— Ты вообще понимаешь, в каком мире мы живем, Максим?!.. Ты ничего не понимаешь!.. Ничего!

Вскочила, схватила за телефон, стала звонить кому-то. Растапливала по коридору, закусив губу, писала сообщения — ну Ульяне, точно. Потом увидела, что Максим из кухни за ней следит, и закрылась в комнате.

Да не посмеет она писать заявление. На родных? На свою собственную семью? И из-за чего — из-за того только, что он все ей сказал, как есть? Да она сама все знает про себя прекрасно, она даже и не собиралась отпираться. Ну, наследство. Наследство и наследство, какое есть. Что он, ранил ее, бедняжку? Хватит даже думать об этом, смешно, просто смешно, ей-богу.

Как она зло про Кириюху. А он-то, балда, думал, что поладил с ней, что ее очаровал, что подружился. «Вашего Кирюшеньку». Вот ведь сука.

Ничего она ему не сделает. Чай, не тридцать седьмой на дворе. И Собянин правда заявлял, что от двадцать второго года повестки отменили всем, кого тогда не призвали. Была где-то новость, точно была, иначе они ни за что не позволили бы Кириллу вернуться.

Максим набрал Кирюхе — только зря гудки послушал. Каждый гудок еще царапал барабанную перепонку, еще поддавливал трепещущий лоскут в груди. Перенабрал — та же история. Написал ему сообщение — «Когда будешь?» — и сидел, как кретин, с открытым чатом в Ватсапе, ждал, пока тот соизволит прочесть. Потом вспомнил, что Ватсап для дедов, а Кирюха в телеге больше, написал в Телеграм. Там две галочки стало — доставилось, но читать Кирилл ничего не собирался. Вот чем ты занят таким, интересно, что прочесть не можешь?

Не надо было поддаваться на его нытье, не надо было позволять ему возвращаться из Грузии. Пообтерся бы там, закалился, дальше поехал бы, в Европу какую-нибудь, да пусть хоть в Таиланд. Нет, ему тут медом намазано, в Москве. Клубы, девки... Друзья его эти. А карьера? Да какую ты тут карьеру собрался делать, фантазер, тут одни только опричники карьеру хорошую могут сделать. Ясно же было, что ничего путного при жизни его поколения тут не будет уже, что все сломано, что, пока царь не преставится, никто даже ничего чинить не возьмется. Нет же, блин.

Он снова набрал ему. Три пропущенных, мог бы уже сообразить, что у отца к нему что-то серьезное. Что он, трахается там, что ли, в самом деле?! Да даже если и трахается!

Максим плеснул себе вискаря, рука дрогнула, перелил. Стал выбивать себе лед из формочки — уронил на пол. Нагнулся, попытался поднять — ледышка ускользала и в конце концов залетела под кухонный гарнитур, откуда ее было не достать. Лежала там, тянула, бесила. Как осколок, который хирург не заметил и не выковырял.

Он принялся искать доказательства того, что Собянин действительно отменил все лишние повестки. Отрыл октябрьскую заметку в «Коммерсанте». Перечитал. Да, отзывали все 17 октября 2022 года. Мобилизационные пункты в московских музеях были закрыты. Одновременно с этим о выполнении мобилизационного плана объявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ну вот. Ну разумеется. Отозвали. Пусть шантажирует сколько хочет. Сделал глоток, стал зачем-то искать дальше, черт знает зачем. И напоролся на какую-то статейку на «Медузе» о том, что мобилизацию объявлял Путин и только у него, дескать, есть право мобилизацию завершать, а он ее не завершил, так что формально она все еще продолжается, а в некоторых регионах и не формально.

Хлебнул еще, набрал Кириллу. Вокруг осколка воспалялось.

А потом в дверь зазвонили. Настойчиво, нагло. Максим пошел открывать, но Марина была там уже первая. Заглянула в глазок, поправила волосы, отодвинула мужа от двери: «Уйди».

Вошла Ульяна — насквозь мокрая. Ни здрасьте, ни полздрасьте, сквозь обоих них глядит, шмыгнула только носом, прошлепала мокрыми ногами в гостиную, уселась в Максимова глубокое кресло, врубила телевизор. Выбрала себе канал: «Россия».

Там опять шел этот цирк уродов, злые паяцы кривлялись, ведущий щелкал хлыстом. Максим прошел мимо, но достало и до кухни.

— А я считаю, и это мое мнение, что нормально совершенно их называть «хохлами». Мы кого так называем? Мы не всех украинцев так называем. Мы называем так тех, кто на Майдане скакал, кто скандировал там «Москаляку на гиляку». Тех, кто в Донбассе детей убивал восемь лет! Вот кого. Это, я извиняюсь, не украинцы. Это и есть самые настоящие хох-лы! И мы еще с ними будем церемониться, что ли? Нет, конечно! И никакой жалости к ним мы испытывать не должны!

Это Максим никак не мог слушать и притворяться, что не слышит, тоже не мог. Не хотел он лезть, думал допить просто виски и пойти уже к себе, но не получилось просто. Вернулся в гостиную, сделал вдох.

— Ульяна. Давай все спокойно обсудим, пожалуйста.

Она не реагировала.

— А я согласен, — отозвался ведущий. — Я же и сам, как вы все знаете, часто бываю там, за ленточкой, я всякого там повидал. Они убивают наших парней, наших пацанов. Машинами, дронами, хладнокровно.

— Сделай, пожалуйста, потише, и давай поговорим, как взрослые люди, — ровно произнес Максим.

Ульяна обернулась к нему, посмотрела на него спокойно — и не послушалась.

— Наши ребята так просто и говорят: там враг, — продолжал ведущий. — Это не люди, это враги. Там все просто. Если не мы их — то они нас. Вот и все. А остальное, знаете, как мой батюшка говорит, это все от лукавого.

— Ульяна?

Она наконец услышала его. Взяла пульт, вдавила кнопку — и белая полоска громкости стала расти.

— Именно! Именно! — заорал эксперт. — Это экзистенциальная борьба! Они там построили... Не они даже, а это Запад там у них построил... Вместе с биолaborаториями...

— Ульяна!

А она взяла и еще громче сделала! Теперь телевизор дребезжал от перегруза. Вбежала Марина, уставилась на них, сжалась.

— Это наш президент очень точно назвал их так называемую Украину! Это искусственное образование! Анти-Россия!

— Ульяна!!!

— ЭТО МЫ, МЫ СЕБЯ ЗАЩИЩАЕМ! И МЫ ИМЕЕМ НА ЭТО ПОЛНОЕ ПРАВО! ПОТОМУ ЧТО КТО К НАМ С МЕЧОМ ПРИДЕТ, ТОТ ОТ МЕЧА И ПОГИБНЕТ! — на максимуме вопил телевизор, и хрусталь в буфете эхом звенел.

— Ульяша... Пожалуйста! Соседи же... — залепетала Марина, но ее только Максим слышал, а Ульяне телевизор все перекрывал.

Максим сделал шаг к Ульяне, чтобы заступиться за жену, но та схватила его за руку, а Ульяна — не поднимаясь даже из

кресла, снизу вверх — так на него глядела — не просто непокорно, а яростно, с такой ненавистью взаправдашной, что он понял в эту секунду все: все она прекрасно может, запросто может на них донести, и есть шанс, что уже донесла. И вот еще что — ничего Максим никому не докажет, потому что она — невеста раненного на СВО солдата, а он отец уклониста, который еще и иноагентами у себя в книжном приторговывает.

— ОНИ НАС ЗНАЕТЕ КАК ЗОВУТ? НАШИХ МАЛЬЧИШЕК? ОРКАМИ! НЕТ! ЭТО МЫ ЛЮДИ, А ОНИ — НЕЛЮДИ! И ПОЭТОМУ ВСЕ, ЧТО МЫ ТАМ ДЕЛАЕМ, — ВСЕ ОПРАВДАНО!

Скрутило живот. Поплыл телевизор перед глазами. Надо было вытошнить это все. Она не гнулась больше никак. А Максим согнулся.

— Сука! — крикнул он; и вырвался, еле вырвался оттуда.

Хотел к Марине прибиться, но она его оттолкнула. Прилипла к телефону, набирала своей сестричке, чтобы пожаловаться на ее ягодку. Но та подходить отказывалась. То ли огороды, то ли сериалы, то ли спать уже легла.

Ничего не будет, сказал себе Максим. Пусть ничего не будет.

• • •

Тетя Марина тоже долго не выдержала. Нежные у них у всех ушки были. Постояла-постояла — и ушла. На нее Ульяна даже смотреть не стала, нечего там было высматривать. И только когда поняла, что она все, отжала у них эту их гребаную гостиную, только тогда ей стало скучно телевизор слушать.

Посидела еще минуты две и ушла к себе. А ток-шоу оставила им на полную громкость, чисто посмотреть, что будет. И он еще минут двадцать надрывался, а они сидели по комнатам, как мышки, боялись сунуться. Прямо в яблочко попала, снайперски.

Потом прокрались, чуть скрипя паркетом, выключили осторожно. Но Ульяна уже не стала возражать: все было и так с ними ясно.

Но она и не могла уснуть — от себя самой лихорадило. Открыла заметки, стала опять сочинять. И, пока сочиняла, вернулся со своих гулянок Кирилл. Позвонил в дверь, кто-то ему открывать пошел.

А после разыгралась в коридоре сценка. Ульяна прикинула к двери, прислушалась. Сначала пытались не шуметь, стеснялись ее, что ли, а потом забыли и про стеснение, и вообще про все на свете.

— Кирилл! Ты на звонки не хочешь отвечать?

Дядя Максим это.

— Па... Ты че? У меня телефон сел...

— Ничего он не сел! Все доставляется! Думаешь, я совсем кретин? Просто ты не изволишь читать...

— Ну я занят был. Все, расслабься.

— Я — расслабься? Это я — расслабься?! Ты не охренел ли своему отцу такое говорить?

— Па, да че ты... Лето же! Все тусят...

— Все тусят... Все это все, а ты это ты, Кирилл! Ты свою голову не хочешь включить?

— Па, да че за предъявы-то, ну реально?

— Да потому что сколько можно шлаться?! Я не понимаю! Сколько? Можно? Шлаться?! Посмотри, сколько времени! Ни я, ни мать не спим, должны ждать, пока ты нагуляешься!

— Да иди спи! Кто тебя заставляет-то? Сколько мне вообще лет, че ты докопался?!

И потом — хлысь! И Кирюшенька ойкнул.

— Ты че, пап?... — мекнул он обиженно и обалдело.

— Да ничего! Хватит себя уже вести, как мудак малолетний, Кирилл! Повзрослей уже! Повзрослей!

12.

Ульяна проснулась с таким ощущением, будто ей снилось что-то прекрасное, что-то волшебное; стала пытаться поймать это чувство за хвост, а поймав, догадалась: это же был не сон! Это у нее новая сверхспособность вчера появилась, и сегодня она никуда не делась еще, была по-прежнему с ней. Спасибо большое дяде Максиму, что помог теорему доказать. Поглядела вчера Ульяна, как он забегал с подожженной жопой, и поверила в свои силы. Поняла, что ее план может сработать.

Набросала черновик при помощи чатика, потом в заметки на телефоне перенесла, а потом еще от руки переписала, чтобы свой мобильник этому в руки не давать во время разговора. И вот теперь был у Ульяны двойной листочек в клетку, как на школьных контрольных, а на листочке было сочинение:

«В Управление ФСБ России по г. Москва.

Заявление.

Я, Царева Ульяна Константиновна, номер паспорта такой-то и такой-то, выдан тем-то тогда-то, прописана там-то, хочу сообщить о выявленных мною фактах коррупции и вымогательства в филиале № 3 ФГБУ «3 Центральный военный госпиталь имени А. А. Вишневского» Министерства обороны Российской Федерации, расположенном по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 1.

Заявляю о том, что в моем отношении руководством госпиталя, а именно заместителем главврача Ковалевым Артуром Ивановичем, вероятно, с ведома и при участии главврача Тимофеева Алексея Алексеевича, вымогается взятка в размере 1000000 (Один миллион) рублей за оформление брака между мной и моим женихом, участником СВО, тяжело раненным при выполнении боевого задания и в настоящий момент проходящим лечение в указанном Филиале № 3 ФГБУ "ЦВКГ им. Вишневского", Лазаренко Александром Витальевичем. Хотя мне положено, как невесте участника СВО, согласно статьи 27 Федерального закона № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" зарегистрировать брак в день обращения, когда я обратилась с такой просьбой к Тимофееву А. А., он мне в этом отказал, сославшись на занятость ЗАГСа и персонала госпиталя, а в дальнейшем потребовал за разрешение и помощь в регистрации брака взятку.

В то время, как наши бойцы, среди которых мой жених Лазаренко А. В., рискуют своими жизнями и проливают кровь, чтобы цели СВО были достигнуты, как приказал наш президент Путин В. В., такие, как Ковалев А. И. и Тимофеев А. А., присосались и сосут нашу кровь и вымогают деньги у семей участников СВО. Я беременна от Лазаренко А. В., имею полное право быть зарегистрирована как его законная жена, с целью растить его ребенка, а Ковалев А. И. мне в этом праве отказывает. Это беспредел в ведомственном госпитале Минобороны и вопиющий факт коррупции.

Прошу провести немедленное расследование в отношении Ковалева А. И. и Тимофеева А. А. и наказать их по всей строгости закона. К настоящему заявлению прилагаю файлы записи разговоров с указанными лицами и мое УЗИ матки.

С уважением, Царева У.»

От руки не с первого раза удалось, со школы не писала почти, пальцы отвыкли. Начинала, запарывала, комкала, начинала заново. Потом расписалась, пошло получше, в итоговом варианте

только пару раз в буквах ошиблась, ну это ничего, перерисовала поверху пожирней.

Все равно смотрелось серьезно, внушительно. Ульяна перечитывала и как только буквы «ФСБ» в шапке замечала, сразу бежала у самой по телу легкая дрожь.

Никогда до сих пор ни у кого Ульяна не вызывала страха, не умела. А вчера научилась. И это оказалось, если честно, просто охуительное чувство. Такое чувство, что теперь все что угодно можно в жизни получить. Это было почти как счастье. Или как если текилы три шота один за другим.

Теперь на московских Ульяне было просто насрать. Она даже здороваться с ними с утра не стала. Копошатся, и пусть копошатся себе, хейтят ее, и пусть хейтят.

Бежала Ульяна к метро и отрывалась от асфальта.

И на всех пассажиров в метро она смотрела борзо. И многие, даже мужики, столкнувшись с ней взглядами, прятались в себя обратно, как улитки, которым по усикам щелкнуть. Раньше часто бывало — мечтала Ульяна сделаться невидимой, а сейчас пусть другие невидимками прикидываются.

Самой ей сейчас ничего не было страшно — ни что Сашина мать уже на подъездах где-то, ни что Артур Иванович ей не повесит. Все сейчас ей было по плечу и все по силам. Такое вау, как у ведьмы на метле.

Дзынь! — написала ей Кристинка: «Прикинь, че».

Ульяну так распирало, что она тут же Крис набрала сама. Хотелось поделиться этим всем, хотелось подключить Кристинку тоже к электричеству. Врубила сразу видеозвонок. Крис была еще не накрашена, припухшая чуть-чуть со сна — или от слез. Сидела у себя на кухне в мужской безразмерной футболке.

— Привееет!

— Ты как? — улыбнулась ей Кристинка.

— Я супер.

— О! Супер? А как Саша? — спросила Крис.

— Да все норм будет, — уверенно заявила Ульяна. — Вот прооперировали.

Потому что она своей силой могла и с ним поделиться тоже. Заставить врачей его вылечить.

— Ну круто, че. А я тут это... Че узнала.

— Ну-ка?

— Анатолий Сергеич все, реально салон закрыл и на продажу выставил. По банкротству. Прямо со всем барахлом, с оборудованием.

— Да ладно!

— Ну вот так. Все, пиздосики.

— Ну че. Вот и доувольнялся нас.

— Типа того.

— А помнишь, как он орал на нас тогда?

— Да тут не забудешь. И без выходного пособия еще.

— Карма ему прилетела, получается?

— Получается, что так.

— А это... Почем продается?

— Три семьсот вроде. Три миллиона. До хрена.

— Ну да, до хрена, конечно... Но так-то нормальный бизнес был.

— Раньше, — напомнила Крис и хихикнула.

Ульяна вдруг представила себе, как она из Москвы возвращается домой победительницей, другим уже человеком, и родную массажку выкупает себе. Не чтобы там сидеть теперь и пялиться днями в химический синий океан, а чтобы быть его хозяйкой. Вот это был бы поворот. Вот это поворот был бы!

— А ты-то там как? — спросила она у Кристины. — Че там чел твой?

— Да пускай в аду горит, — та постаралась улыбнуться.

— Воистину, — тоже улыбнулась ей Ульяна. — Футболка его, что ли?

— Ну а чья.

— Ты ж моя зая.

— А ты — моя.

— А с работой че как?

— Ну че... Ищем.

— Не ссы. Мы еще всех выебем. Выебем и высушим, — пообещала ей Ульяна и чмокнула экран на прощанье.

Отложила телефон, посмотрела за окно. Автобус влип в пробку. На развязке с МКАДом стояли. В одну сторону стоял миллион машин и в другую. Сломанный кондей засасывал в салон угарный газ с улицы. От сладкого дыма мутило.

А она бы посмотрела в лицо Анатолию Сергеевичу. Сказать: это я у вас салон выкупаю — вот его бы перекосило, стопудняк. И в Москве в ихней в неприступной Ульяна может еще стать своей — да запросто! А уж с Вологдой-то, вернись она туда, — тем более, все ясно, Вологду она вообще всю могла бы на хую вертеть, по-королевски.

• • •

Голова и еще во сне болела, и как глаза открыла. А все же Татьяна встала ровно по будильнику, который себе на пять тридцать утра завела, не дала себе дальше спать. Было дело.

Надела муфту тонометра на рыхлое плечо, накачала резиновой грушей крови в руку. Встрепанный Виталя сидел со стетоскопом — меряли по старинке, — как ученая макака, смотрел через заплеванные очки на циферблат. Намеряли 170 на 110, Татьяна не понравилось, заставила его перемеривать. Перемеряли, все одно столько же вышло.

— Высокое ведь, Тань, — Виталя жалобно поглядел на нее поверх своих мартышкиных очков. — Гляди, еще опять прихватит.

— Все равно поеду, — твердо ответила она. — Или она нас на улице оставит.

— Ну тогда я, кацэ, с тобой, значит, поеду, — решил он. — Одна ты не поедешь у меня.

— Вот еще не хватало. Денег-то на все надо, — возразила Татьяна. — А дети что?

— Сами посидят.

Татьяна посмотрела на Виталю, на его волосы белесые венчиком вокруг плечи, на его прозрачные глаза, на желтые от сигарет и чая редкие зубы, на насупленные от серьезности брови, и вдруг почувствовала к нему благодарность. Это было незнакомое ощущение, забытое. Одной-то ведь ей и самой страшно было ехать вот так: в никуда. От Витали там помощи будет, как от козла молока, но все ж таки не одной.

— Ладно мне, — сказала она ему сердито. — Собирайсь давай.

Все равно Светка давеча ей никаких билетов не взяла. Все самой делать. Виталю через телефон заказывать не умел, уж поехали на вокзал вместе, в кассах покупать. Получилось так, что добрались сильно заранее. Ну, сели в кафе, Виталю взял себе пива.

— Ак че хоть там операция как? — спросил он. — Неизвестно?

— Не могу дозвониться. Не берут там, в реанимации. — Татьяна придвинула к себе его бутылку и сделала сама большой глоток: горькое, холодное. — Ну вот ужо приедем, скажут.

— Тань... Тебе бы не это... С градусом-то. Вот воды лучше.

— Сама знаю.

Жирные мухи лазали по столу, пили тоже пиво из лужиц. Их отгоняешь — а они через секунду обратно садятся. Татьяна выкинула руку и одну прямо в воздухе в кулак поймала. Поймала и хрустнула ей. Выкинула, вытерла ладонь о сарафан. Та еще попочевряжилась на полу, пожужжала, потом устала и умерла. Других мух это ничему не научило.

Подали поезд, они с Виталей побежали скорей к своему вагону. Забрались, уселись. Виталю стал смотреть в окно, это ему

было интересно. А Татьяна взяла опять в руки телефон. Открыла переписку с Ульяновкой. Та ничего ей больше написать не соблаговолила. Так и застряло все на «гадине».

А гадина и есть, твердо сказала себе Татьяна. Ты, что ли, растила его? Ты его сиськой кормила? Ты его от краснухи выхаживала, ты ему ветряночные прыщи зеленкой мазала, бронхиты бесконечные весь садик, ты ему банки с горчичниками ставила, что ли то? Уроки к школе ты ему готовила сидела, Михалкова, вон, «Дядю Степу» всего во втором классе на зубок кто с ним учил, небось ведь, не ты! С переломами, когда вон он с гаражей прыгал, обалдуй, ты его по больницам таскала, чтобы срослось правильно? Ты с ним воевала, дралась, когда он в восьмом классе экзамены школьные сдать не мог? Ты его выцарапывала у шпаны с микрорайона, когда он к ним дурь курить повадился? А у милиции, когда его трое суток держали, метелили, места живого не осталось на парне, кто его выкупал? Уж точно, что не ты! Нет, ты-то, поди, на все готовенькое прилетела, как стервятница. Манденкой вон своей приманила парня, эка невидаль, а он-то у нас этим делом не шибко балованный, вот и обрадовался. Нет уж. Это мы, мы растили, и мы воспитывали, мы и поили, и кормили, и мозги вправляли, нам тут и решать. Тебе это добыча, схватила, чтоб в девках не остаться, а нам кровиночка, Сашенька наш, надежда, опора, и отправили, да, послужить, потому что сами не смогли уже, так бы и провели, что уж там нам осталось, в халупе. На пенсию, что ли то, доживать? Вот прогорбатится так всю жизнь, а благодарности так и не дождеся. И что, с давлением со своим Татьяне, с кризами, что ли, картошку копать, чтоб в старости с голоду не сдохнуть? Разве так положено? Вон, в советские годы, поди, никого не бросали, ни за врачей не просили денег, ни за лекарства столько не требовали, и на пенсию можно было хоть как по-человечески жить, а сейчас старикам что делать? Хорошо хоть, о военных помнят, благодарны им, вон и Путин все время о них говорит, что защитники, и рублем еще подкрепляет, вот это и пра-

вильно, государство так и должно, мы все ж таки в нем живем, для него растим своих сыночков, для него героев воспитываем, чтобы служили стране, чтобы границы прикрывали, чтобы нас тут защищали, вот и Сашка пошел, за нас пошел, не за давалку эту, а за нашу спокойную старость, за мать с отцом. Он вот хоть сделал то, что должно, а что бы он на гражданке успел, снаркоманиться успел бы разве, вот и все, и уж не стала бы она за него замуж рваться, если б не деньжищи, даже и беременеть не стала бы, знаем мы этих. Нет уж! Иди-ка ты знаешь куда!

Виталья оторвался от окна. Посмотрел на Татьяну. Помялся.

— А помнишь, Тань, как он с гаражей упал, Сашка?

— Не упал, а спрыгнул.

— Ну, спрыгнул.

— И чего?

— Они тогда в войнушку ведь бегали, кацэ, играли. С пацанами из того дома. У него еще белый автомат был с присосками.

— Да неужто я не помню? А кто его в больницу-то возил?

Виталья поскреб щетину, повспоминал.

— В больницу ты. А домой его я с улицы привел. И вот он прыгает на одной ноге, держится за меня, это самое, хнычет, я ему еще говорю — не реви, будь мужиком. А потом вспомнил — где автомат-то твой, Сань? А он мне такой — потерял. Пойдем искать? Не пойду. Как это не пойдешь, автомат денег же стоит! А так, бать, не пойду. Дурацкая игра потому что. Вот так.

Вагон нагрелся на солнце, а окно было не открыть — современный состав, с кондиционером, только вот и кондиционер не работал. Ехали как в душегубке. Старые-то лучше были вагоны. Зашла проводница, еще раз билеты проверить. Татьяна ей пожаловалась на духоту. Та только руками развела, предложила минералки. Заказали минералки, таблетки хоть запить.

— Да помню я его этот белый автомат, — обмахиваясь меню вагона-ресторана, пропыхла Татьяна. — Потом пошел и все нашел. У Даньки Виноградова этот автомат дома валялся.

• • •

Но когда объявили остановку «Госпиталь», весь Ульянин куражи с того ни с сего схлынул. И вдруг стало казаться, что план у нее идиотский, а запасного плана нет. Вот она с самого утра написала Артуру Ивановичу, что все собрала, что нашлись хорошие люди, попросилась на прием, он ей и время нашел, и порадовал, что Саша живой. А ехала без денег, с одной только бумажкой в клеточку. А вдруг он не поверит ей? Или скажет — да отправляй свое заявление куда хочешь, пускай там разбираются. И что тогда? Сколько они будут разбираться, у них ведь, небось, такой поток там сейчас... И террористы, и диверсанты украинские, и эти иноагенты всякие, на всех времени не хватает. Пока еще там дойдет Ульянина очередь... А еще она и разругается теперь с Артуром Ивановичем, да и с главврачом заодно, как потом все разруливать?

Ноги у нее стали подгибаться, как у плюшевой игрушки, стало на них трудно шагать, хотелось к стене привалиться и там сидеть. А еще по лестнице надо подниматься — к Артуру Ивановичу в кабинет. Но надо было туда идти, больше-то идти было некуда. Было или это, или возвращаться в Вологду с босым хуем и расползшейся. Побрела, значит, на плюшевых ногах.

Стала Ульяна ждать, пока вызовут, стала потеть, и пока ждала, пока смотрела на замученные лица других женщин, последняя борзость из нее вместе с потом вышла. Почувствовала — подташнивает. А она-то надеялась, что ее пронесет, что у нее без всего этого дела беременность обойдется.

— Царева!

Ульяна встряхнулась. Все! Ему нельзя показывать, что она сомневается — ни на грамм. Если она сама сейчас обратно не поверит, что может его в порошок стереть, то Артур-то Иванович ей не поверит уж точно. Он ведь вот именно по этой части у главврача заместитель, по человеческой. Должен разбираться.

Расправила свои широкие плечи. Вспомнила, как дядю Максима вчера крючило, как тетя Марина лебезила, подумала об Анатолии Сергеевиче и о Вологде и снова подзарядилась. Зашла, даже стучать не стала.

— Добрый день, — Артур Иванович ей по-доброму, по-свойски улыбнулся. — А я вот как раз для вас узнавал про Лазаренко про вашего.

— И как он?

— Ну вот не рекомендуют его пока будить. Операция тяжелая была. Так что все у вас одно к одному. Все правильно делаете, можете не сомневаться.

— Понятно.

— Ну, вот и хорошо.

Он опять прошел к двери, опять замок проверил. Ритуал у него такой был, что ли. Уселся напротив.

— Получилось у вас?

— Получилось. Миллион, правильно?

— Все верно. В пакете у вас, да? Вы пакетик под столом оставьте просто, и все. А потом, знаете, давайте часам к двум, к трем возвращайтесь ко мне сюда. И тут уже у нас подойдут сотрудники ЗАГС, и мы вас оформим. Не день в день, конечно, получается, но, учитывая нашу загруженность... Договорились?

Весь Артур Иванович был сейчас из себя теплый, мягонький. Педиатром бы такому работать, а не в военном госпитале.

— А у меня не в пакете, — произнесла Ульяна. — У меня вот.

Достала из сумочки свернутый листик и передала ему. Артур Иванович нахмурился, посомневался, но листик взял. Развернул. И сразу, вот только он шапку письма увидел, лицо у него как от ботокса онемело и разгладилось. Все лучики вокруг глаз погасли.

— Какие глупости, — сказал он, дочитав.

И кашлянул — видно, в горле у него запершило, пришлось. Ульяна это подметила и немного повеселела.

— У меня все на телефон записано. Все разговоры. И с вами, и с Алексеем Алексеевичем.

Он тогда взял и письмо ее разорвал пополам, и еще пополам, и еще. Разорвал и выкинул в мусорную корзину. Улыбнулся Ульяне. А улыбочка-то гуляла.

— Да это я так просто, чтобы вам читать удобнее. У них же сейчас на сайте, на сайте ФСБ прямо можно подать. Там такое окошко специальное, текст туда вставляешь и прямо файлы можно приаттачить, — объяснила она.

— И ты что думаешь, — сказал ей Артур Иванович все тем же тоном своим, добреньким, но только опять сипло, — у кого лучше связи в ФСБ, у тебя или у нас? Кого они послушают? Как тебе кажется?

Ульяна пожала плечами. Глаза она не отводила, дырявила ими Артура Ивановича. Чувствовала, как в ней со дна опять вся муть поднимается, которую он взбаламутил — ровно как дядя Максим и вчера, и позавчера. Такой азарт в ней просыпался, жестокий.

— Я вот что знаю, — пропела она. — У вас там какие угодно связи, а тут государство на моей стороне. Тут я права. У меня жених умирает, а вы бабки из меня трясете. А он воевал. Без вариантов.

— Без вариантов? Думаешь? — покачал головой Артур Иванович. — Плохо же ты себе представляешь всю ситуацию, милая.

— Ну я пойду тогда. Отправлю. — Ульяна поднялась. — Денег у меня нету все равно, так что и терять нечего, получается.

— Есть. Поверь мне, тебе есть что терять.

Это уже было по-другому сказано, не по-хорошему. Ульяна догадалась, о чем он, и помахала перед Артуром Ивановичем своим мобильным.

— А этот разговор, кстати, тоже у нас на диктофончик идет.

Пошла ломать дверной замок. В ушах бухало, во рту едкая слюна пошла — сейчас вырвет. Ключ выскальзывал из рук. Время застыло.

— Стой, — приказал ей он.

— Что? — Ульяна обернулась.

— Надо посоветоваться. Может быть, изыщем возможность. В порядке исключения, — он говорил медленно, как будто одновременно продолжая размышлять. — Ты это... Погуляй пока, по территории. Не уезжай. Попробуем еще решить.

И вот уже снова голос у него прогрелся, уже снова он хотел Ульяне помочь. Снова заулыбались глаза лучиками-морщинками.

— Только не уходите никуда, ладно? Ульяна Константиновна. А то еще потом вас найдемся!

• • •

Вот буквально будто бы посреди гостиной стоял гроб, а в гробу лежал нарядный покойник, и при нем нельзя было ни шутить, ни громко разговаривать. Такая вот атмосферка с утра в квартире царила.

Максим, прежде чем выбраться в туалет, прислушивался — кто уже поднялся, кто в коридоре, кто на кухне? Ни с кем не хотелось пересекаться, ни с Ульяной, ни с Мариной, ни с Кириллом. Особенно с Кириллом — после этой неловкой пощечины, которую Максим ему залепил. Стыдно было чудовищно, тем более что никогда и ничего, кроме символических шлепков в раннем детстве, он в отношении сына себе не позволял. И все маячило перед ним Кирюхино лицо испуганное и обиженное, когда он ему по лицу смазал. Помутнение какое-то случилось.

С Мариной после этого больше не разговаривали, так и промолчали рядом всю ночь. Под утро стало казаться, что снова общаться они не научатся уже никогда. И тем не менее сделать первый шаг Максим заставить себя не мог. Вместо этого он заперся опять в туалете и тянул там время, чтобы они дожевали все на кухне наконец, а сам пока что штудировал «Медиазону» и «Медузу». Читал, читал, читал, пока поперек горла не встало.

— Легко вам всем оттуда подпездывать, — сказал он им вслух и отшвырнул телефон на коврик.

В дверь постучали с показным надрывом. Максим даже рад был этому: можно было прервать эту дурацкую игру в молчанку.

— Можно человеку в сортир сходить спокойно?! — крикнул он.

— Ты тут не один, вообще-то, живешь, — холодно ответила Марина из-за двери.

Ну вот, лед тронулся. Можно было вылезать.

Но посмотреть на Кирилла он все равно не сумел себя заставить, да и тот не хотел встречаться глазами с отцом. Какой-то сутулый он был сегодня, вся его осанка подевалась куда-то. Максим заметил это и внезапно ему захотелось плакать: как будто он мальчишкой строил-старался из песка прекрасный огромный замок, а потом неловко повернулся и обрушил самую высокую и изящную башню.

Вздохнул.

— Кирилл, — сказал Максим. — Я хочу перед тобой извиниться.

— Ок, — ответил тот, ожесточенно мотая инстаграмные ролики.

— Давай... Давай я тебя подвезу, а? Куда ты там едешь? Давай вместе.

— Тебе же на работу. Не надо.

— Ну, задержусь. Я же директор школы.

— Что?

— Анекдот такой.

— Тебе неудобно туда. Мне на метро проще.

— Мне удобно.

Кирилл помолчал, причмокнул. Втянул воздух через ноздри. Но на отца так и не посмотрел.

— Ну ок.

Сели в машину, выпарковались, покатали внутрь по Ленинскому проспекту, по помятому ураганом городу. Оранжевые ком-

мунальщики облепляли поваленные деревья, растаскивали их на куски, оттирали грязь с шампунем, спешили — чтобы никак не позже, чем к обеду, все в Москве опять было идеально.

Кирилл ничего не говорил. В телефоне у него мельтешили кадры с вечеринок, изгибались призывно фигуристые мадемуазельки в купальниках, иногда он останавливался беззвучно послушать субтитрованные нарезки стендаперов, но не смеялся им.

— Ну ты тоже мог бы немного... Тормознуть с этим весельем своим бесконечным, если честно, — неловко произнес Максим.

— А че, это мешает кому-нибудь, что ли? — тот не отрывался от экрана. — Тебе, что ли? Ну давай я съеду.

— Да при чем тут это!

— Ну а что тут тогда при чем?

— Мы за тебя беспокоимся вообще-то... И я, и мать.

— И что со мной может случиться, интересно? — Кирилл уставился на него.

— Я просто не понимаю, что за одержимость этими клубами, барами... Может, ты мне объяснишь? Вот просто до остервенения.

Кирилл усмехнулся и опять уткнулся в свой телефон.

— Это просто жизнь, пап. Это моя жизнь. Можно мне пожить?

— А ты не думаешь о том, как это раздражает некоторых людей? Которые вот там... На войне.

— Мне и о них еще надо сейчас думать? Оскорбление чувств участников СВО? Ты реально?

— Нет, я... — Максим не знал, как ему это выговорить.

— Ты что, ты это об Ульяне, что ли? — догадался Кирилл.

Максим кивнул неопределенно, вцепился в руль покрепче.

— Да что она сделает-то?

— Все что угодно, Кирилл. Она не в себе, понимаешь? У нее такая ситуация, что... Как бы это... Человек слетел с резьбы буквально. И вот зачем, зачем ты ей сказал про свою повестку?

Кирюха отвлекся наконец от своего мобильного. На экранчике все еще кривлялся кто-то.

— Она вас что, закошмарила, что ли?

— Дело не в этом!

— А в чем тогда? — улыбнулся Кирилл. — Что еще помнялось-то?

— Да я, может, сам хочу понять — вот что тебе там медом намазано? Вот что? И не надоедает ведь!

Кирилл повернулся к нему и посмотрел как на чужого.

— Ну, а что мне надо? Сидеть дома трястись надо, что ли? Пап! Ты не понимаешь, что они этого и хотят? Они и хотят, чтобы мы или воевали, или зиговали, или по домам торчали, ссались и готовились. Чтобы мы не жили, блин! А мы только это и можем — жить!

Максим снял правую руку с руля, потянулся к Киру, дотронулся до его кисти — а тот отдернулся.

• • •

Есть такие китайские ловушки для тараканов: коробочка, в ней чем-то сладким намазано, они туда заползают, прилипают и травятся там. Удобная ловушка. Наполнилась — выкинули. У Ульяны такая стояла в подвале, в массажке, покупала. А сейчас, по ходу, сама в такую заползла. Не теряйтесь, говорит, Ульяна Константиновна. Главное, никуда не выползайте, а то искать вас еще потом. У кого, как вам кажется, в ФСБ лучше связи?

Ну, Ульяна и уселась ждать, чем кончится, прямо посреди больничного двора на свободную скамейку у разлапистой елки. Все равно от них не убежишь никуда, и если уж они решат ее прихлопнуть, то везде найдут и прихлопнут. Нет, надо наоборот — торчать на самом виду у них, мозолить им глаза, показывать, что Ульяне не страшно, что она отбитая. Это они сами пускай задумаются!

Да все нормально будет.

Надо только верить в себя. Вон, стоило Ульяне в себя поверить, как тут же стал мир лепиться по ее желанию, как разогретый пластилин, точно как в транссерфинге реальности сказано. Нужно просто проманифестировать, что все у нее получится. Что Артур Иванович хрустнет и надломится, что их сегодня поженят, что Сашу скоро выпишут, что денег им хватит на однушку в Одинцове, что как-нибудь они тут устроятся, и маму вызовут, и протезики ему от армии выдадут, и начнется у них плюс-минус нормальная человеческая жизнь. Саша, конечно, удивится, когда очнется, что они с Ульяной уже расписаны, но он же согласился на это сам, так что глобально тут все без наебки. Да он еще сам будет рад, Саша, он же обрадовался, когда узишку увидел, а на узишке своего наследника.

Без картинок сложно было манифестировать, и Ульяна немного смухлевала, чтобы полегче было. Открыла ЦИАН, порылась, поискала квартиры в своем бюджете. Нашла одну — студия в новостройке, не само Одинцово, а подальше чуть-чуть, зато весь микрорайон новый, детские площадки просто космос, ремонта, правда, нету, все в бетоне, но вид на зеленый массив. Зажмурилась, хотела представить Сашу в инвалидном кресле у окна — и никак не получалось, Саша не материализовывался. Тогда листнула на другую квартиру, эта старая была, подубитая, явно после алкашей, но метраж сразу поприличней, вид во двор; во дворе торчат хрущевки, значит, и эта тоже хрущевочная, ну и ладно, зато тут вот отдельная спальня есть, а есть маленькая еще комната типа залы. Это значит, что Саша может, допустим, вот в спальне, а Ульяна, если что, в зале, есть, значит, где разойтись, а это уже не так тяжело все-таки — в однушке-то, если что, ей только в кухне отсиживаться, а в студии и вовсе негде, хотя называется и по-модному. Попыталась она проманифестировать себе семейную жизнь в этой хрущевке, и опять Саша не получился — только какой-то куль в простынях на кровати, как будто в хорроре, и Ульяна скорей открыла глаза, побоялась, что реализуется. Ну

ладно, а вот неподалеку от госпиталя от самого квартира, однушка, но можно хоть сейчас заезжать, сразу после выписки, и этаж высокий, а из окна видно — а это сам госпиталь и видно как раз, вон бетонный забор штампованный с колючкой поверх, вон проходные, а вон и главный корпус. Тут лоджия есть, можно было бы Сашу в лоджию выкатывать, чтобы воздухом дышал, пока она с ребенком... Но Саша упрямо не представлялся ей, не хотел в эту квартиру, не помещался в лоджию. У Ульяны засосало под ложечкой: раньше просмотр квартир был для нее как сладкую жвачку жевать, пусть в желудке и пусто, зато вкус есть. А тут что-то разладилось, расстроилось воображение, стало от пустой сладости подташнивать. Наверное, токсикоз все-таки.

Она вскочила, забегала по двору, как будто хотела вырваться из отравленной патоки, но лапки увязали, путались, склеивались. Что они тянут? Там же и Татьяна едет уже, наверное, в громящем поезде и совсем скоро будет на Ярославском вокзале, а может, и уже приехала, может, уже в автобусе, а то и на такси еще, катит сюда, чтобы все у Ульяны в последний момент отобрать, чтобы все обесценить. Нет, нет, про это нельзя думать, чтобы вот это вот хоть не материализовалось. Ничего она не успеет сделать, все сейчас будет правильно, все будет так, как Ульяне нужно.

Она вслух сказала: «Пусть все будет по-моему», зажмурилась еще раз изо всех сил и тихонько загудела, так, как в детстве делала, когда загадывала желания. Прогудела так минуту, наверное, а потом у нее заиграл телефон. Аж вздрогнула.

Мама это звонила.

— Ульяш...

— Мне сейчас неудобно, ма. Звонка жду.

— Ты там как, деточка? — мягонько так; слишком уж даже.

— Да так. Саша там не оч.

— Ай-ай. Слушай-ка... Мне тетя Марина тут звонила. Говорит, вы поругались с ней.

— Мы с ней еще не ругались, ма. Это они меня с дядей Максимом решили жизни поучить.

— Она говорит, ты чуть не заявление на них написать грозишься... Из-за Кирюши. Ты ведь не говорила такого, солнце?

Ульяна помолчала. Первая мысль была — сказать маме, что пошутила. Просто чтобы успокоить ее, потому что голос у матери был не строгий, а просительный, жалостливый. А потом задумалась: это ведь они, дядя с тетей, хотят надавить на нее через мать, через сестринскую ее любовь к тете Марине, через детскую дружбу, материнским вкрадчивым голосом в Ульяну пролезть, разжалобить и усовестить, размягчить и смять. Мама ничего такого и произнести не успела, а Ульяна все уже услышала. Услышала главное: что им страшно, что они ее всерьез восприняли, дядя и тетя, и теперь через маму просят переговоров. Схавали крючочек, а он им нутро берedit. Хотят обратно в прошлое, где не было у них ни страха, ни сомнения. Где они важнее были и сильнее. Умники.

А вот хуй.

С чего бы их с крючка отпустить? Пускай посидят. Это приятное было чувство, когда они засуетились, забегали. Приятное чувство, когда они в собственных хоромах на цыпочках ходили. А за то, что через мать попытались заскочить, сучки, еще и по жестче вас надо наказывать.

— Ну, сказала.

— Ну что, Ульяш? Ну это родные же люди! Как так можно-то? Ты ведь и живешь у них...

— А вот так, — отрезала Ульяна. — Сказала, мам. Было. А знаешь, как это называется, что она с тобой делает? Это называется «манипуляция». Потому что знаешь, мы на самом деле для них кто? Тупые. Мы деревня. Мы говно. Пока нас пожалеть можно, они к нам еще туда-сюда. А только мы чуть-чуть приподнимемся — и все, бля. Ты, пожалуйста, дружи. Сестра, все такое. А мне что-то больше не хочется.

— Ульяша, солнце...

— На хер.

— Я тебя как мама прошу... Как мама...

— Видишь? Видишь, что?! Твари хитрожопые!

— Ульяша...

— Нет! Не Ульяша! Ты вообще понимаешь, что у меня тут?! Ты с ними или ты со мной?! Ты не хочешь вообще поинтересоваться, что с Сашей, что с росписью?

— Я с тобой, с тобой... Как он?

— Хуево!

Сбросила маму. Странно стало. Это была такая истерика, которая не от сердца шла, а от ума, которую она в себе, как бесов, вызвала. Но она была для нее сейчас полезна, она воздуха в сдувшуюся было Ульянку подкачала. А мать... Ну куда мать от нее денется-то? Если что, уж точно Ульяну выберет, а не московских.

Сунула телефон в сумочку, как ствол в кобуру. Походила в напускном возмущении по двору. И снова затренькало. На сей раз — Артур Иванович!

Доставала его из сумочки и уронила случайно на асфальт. Он упал плашмя, Ульяна испугалась, что экран разобьется, подняла — а он целехонек. Слава богу, хороший знак.

— Ульяна Константиновна? Обсудили с руководством вашу ситуацию, — теперь он звучал уже не приторно, а пресно, по-деловому.

— Слушаю вас.

— Решили следующее. На должностное нарушение, как вы от нас того требуете, мы пойти не можем. Расписывать вас с Лазаренко, пока он находится без сознания, мы, разумеется, не готовы, и сотрудники ЗАГС на такое тоже никогда не согласятся.

Сердце сразу разогналось, как будто с места стометровку пульнула.

— А вот почему, когда можно было, вы нас не... — выдох, вдох. — Ладно, ну тогда я буду двигаться, как мы обсудили с вами, Артур Иванович.

— Давайте, я доскажу сначала, хорошо? Как я уже объяснил, на нарушение ради удовлетворения вашей... вашего пожелания мы нарушать закон не будем. Лазаренко сейчас под седацией, на мидазоламе и фентаниле, учитывая операцию на позвоночнике, чтобы снизить нагрузку на ЦНС. Мы можем ему ввести antidotes к обоим препаратам, он на какое-то время придет в себя, и вы сможете тогда заключить с ним брак в соответствии с требованиями законодательства. Вам подходит такой вариант?

— Да! Конечно, да... Спасибо, Артур Иванович!

— Тогда скан паспорта скиньте мне, я перешлю сотрудникам ЗАГС, чтобы они подготовили документы... Но должен предупредить вас о двух вещах. Во-первых, эти препараты имеют в первую очередь сильный обезболивающий эффект, соответственно, Лазаренко, придя в себя, будет испытывать боль. Во-вторых, мы его выдернем из седации до того, как это рекомендовано для правильного послеоперационного восстановления. Это для давления нехорошо, в частности. В обычной ситуации мы бы вам отказали, Ульяна Константиновна, но тут ситуация необычная... Как мы с вами знаем. Так что... Короче, под вашу личную ответственность.

Ульяна утерла лоб. Опять духота накатывала. Не помог вчерашний ливень Москве продышаться.

— Можно, я через пять минут наберу вам и скажу?

— Пять минут, ладно. Пока у сотрудников ЗАГС есть окошко. Потом уже все ваши претензии будут к себе самой. А мы, что могли, сделали.

Он отключился. Время пошло.

А сейчас ведь можно было просто прошмыгнуть через проходную, прыгнуть в автобус, до ближайшей станции метро добраться, оттуда до Комсомольской, выползти из-под земли на площади

трех вокзалов, купить на ближайший поезд билет в железнодорожных кассах и исчезнуть из этой их Москвы навсегда, как будто ничего этого с ней не было. Артур Иванович предложил же ей решение: хотите берите, не хотите — мы не в претензии.

Ульяна поиграла телефоном, потыкала бездумно всякие иконки. А дальше вот что сделала: набрала Татьяне Николаевне. Телефон поныл-поныл, и потом та все же ответила.

— Ты мне зачем звонишь, дрянь ты такая?

— Вы как там, Татьян-Николавна, едете?

— А это не твое дело, еду я или не еду!

Ульяна помолчала, прислушиваясь. Как будто было слышно постукивание вагонных колес.

— Ульянка!

— Да, Татьян-Николавна?

— Не вздумай мне, ясно? У тебя совесть есть или нету?

— Так он без сознания сейчас, Татьян-Николавна, — спокойно сказала ей Ульяна. — Без сознания они все равно не расписывают.

— Вот не дай бог тебе его обдурить, — запыхаясь, произнесла та. — Прокляну. Учти мне.

— Ладно, учту, — пообещала Ульяна.

Хорошо поговорили. Даже не захотелось орать на нее. Это слабые и пыхтят, и визжат. Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик. Валяй, проклинай, Танюш. Ты у меня тут как на ладошке. Сука.

Руки опять завибрировали, в них электричество пошло. И ноги мгновенно пружинистыми стали. Ульяна вспомнила, почему она тут и зачем. Осталось только у мамы спросить совета, свериться.

Набрала — а мама не подходит. Обиделась, что ли? Это тут кто еще обижаться должен!

Ну ладно. Неважно уже.

Так и так уже все решено.

13.

Сказали — идти в отделение. Сказали, Сашу туда привезут.

Встала, пошла. Побежала даже. Была у нее перед Татьяной Николаевной форя, но маленькая и ненадежная. Военный госпиталь — сложный механизм, как игровой автомат в казино. Черт пойми, что там у него внутри крутится, на табло ведь только конечный результат всяких шестереночных случайностей показывают.

Сегодня она с собой не взяла ни фаты, ни шампика. Из невестинских атрибутов только паспорт. Сегодня все прочее казалось уже клоунадой. Надо было просто вопрос закрыть. Потом отпразднуют, если будет что.

Пробралась в отделение, встретила дежурного врача. Он смотрел на нее странно, видимо, уже был в курсе ситуации. Она у него спросила, как там Саша, не слышно ли чего. Он сказал, сепсис и внутричерепное. Ульяна села у Сашиной палаты гуглить, что за сепсис, чему это мешает. ИИшка припугнула ее, что дело серьезное, и Ульяна за это закрыла ее, чтобы не сглазила.

Решила перекурить эту информацию. Встала на лестничной клетке у лифта, чтобы Сашу не пропустить, где все курили, достала сиги: дынька больше не спасала ни хера.

В коридоре у лифта лежал на каталке какой-то еще обритый парень, ждал, куда его распределят, смотрел косо. Из Сашиной палаты вышли его соседи, Серый с пиратской повязкой на один

глаз и Леший без руки. Заметили Ульяну, поздоровались через губу, кривенько улыбнулись.

— О, невестыч. А твоего нету тут. Дашь сижку?

— В курсе, — она выбила им по сигарете из пачки. — Я его тут подожду.

— Тебе, может, долго придется ждать. Вон пацана на его место притаранили.

— Если что, я Игорь, — сказал лежащий. — Мне б тоже затяжечку.

Леший с Серым его головой закатили на клетку, чтобы у ординаторской не дымить.

— С Сашей нормально все, — заявила Ульяна. — Это не на его место.

— Ну, дай бог, — пожал плечами Леший, культия смешно дернулась.

— Так ты ж беременная, нет? — вспомнил Серый. — Че ты куришь-то?

— Приходится, — объяснила ему она. — Не мы такие, жизнь такая.

— А че свадьба? — не отставал Серый.

— Ну вот привезут, и будет свадьба, — Ульяна затынулась. — Свидетелем будешь?

— Свидетелем? Вон, может, Леший лучше подойдет?

— Я лично не против, — прохрипел Леший.

— А ты че тут, Игорек? — гундосо спросил Серый у лежащего, придерживая для него сигарету. — Какие расклады? Откуда к нам?

— Да какие. Из Волчанска приехал. Из учебки сразу закинули.

— Знакомая хуйня. А че за часть?

— Семьдесят вторая мотострелковая.

— Мясо, короче.

— Мясо и есть. Там чисто пиздец, укры окопались, в каждом доме сидят, в каждом подвале сидят, и эфпивишки все пасут. Без

шансов. Нас построили, говорят: не идти в штурма сегодня будет сто ка. Ну, штук. Но лучше сто, чем двести. И ржут.

— Нормальный прайс, кстати, — оценил Леший. — Человеческий.

— А у нас все зеленые, я в том числе. Бабок жалко стало, ну и... Рискнули там.

— Ни хуя не сообщает никто, — кивнул Серый. — А бабки только когда выдали, они ж еще карман греют. Не понимает народ, что там без шансов. Ну и?

— Ну и это... Короче, первая группа зашла на бэзэшку, вся легла сразу. Там один кто-то пиздит по радио, типа, триста я, триста, забирайте. Командир просто рацию выключил. Смотрит на нас, говорит, теперь сто пятьдесят уже.

— Так инфляция же, хули, — пошутил Леший.

— А я родикам все слил, чтобы в части не обули. Ну он тыкнул в меня, давай, поехали. Короч, нет бабок. Ну или идти, или они там обнуляли уже, кто мельтешил. Это мы на лету вкурили. Ну пошел, че. Ну и нас там чпыньк, чпыньк. Слышу — жужжит. Ну все, думаю, пизда рулю. Они если цель берут, уже ведут. Успел до подвала какого-то, прыгнул, а они следом мне лимонку, и вот хорошо, она чуть рано ебнула, не успела закатиться. Так что один только осколок прилетел, и в позвоночник, как потом сказали. А тогда очухался, ноги чужие. А я на рации. Ну, думаю, я вас заебу, хуй вы от меня так отмахнетесь, как от того чмошника. Мандел, мандел им, короче, двое суток, наконец ночью на третьи вытащили меня. Отходили ребята с позиций, и кому-то там стало не по хуй, достали. А так из сорока человек, которых строили там, пятеро, что ли, отползли, остальным пиздарики.

— Дак это нормально, зеленых в штурма, так-то, — шмыгнул носом Серый. — Мы то ж самое делали. А хуль, самим, что ли, лезть? Они пока тепленькие приехали, вот их вперед и надо. А то потом расчихают, че куда, проблем не оберешься. Начнут выебываться, а нам разгребай. Старшой орет. Или эти, или вы,

загоняйте как хотите. Хотите, идите обнуляйте этих, хотите, сами вместо них.

— Ну а че им там, им цифры надо показывать, — опять вздернул свою культяшку Леший. — Они стрелочки рисуют. Или результаты давай, или активность хотя бы. У них же там отчеты, вся хуйня. Тоже можно понять.

— Цифра, бля, — своим гнусавым, как у детской дудочки, голосом сказал Серый. — Им отчеты, а нам пахота.

— А че, — несмело спросил Игорь с каталки, — и обнулять приходилось?

— Ну там если такая тема, — продудел Серый, — что или их, или тебя. Сам-то как думаешь?

— Я хер знает.

— Ну ты ж видишь, что я тут, — захихикал Серый.

Хыкнули. Помолчали. На Ульяну им было по боку, что рядом стоит слушает. Привыкли уже к ней, что ли.

— А че, тут хорошая хирургия-то? — перевел стрелку Игорь.

— Да не ссы, починят. Как новенький будешь, обратно еще отправят.

— Я не хочу обратно, — сказал Игорь. — Я лучше лежачим, на хуй, останусь.

— А я выпишусь и поеду, — сморкнулся Серый.

— Куда тебя с одной гляделкой-то возьмут? — прохрипел Леший.

— Туда же. К своим, откуда приехал. Там все схвачено. Отношение хорошее. И потом, какая хуй разница, глаз же правый. Как раз жмуриться не надо.

Он засмеялся опять.

— Да ну в жопу, — не согласился Леший. — Я бы вот все, что осталось по бабкам, им зарядил, только чтоб на ноль обратно не попасть. На хуя?

— Да бля... — отмахнулся от него Серый, играя бровью над зрячим глазом. — Да потому что.

— Ну поясни.

— Ну а хуль тут делать-то? Тут нету ни хуя и делать не хуй.

Леший склонил голову набок: ну. Хозяин барин.

Залетел дежурный, наорал на них за то, что Игорьька угнали. Затолкали его обратно. Пошли обратно в палату валяться. А Саши все не было и не было.

• • •

День был опять жаркий и тягучий. Вентилятор ездил по кругу, и раскрытая на столе книга трепетала страницами каждый раз, когда он к ней оборачивался. Надо было думать Максиму о завтра, а вместо этого он думал о вчера. Пытался в себе разобраться: как так получилось, что это не он Ульяну пережал, а она его? Почему сбежал?

Из страха за Кирилла, вот почему.

Если бы Ульяна ему угрожала, Максиму, он бы не просто остался, он бы еще и выдернул этот гребаный телевизор из розетки вообще к херам. Сам-то он готов был в теории и к аресту, много раз уже представлял себе, как это с ним однажды произойдет, если вдруг ему прилетит за его принципиальность. Максим и на митинги ходил: и в десятом году, и в двенадцатом, и в четырнадцатом; и когда война началась, они вместе с Мариной тоже на улицу выходили — и каждый раз он был морально готов к задержаниям: брал документы с собой, воду, все по «медузовским» инструкциям. Но все же специально нарываться на аресты он не нарывался, инстинкт самосохранения срабатывал, и, если на митингах видел, как ОМОН где-то крутил людей, он себя толпе туда нести не позволял.

Но Максим себя революционером и не считал, он себя считал человеком с гражданской позицией. Это он не ради страны делал: страна-то была все равно обречена, и все эти народные сходы и либеральные выходки ее скатывание в пропасть могли разве что

чуть-чуть задержать. Это Максим делал ради себя, просто чтобы знать, что в роковой час в стороне не остался. Чтоб перед внуками потом отчитаться. Для очистки совести, если уж совсем честно. А что, плохо это? Нет уж, лучше так, чем на диване отсиживаться. Ну это ладно, это он. «Не могу молчать» и все такое. А вот Кирюху хотелось бы очень от этого всего оградить, уберечь. Тем более что в прежние годы и риски были меньше, и надежды наивней. Тогда можно было и побороться, ну или хотя бы симитировать. А сейчас уже совсем глухое время настало, незачем шеей рисковать. Воспитывал его свободным человеком без страха — и вот, пожалуйста, довоспитывался.

А тут еще это, вчерашнее.

Вроде бы инцидент разрешился; в том, что Ульяна не станет на них стучать теперь, когда он позволил ей как будто бы в этом их споре одержать верх, Максим не сомневался. Ну, нужна человеку символическая победа — пожалуйста, нам не жалко, мы же понимаем, что до конца бьются только те, кому нужно непременно что-то доказать, бьются люди кем-то когда-то униженные — вот им великодушие проявлять в голову не придет, потому что каждое сражение у них — отголосок того самого первого их боя, проигранного. А Максим, в целом, прожил, не только по стечению обстоятельств, но и благодаря собственному моральному компасу (и инстинкту самосохранения, если уж на то пошло, тоже), жизнь без унижений, ну, скажем — без серьезных унижений, — так что и в этом вчерашнем нелепом противостоянии мог вполне себе позволить проявить к Ульяне снисхождение. Получалось, что называется, *win-win*: ситуация оставалась под контролем, Кирюха был выведен за контур. И, самое главное, разговор о миллионе рублей, который надо было отдать теперь взяткой не врачам — за регистрацию брака, а Ульяне — за молчание, закончился. Выходило так, что Максим, Ульяне как будто бы уступив, на самом деле ее в этой нетривиальной партии переиграл.

Максим дотянулся до кнопки ротации на вентиляторе и отжал ее, и наконец эта хреновина прекратила крутиться невротически туда-сюда, а стала дуть Максиму в лицо. Книга, которую черт уже знает куда перемотало, перестала трепыхаться. Максим откинулся в директорское кресло и улыбнулся себе.

И тут позвонила Марина.

— Максим... — сказала она почему-то шепотом. — Нам надо поговорить.

— Мы уже разговариваем, — спокойно ответил ей он, а внутри что-то замерло.

— Только не начинай орать, хорошо?

— Хорошо. Я вчера проорался уже.

— Я хочу, чтобы ты поехал и снял эти деньги. Для Ульяны.

Максим, хоть Марина этого и не видела, закатил глаза. Опять двадцать пять? Он прокашлялся.

— Зачем? Она что, вернулась к этой теме сегодня? Ты до Ирины не дозвонишься?

— Я дозвонилась до Ирины. Говорит, что Ульяна не в себе, наорала на нее. Разругались. Просит войти в положение.

— Войти в ее положение? Ты издеваешься надо мной? Погоди-погоди... У меня лично сложилось впечатление, что мы вчера вроде бы нормально разошлись, каждый остался при своем, нет? Она усвоила, что ей от нас ничего не светит. Все, инцидент исчерпан.

Она помолчала. Потом в трубке пикнуло.

— Можешь переключиться на видеозвонок? — попросила Марина.

— Хорошо, давай. Пожалуйста.

На экране возникло Марино лицо — обездвиженное, как у паралитика. Она переключила камеру — и Максим понял, что она сейчас находится в комнате у Ульяны.

— Так-с. Очень интересно, — прокомментировал он.

— Я зашла... Пыль протереть. И... Вот у нее тут тетрадка на столе. И в тетрадке...

Она навела дрожащую камеру на клетчатые страницы, на которых рукописные буквы на квадратики распадались, видимо, телефон не очень ловил.

— Мне не видно так ничего, Марин. Связь дерьмовая. Что там?

— Я тебе могу прочесть, — сказала она, прерываясь. — Тут вот что. В управление ФСБ по городу Москве, заявление. От Царевой Ульяны Константиновны, дальше паспортные данные ее, она в них запуталась и зачеркнула.

— И что? — спросил Максим, хотя уже всю требуху у него внутри схватило.

— И еще тут вырвано несколько страниц.

Вентилятор жужжал ужасно громко, назойливо, но разогнать воздух у него больше не получалось.

— И что? — как кретин повторил он.

— Я хочу, чтобы ты сейчас поехал и снял деньги. А я ей напишу, что мы согласны ей помочь.

Максим молчал.

— Ты меня слышишь, Максим? — Марина переключилась на фронтальную камеру.

— Я слышу.

— И что ты молчишь тогда?

— Я не буду этого делать.

Под рубашкой потекли по телу из подмышек прохладные ручейки, защекотали. Максим утер лоб. Хотелось заорать. Хотелось спрятаться. Да куда ты спрячешься-то, болван? В домик? Никуда ты не спрячешься.

— Ну значит, я сама поеду снимать деньги. У меня есть на счету.

— Я против. Она нас ломает! Ты понимаешь?

— А мне неважно, против ты или за, Максим. Ты тут вообще ни при чем. Ты и твой эгоизм. Мы не о тебе тут говорим, а о Кирилле.

— Мы о нас обо всех говорим, Марина, — напомнил ей Максим.

— Оставь свои рассуждения на другой раз. Если ты не хочешь мне помочь, просто не мешай, ладно? Просто не встревай. Я вот тебе позвонила, чтобы предупредить тебя просто. Я все равно решила уже все и все сделаю, как считаю нужным.

Это вот ее парализованное лицо. Сколько она эту записку перечитывала, прежде чем ему позвонить, интересно? Наверное, уже всю комнату успела вверх дном перевернуть... Этот ее голос безжизненный.

На короткий миг — вот как разряд статического электричества проскальзывает — Максим ощутил Маринину правоту, но как только разряд — за миллисекунду — погас, он сразу эту не мысль даже, а царапинку на душе взял и заполировал бесследно.

— Марина... Ты понимаешь, что ты собираешься сделать сейчас, да? Ты хочешь ей помочь получить деньги за убийство.

— Замолчи просто, ладно? Просто заткнись. Я тебя прошу. Он не убийца, он жертва. Он такая же жертва, как мы все. Убийцы ты сам знаешь, где сидят. Наверху. Все, Максим. Увидимся вечером. Спасибо тебе большое за помощь.

Экран погас. Максим отложил телефон, но еще смотрел на него, никак не мог оторвать взгляд, пока в дверь не постучали. Максим чуть не подскочил в своем директорском кресле — так громко ему было. Кто так стучит, с какой стати?

— Максим Павлович?

Женский, просительный. Галина. Вот еб твою мать, Галина Игоревна, ей-богу.

— Я занят! — крикнул он.

Галина пошуршала и исчезла.

Просто нет больше сил с Мариной бороться, сказал себе Максим. Можно было бы сейчас упереться рогом, запретить ей снимать деньги, ехать домой ругаться... Но ее теперь тоже, что ли, об колена ломать? Нет сил больше. Во-первых, он свою пози-

цию четко обозначил. Не юлил, не увиливал, в лицо Ульяне все высказал — и не раз, и не два. А потом... Она против них развернула государство со всем его репрессивным аппаратом, это не с ней противостояние, а со всей этой машиной, тут не просто силы неравные, тут сопротивление бесполезно. Тут по-другому надо мыслить: отойти, чтобы войска уберечь. Что ты несешь, какие войска, при чем тут войска?.. Ну а Ульяна что, вот что Ульяна? Что она кому докажет? Пусть уже Марина швырнет ей эту кость, и черт бы с ней. Пусть, зато она пропадет из их жизни, сгинет туда же, откуда нарисовалась, а в семье у них опять будет мир, потому что, если уж до конца быть честным, и тут Марина права, то нету ничего более важного в человеческой несовершенной жизни, чем мир в семье.

• • •

Первой появилась неприметная тетка в штатском с такой короткой стрижкой, какие люди себе не от хорошей жизни делают, у Ульяны так в школе училки носили. Чисто женщина-мышь. У нее в руках папка была из кожзама и планшет. Зашла в ординаторскую, навела справки и двинула к Сашиной палате. Ульяна ее издалека еще заприметила, из другого конца коридора. Сердце екнуло, сразу догадалась, что за птица.

— Вы — невеста? — спросила у нее тетка.

— Я, — ответила Ульяна.

— Ну ясно. Я из ЗАГСа. Жениха вашего, Артур Иванович сказал, сейчас доставят. У вас все документы при себе?

— А какие документы? У меня паспорт только. Ну и вот УЗИ.

— УЗИ мне не нужно. На жениха документы у кого?

— У больницы, видимо, — растерялась Ульяна.

— Ладно, уточним. Насчет оплаты государственной регистрации в курсе?

— В курсе.

Она смерила Ульяну таким взглядом, как менты таджиков меряют, но сказать больше ничего не сказала. Посмотрела на часы, покачала головой недовольно, цыкнула, и тут же у лифтов, как по команде, началась суета.

— Вон везут.

И только в этот момент Ульяна по правде поверила, что победила. Что сломала их всех — и Артура Ивановича, и Алексея Алексеевича, и дядю Максима, и Сашину маманю. Все висело на сопле, все могло кончиться жутко, все они могли на ее разводку не повестись, и тогда выкинуло бы Ульяну в кювет, и все, пиздосики. А получилось наоборот: вон они бегают, суетятся, все купились, все крутятся, все у Ульяны пляшут. Так-то, сучки. Удача любит храбрых, а терпил во все щели ебут.

Она кинулась к Саше.

Добежала — и не узнала.

Он был серый, на щеках у него капли пота болтались, глаза вытаращены, зрачки как иголкой проколоты. На голове красный бинт, в руке катетер, рядом на палке мешок пластиковый с какой-то бурдой. Каталку везли два врача, позади вышагивал Артур Иванович. Ульяна встроилась в процессию.

— Саша! Сашенька...

— Ульяш? — он перекатил свои вытаращенные глаза на Ульяну: узнал.

— Ты как?

— Я анестезиолог, здравствуйте. Мы ему налоксон вкатали и флумазенил, обезболивание сняли, у вас минут двадцать будет, потом обратно поплывет, так что затягивать не рекомендую, делайте, что хотели, и все, — ответил ей сумрачно один из врачей, черноголовый.

— Давайте в палату его, чтобы люди не пялились, — приказал Артур Иванович; на Ульяну он внимания не обращал.

— Мы жениться будем сейчас, Саш, да?

— Да? Давай, — он моргнул. — Я только... Ульяш... Я тебе хочу... Только тебе хочу... Я хочу рассказать...

— Ты расскажешь, да. Давай мы быстренько сейчас... А потом все расскажешь, ладно? Что хочешь.

В дверях ждали Серый с Лешим, расступились, дали заехать каталке, потом тоже втиснулись.

— Здорово, — жмурясь, сказал им Саша. — А я жениться буду. Сейчас прямо.

— Ебать ты ферзь! — с уважением кивнул ему Серый.

— А я вот как раз у тебя свидетелем буду, — просипел Леший. — Нормас?

— Ага... Давай...

Женщина-мышь обратилась к Артуру Ивановичу, попросила доки. Тот достал файл какой-то, из него бумажки на Сашу.

— Тут копии, оригиналы потом вам барышня донесет, — пояснил он. — Алексей Алексеевич просит не усложнять, у нас тут обстоятельства.

— Я все понимаю.

— Ульяш... Я хочу тебе рассказать кое-что...

— Да-да. Сейчас. Скоро, Саш...

Зажужжал телефон у кого-то, Ульяна поискала взглядом, у кого так некстати — наткнулась только на кривую ухмылку Серого; а потом телефонная дрожь дошла через сумку, поняла, что у нее и звонит. Схватила — Татьяна Николаевна. Скинула ее. Та снова зазвонила, прямо сразу же, и Ульяна тогда отрубила телефон вообще на хер, чтобы не мешало.

— Так, ну что, молодые? — скучно произнесла женщина-мышь. — Готовы?

— Готовы, — сказала Ульяна.

Саша молчал, сглатывал, потел. Пот затекал ему в глаза, он жмурился. Ульяна взяла его за руку. Ладонь у него тоже была вся мокрая и холодная, но отпускать ее было нельзя.

— Погнали, — сказал Леший. — Тададада... Тададада... Та-та-та-да-та-да, та-та-да, та-та-та, та-да...

— Это че? — спросил Серый.

— Это же Мендельсон, марш.

— Спасибо, объяснил. А то так хуй б мы тут поняли.

— Так! Тихо! Дорогие Ульяна и Александр. Я рада приветствовать вас здесь в этот знаменательный и волнительный день, который станет одним из самых важных в вашей семейной жизни, — отработанно завелась женщина из ЗАГСа. — С этого дня вы будете строить свой особенный, прекрасный и многогранный мир, имя которому — семья! Семья — это союз любви и верности...

— Минут пятнадцать осталось на все про все, — сказал ей анестезиолог. — Плюс-минус. Может, без прелюдий обойдемся?

Мышь вопросительно взглянула на Ульяну: что Саша тут особо не участвует, она поняла уже. Ульяна кивнула.

У кого-то телефон стал наяривать жесткую электронику. Ульяна вздернулась, завертелась. А это у Серого — и он подошел.

— Але? Да? Кого? — скорчил он дебильную рожу, удивился как будто бы. — Сашу? Саш, тебя.

— Это кто? — вскинулась Ульяна.

— А это его мама, — улыбнулся ей Серый. — Саш, тебя мама к телефону.

— Мама? Правда? — Саша перестал щуриться, расслабился на секунду.

— Как? Саш, подожди... — Ульяна хотела метнуться, перехватить мобильный, но Серый его из рук не выпускал, так и поднес сам трубку к Шашиному уху.

Саша склонил перемотанную голову к мобиле, скосил глаза к динамику. Попытался улыбнуться матери.

— Мам... Привет. А я женюсь вот. Ага. На Ульяне.

— Не... Не... Саша... Ниии... — запищала, заверещала трубка, как крыса, которую сапогом давят.

Ульяна сжала кулаки. Серый не отводил взгляда от нее, ржал, гондон, мудила, это он специально все, это он подстроил. Ульяна тогда вместо того, чтобы Серому выцарапать зенки его наглые, взяла опять Сашу за руку.

— Почему, мам? Я хочу. Я сам хочу. У нас это... У нас ребенок же будет. Да я норм... Я не под наркозом. Мам... Я решил... — заспорил из последних сил Саша с матерью. — Мам, я на этот раз сделаю, как сам хочу. Да. Ты не злись, мам. Ну что ты ругаешься? Ладно, короче... Это... Приезжай, мам. Давай. Я буду ждать. Ну все. Все.

Он посмотрел на Ульяну — глаза блестят, промокли. В этой своей шапочке из бинтов, опухший, он на секунду показался Ульяне красивым — потому что за нее заступился. На секунду только, потом вспомнила про ноги и вообще про все.

— Она с тобой хочет поговорить, Уль...

Ульяна кивнула. Серый зло ухмыльнулся, харкнул и втянул обратно в себя харкоту, покачал головой, но трубку ей отдал: на, бля, так и быть. Приложила ее к уху, и сразу хлынуло от туда гноем.

— Ты что делаешь?! Ты какое на него право имеешь?! Ты никто, никто! Вот когда у тебя будет свой сын, тогда! А сейчас... Я им все, все отдала! Сына отдала! А ты что?! При чем тут ты?! Всю жизнь, всю жизнь ждала, чтобы хоть что-то! Сыночка им отдала! А ты! Я тебя прошу, прошу тебя...

Она там рыдала, что ли? Хотела разжалобить, что ли, Ульяну? А у Ульяны не было жалости, ни на донышке. Была брезгливость.

— А уже поздно, Татьян-Николавна. Опоздали, получается, — она отключила телефон и в руке зажала, отмахнулась от Серого. — Потом отдам.

На нее все пялились — и мышь из ЗАГСа, и Артур Иванович, и свидетели. Только Саша смотрел куда-то вдаль, в стену.

— Давайте сделаем уже все, а? — попросил он. — Болит сильно.

— Дорогие Ульяна и Александр, — обратно завелась тетка. — Соблюдая торжественный обряд, перед государственной регистрацией брака я обязана спросить: является ли ваше желание вступить в семейный союз взаимным, свободным и искренним? Прошу ответить вас, жених.

— Да, — промычал Саша, цепляясь за Ульяну.

Она пожала его лапку, влажную, почти ледяную.

— Прошу ответить вас, не...

— Да, — сказала Ульяна.

— Я предлагаю скрепить ваше желание подписями в государственном акте...

Снова принялся вопить телефон Серого, но Ульяна его уже на второй ноте придушила.

— Я предлагаю вам скрепить ваше желание подписями в государственном акте о браке. Право первой подписи предоставляется невесте.

Она раскрыла планшет: там было уже распечатанное свидетельство о браке, все Ульянины данные аккуратненько вбиты, Сашины нет времени проверять. Ульяна взяла ручку, поднесла, куда эта мымра показала, стала подпись ставить — ручка не пишет.

— Не нервничайте, — сказала тетка. — Бумагу прорвете. На, распишите ее вот тут вот.

— Я не нервничаю.

Расписала у себя на ладони, ручка закровила синим. Ульяна быстрее, пока не перестало опять писать, черкнула вроде свою подпись. Посмотрела — чья это подпись? Как чужая.

Отдала ручку Саше. Как он сможет, своей вялой рукой?

— Красивенько только сделай, — попросила она его.

Он напрягся, накалякал там что-то.

— Так. И вот в свидетельствах... Ага. Ну. В полном соответствии с законодательством Российской Федерации ваш брак считается зарегистрированным. Я объявляю вас мужем и женой, — монотонно пропела мышь.

— Дожала, — хмыкнул Серый. — Вот баба.

— Я сам... — насупился Саша.

— Да ладно, ладно... Сам. Ферзюга, — Серый улыбнулся, потрепал его по плечу, а потом зыркнул на Ульяну. — Трубу верни.

Ульяна шлепнула ему по ладони его телефоном.

— Молодожены, можете поцеловаться, — разрешила женщина-мышь.

Ульяна наклонилась к Сашиному лицу. Пахло лекарствами. Она дотронулась губами до его губ. Он напряг их, но это был не поцелуй, а что-то другое. Щека испачкалась о его холодный пот. Жглось, как спирт. Ульяна подождала так секунду, потом выпрямилась. Что делать дальше, она не знала.

— Я рассказать хотел... — прошептал Саша.

— Так, ну я свидетельства тут оставляю. И по оплате тогда...

— Можно мне с ним поговорить? — спросила Ульяна.

— Ну мы, наверное, подождем, Артур Иванович? — предложил анестезиолог. — И потом обратно его в реанимацию заберем.

— Сами решайте. Мы свою часть, так сказать, выполнили. Все, поздравляю, — зам главврача наконец удостоил Ульяну взгляда. — Ну что, Ульяна Константиновна, я надеюсь, вы всем довольны?

— Да, спасибо.

Он вышел, и вся свита за ним вышла. Только Серый задержался, словно боялся Ульяну с Сашей наедине оставлять. Но у него опять заголосил телефон, и он пошел разговаривать к лифтам.

Саша ловил ртом воздух, нашаривал Ульяну глазами.

— Ну что ты, что? — спросила она у него.

— Голова болит знаешь как... Ульяш... Ты не злишься... А ты вот как думаешь... Я если умру, я куда попаду? В ад?

— Дурачок... Ну какой ад? Нету там никакого ада... — пообещала ему Ульяна. — И чего ты вообще умирать собрался, с какой стати? Ты вот об этом хотел, об этой ерунде?

— Ну...

— Я тебе запрещаю об этом думать! — сказала Ульяна, как в каком-то кино героиня какому-то герою, кажется, в похожей ситуации говорила.

— Я такое... Такое видел там... Ну... На нуле и... И вообще. Я мало был, но такое... И делали мы. Тоже. Я не хотел, Ульян. Я не хотел... — он издал странный звук.

— Саш, брось. Саш, не надо.

— Нет, надо. Я хочу, хочу сказать. Мы там делали... Я... Это плохо. Мы там знаешь, что... Болит сильно... Больно.

Ульяна снова твердо взяла его за руку.

— Не надо. Мне не важно, что ты там делал. Ты все правильно там делал. Там война, и там все так делают. Это приказ. Ты выполнял, и все тут. Точка.

— Я эти сны... Вижу все время... Я думал, это сны просто... — залепетал Саша. — Я вот это хотел... Рассказать тебе. А то снится и снится... Может, думал, если рассказать, оно полегче как-то... Ну, знаешь... Камень с души, типа...

— Саша! — остановила она его. — Это сны.

— Это сны, а то не сны... Ульяш... Ты где?

— Саш, ты бредишь просто. Саш... Все хорошо. Давай я доктора позову, ладно?

Саша доктора испугался. Глаза у него блуждали, искали как будто тут в палате какую-то другую Ульяну, знакомую, которая его бы до конца дослушала.

— Нет, я еще не успел... Я тебе, тебе хочу. Мы их... Мы с ними там знаешь что? Что делали...

— Какая разница? Там враги! Ты с ними то, что с врагами! Чтобы они сюда не пришли, к нам! Да они вообще не люди, Саш! Забей! Делал и делал! Ради нас делал!

— Ты же беременная, да? У нас будет маленький... Я хочу, чтобы он знал, понимаешь... Что это такое, что это такое... Если я умру. Голова... Лопнет...

Он зажмурил глаза, потом снова открыл, но они у него закатывались под лоб. Он расцепил пальцы, выпустил Ульяну, она его подхватила обратно, попыталась удержать, но он выскальзывал, он уплывал от нее на своей больничной каталке в море.

— Да. У нас будет, будет маленький. Ты не умрешь у меня, это раз, окей? А если... Ну, когда-то там... То он будет знать, что у него отец герой. Что отец у него был настоящим героем. Что Родину защищал. До последнего. И все. И точка. Понятно? Ясно?

Саша не ответил уже, слова ему больше не давались, только мычать еще мог. Ульяна подергала его, он только громче замычал, потом задрожал. Она поняла, что плохое что-то творится, крикнула врачей, те добежали от курилки, матюгнулись и покатали Сашу, не прощаясь, к лифту. Ульяна по коридору еще за ними успевала, заставляла себя на Сашу смотреть, а в лифт она уже не влезла. Дверцы сошлись и стукнули, в шахте завыло. Она осталась на лестничной клетке. Там еще стояли Серый и Леший. Серый отвернулся, Леший стрельнул у нее сигу.

Ульяна постояла с ними чуть-чуть, потом поняла, что больше ей тут делать нечего. Стала спускаться по лестнице вниз. Ее качало и тошнило ужасно, но почему-то казалось, что вырвать нельзя, надо это все в себе удержать.

— Вот те и хуй Шредингера, — прогундел сверху голос, как у детской дудочки.

• • •

До Саши они дозвонились, когда поезд уже к вокзалу подъезжал.

У Саши был такой голос свистящий, как у соседа Татьяниного в детстве. У него рак горла был, ему в шее дырку сделали, и он через эту дырку курил и присвистывал. И когда говорил, воздух в эту дырку уходил и вся сила голоса вместе с ним, затыкать

приходилось. Долго тот сосед не прокурил. Услышала она Сашин свист и засмушалась: что-то знакомое. Узнала и обратно забыла.

Потому что головой думала только об Ульяне: чтобы она сдохла.

— Таня... Тань. Ну как, действует?

Хорошо, дополз все-таки состав до вокзала, открыли вагонные двери, и какой-никакой воздух зашел в вагон. Воздух ей больше капотена помог. Не так хоть кружиться стало. Она поднялась осторожно на ноги. Ноги вроде несли.

Проводница еще раз уточнила, не надо ли скорую вызвать, но Татьяна твердо ей сказала, что обойдется. Виталя взял ее под локоть, и они потихоньку пошли по перрону. Потом устала, прислонилась к колонне и снова потребовала от Витали набрать Сашину соседу. Тот ответил, рассказал, что все уже состоялось, ничего-то уже не попишешь.

Виталя посмотрел на нее жалостливо, но Татьяна от этого его взгляда только рассвирепела. Не надо было тут никого жалеть, надо было дальше драться.

— Дак куда хоть, Тань?

— Туда. В больницу. Сашку повидать надо. И навестить, и мозги ему хоть вправить. И с ней, с ней поговорить хочу. Трубки она мне бросать еще будет... Поглядим еще.

Спустились в метро. Огляделись, разобрались кой-как. Поехали. Поезд помчался по туннелю, присвистывая.

14.

Через проходную Татьяну с Виталей насилу пропустили, никак не могли найти Сашу в больничных списках, пришлось ругаться. Куда-то звонили, сверяли, потом махнули рукой — ладно, проходи, раз мать.

В регистратуре подняли дело, сказали, что пациент в реанимации; Татьяна пошла в отделение через двор и прямо посреди двора увидела Ульянку.

Та сидела одна на скамье, на коленях у нее лежала тонкая папка, в пальцах зажата сигарета, а смотрела она через дорожку на мусорку напротив. Вокруг сновали люди, а Ульянка застыла, как сфотографированная. Пока Татьяна к ней шла, она ни одной затыжки не сделала, тонкая сигарета догорала зазря. Глаза пластиковые, как у куклы, дурные. Татьяна встала над ней, уперла руки в боки.

— Не стыдно тебе?!

Ульяна посмотрела на нее лениво, без всякого интереса.

— Добрались?

— Слушай-ко. Это все твои свидетельства о браке, это все филькина грамота, вот это что. Охомутала парня. А он весь вон лекарствами накачанный... Я вот сейчас прямо пойду и подам на развод.

Ульяна пожала плечами.

— Все-то вы об одном и том же.

— Саша кровь проливал, он на фронте, он родину защищал, чтоб вот такая шаболда, как ты, паразитка ты лешая, к нему приладилась? Он за нас, за свою семью...

— Это я семья, — сказала ей Ульяна заторможенно. — Я и ребенок. Что ты мне родиной тычешь? Это за нас он кровь проливал. За будущее за свое. Но это все неважно уже. Ни хуя ты не отменишь. Там при свидетелях все, при врачах. В полном сознании, по обоюдному согласию. И развода я тебе не дам.

Она какая-то другая совсем стала, Ульянка. Непробиваемая. Она сквозь Татьяну смотрела все на свою на мусорку на эту. Окурок додымил, выпал из пальцев. Татьяна растерялась: тот ее верный компас, который всегда ей показывал, кем командовать, а перед кем заискивать, у нее засбоил, завертелся. Но она все же оскалилась.

— Не хошь по-хорошему — будет, как я решу. Я к нему пойду, к Саше. Глаза в глаза он матери не ослушается. Гляди, без всего останется.

— А тебя к нему не пустят. Иди, я домой поехала, — Ульяна поднялась. — Пока, дядь Виталик.

— Пока, Ульян.

— погоди! — Татьяне кишки сказали не отпускать ее никуда.

Как она, вправду, станет их сейчас разводить? Если эта заартачится — по суду, что ли то? А она и беременная еще, на чью сторону суд встанет? И еще что-то Ульянка, кажется, свое, особое про женскую силу поняла, пока в Москве тут у них ошивалась, раз смогла Сашку так окрутить, что он матери слово поперек сказать не сомневается. Страх она потеряла.

— Ну чего еще?

Татьяна присела на скамейку: стоять не было больше мочи. Смягчила голос.

— Что мы с тобой воюем-то, Ульян? За что и воюем-то? Там же ведь и тебе хватит, и нам.

— Чего хватит?

— А то уж ты не понимаешь! Ох уж ты мне!

— Не понимаю, Татьян-Николавна. Расскажите.

Как она так Ульянку недооценила? Будто бы ни криком ее было больше не взять, ни слезами, ни угрозами. И вот что еще Татьяна почувствовала: Ульянка только в сок входит, а они с Виталиком отцвели уже, вянут. Лучше бы с ней по-хорошему договориться было.

Жалко коттедж кирпичный, в котором всех Татьяниных подопечных по комнатам можно было рассадить, жалко всю придуманную жизнь: хоть она и наспех была прикинута, а получилось сладко. Так красиво, как Татьяна даже и помыслить не смела, кабы не СВО. Зря и размечталась.

— Тебе вот что надо?

— В смысле?

— Ты вот это зачем все затеяла, с женитьбой? Ты чего хочешь получить?

— Не знаю.

— Ну что, квартиру ты там нашла себе или что? — предположила Татьяна.

— Или что.

— Ну сколько, сколько тебе надо на квартиру? Сколько, три миллиона? Четыре?

Ульяна пожала плечами. Татьяна заторопилась. У нее расчеты все были заранее уже прикинуты, в поезде как раз нашлось время начисто пересчитать.

— Вот сама посуди. Президентские деньги за ранение, это три миллиона будет. Так? Так. Там за инвалидность еще миллион, у нас первая группа, точно дадут. Четыре. Потом страховые выплаты, я смотрела, там два миллиона еще, военное страхование. И еще будет по увольнению со службы, единовременное пособие. Там три миллиона еще чуть не с половиной.

Ульяна прикрыла рот ладонью, как будто зевала.

— Четыре, да два, да три с половиной, это девять уже. Тут и тебе на квартиру, и нам хватит. Тебе от всего треть положена, это три миллиона. И нам с отцом шесть, да, Виталь? И все.

— А как вы так делите, Татьян-Николаевна?

— Ну как, как? Вот так.

— Он сам разве не должен решать, Саша, кому его деньги? Это ведь он воевал.

Ульяна говорила это все равнодушно и лениво как-то, как будто спора никакого не было и не было из-за чего спорить. Как будто не жизнь решалась, а задачка школьная по математике.

— Ульянка... Я с тобой как со взрослой тут. А ты мне что? Виталья! Где валокордин у нас был?

— Не понимаю, почему мне треть, — покачала головой та.

— Ты одна, нас двое, по всем законам так, везде написано. У нас вона еще и двое детей на содержании, пока еще на ноги станут, но это пусть его, ладно...

— А нас тоже двое, — сказала Ульяна. — Вот я и ребенок. Пополам надо. Вас двое и нас двое.

— Дак его нету пока! Надо на день выплат будет считать!

Нету его, а может, и не будет еще. Ты и куришь вон как паровоз, и рыбу сырую жрешь, и за воротник, небось, еще закладываешь. Куда тебе хоть ребенка еще растить?

— Не хочешь внука? — проговорила Ульяна медленно, вот ровно укуренная.

— Я-то?

Татьяна замешкалась, все ж таки в лицо врать она плохо умела, не этим брала. Так Ульянка ей вопрос поставила, как она сама себе старалась не ставить. И пронеслось в голове галерей со смазанными от короткой выдержки кадрами — коттедж и достаток либо чужой внук; шесть миллионов либо четыре; только ипотеку закрыть да ремонт доделать либо и самим еще пожить. Да ведь это не только ее ребенок-то, а и Сашин, а будут ли у него еще? Ну, у него не будут, так будут у Светки, Светка с этим делом

точно не замешкается, и этот вон обалдуй еще растет, а возможности такой уже больше не представится, жалко Сашку, но и себя жалко, так это ведь и для него тоже, эта ведь шалава с него денюжку стрясет и потом свинтит, поминай как звали, а мать сына своєю не бросит, будет и комнатка своя, и уход, было бы на что. Покидала обрывки мыслей в кастрюлю, за десять секунд все сварила, вот и готов супчик.

— Дак это...

— Понятно, — Ульяна сглотнула, как будто в горле застряло что-то. — Не сходятся циферки, да? Тут это, Татьян-Николавна. Хорошо, конечно, что ты уже посчитала там у себя все. Только придется тебе это... Пересчитать.

Она пошатнулась, снова попыталась заткнуть себе рот, а потом шагнула к газону, согнулась, и ее стало рвать. Шла наружу какая-то зеленая дрянь из нее, воняло кислым. Судорогами шла, стонала, пыталась отдышаться, и сразу же следом ее накрывал новый позыв.

Виталья испугался, подбежал к ней, хотел Ульянке воды дать из своей бутылки, но ее все никак не отпускало.

— Врача, может? Отравилась, эт самое?

— Да не надо... Не надо мне врача. Это просто... Токсикоз это.

Взяла у него наконец бутылку, прополоскала рот. Выпрямилась — и сама зеленая вся.

— А чего это пересчитывать-то? — спросила у нее настороженно Татьяна.

— А там суммы другие получаются. Саша-то умер.

• • •

А больше нечем было заняться, как Сашу увезли — только звонить в реанимацию и спрашивать, как он там. Теперь-то она ему законная была, так что отвечали. Вот и ответили, что умер.

Кровоизлияние, внутричерепное, и сепсис еще, что-то такое. Пере-спросила. Повторили то же самое.

Пачку скурила, пока ее Татьяна Николаевна нашла. Не знала, куда ей идти. В морг рано. Домой не хочется. Некуда идти, получается. Вот и сидела во дворе, смотрела на живых солдат. Они ходили, курили, болтали, смеялись. Кто-то плакал сидел, к кому мать приехала.

Тошнило сильно. Внутри — то ли в животе, то ли в горле — засела какая-то неведомая хуйня, переворачивалась с боку на бок, наматывала нервы, разрасталась, сдавливала и дыхательные пути, и пищевод: ни проглотить ничего, не выблевать. Уже подступала солено-горькая обильная слюна — думала, сейчас получится облегчиться, но оно не хотело наружу, оно хотело дальше изнутри Ульяну жрать.

Не смогла вот ты потерпеть.

Потерпеть со своей свадьбой.

И еще пусто очень стало. Все, что намечено, сделала, а зачем делала, забыла. Ветер листочки шевелил, деревья были как живые. Мир звучал: оказывается, до этого-то один только ее собственный бубнеж в голове было слышно, а теперь вот все эти госпитальные звуки прорезались. Тоскливые.

Татьяна пришла — как приснилась. Что-то стала свое гнуть, сначала Ульяна не сообразила даже, зачем та ей все это лепит. Потом догадалась — да она же еще не в курсе. И на вред не стала сначала ей говорить, такая та была нелепая. Но и развлечься не получилось. Когда Татьяна стала ей на пальцах свою математику объяснять, Ульяна вдруг в зеркале увидела себя. В кривом, да не в кривом. Те же квадратные метры, те же рубрики. Себя-то ей жалко было, себя-то саму она хорошо понимала, и до сих пор ей не казалось зашкварным эти примеры для начальной школы считать, прикольно даже было будущее попланировать. А когда Татьяна Николаевна это все разложила перед ней своими узкими губешками, своими сальными обрубочками, своими глазенками

заплывшими, оно сразу превратилось в какое-то говно. Стало понятно, что никакая это не мечта — квартира, а просто коробка бетонная, типа склепа. Закружилась голова от цифр, от Татьянинного мельтешения, и наконец Ульяну вырвало — едко, долго, всем, что она за последние три дня в этой Москве сожрала.

А когда закончило рвать, когда она попила Виталиной водички теплой из пластиковой бутылочки — то почувствовала, что ничего она и не выблевала, все внутри осталось. И немножечко даже подросло.

Сказала Татьяне про Сашу.

Та заголосила, запричитала, понеслась куда-то, Виталя бледный за ней, и все, сгинули к херам. Ульяна утерлась и поковыляла на выход. Сегодня идти на Сашу смотреть у нее уже не было сил. Тем более что она и так его все время перед собой видела. На каталке в палате, когда он, весь потный, ей там рассказать все что-то тужился.

Доехала до Москвы. К тете Марине рано еще было, что там, телевизор, что ли, смотреть сидеть? Ульяна пошла гулять. Побрела по Ленинскому, особо никуда, просто чтобы время убить. Вокруг стояли большие каменные дома, в домах были окна зашторены, чтобы чужие не пялились, по проспекту машины ехали в десять полос, а на каждом перекрестке открывался целый космос: еще больше каменных ущелий, еще больше железных рек, еще больше статуй, и народищу прорва. Висели растяжки: «Москва. Лучший город земли». И сердечко, типа смайлика. Люди были ленивые, разморенные жарой, и у каждого-то, небось, под льняной рубашкой или модным сарафаном была такая татуировка, как на этой растяжке. Все они были местные, все они обожали свою Москву до скрежета зубов.

А Ульяна ползла по Москве, как вошь.

Ничто не спасало — ни Москва-река, в сто раз их вологодской речки шире и державней, ни Кремля кусок, как будто с поздравительной открытки, ни шикарные мужчины в обтекаемых, из

будущего, машинах. Красивое все тут было — ну да, красивое, но фригидное; богатое, да — все из золота отлитое, все до блеска напидоренное, деньгами и срущее, и потеющее, но слишком самодовольное, само от себя приятно охуевающее, а Ульяну не замечающее в упор. Москва занята была: в свое отражение в реке смотрелась, не могла оторваться.

Тут своей было не стать, нечего и набиваться. Не породниться, не примазаться, не превратиться в это никак. Приезжая и есть приезжая, можешь на наш парад из-за ограждений и ментовских спин позирить и потом вали, откуда приперлась. Ну и смысл по этим улицам ходить туда-сюда, если по ним прийти некуда.

Хочешь жирной московской крови попить — ну попей, только аккуратненько ее лоснящуюся шкуру прокусывай: смотри, чтобы у нее не зачесалось там, а то она тебя живо к ногтю. Напилась? Теперь отползай, переваривай.

Не смогла ты потерпеть.

А может, специально не захотела? Недолго и колебалась, так-то. Потому что с инвалидом не захотела? Ну себе-то скажи, себе-то признайся, кто услышит? Да че ты, себя саму, что ли, стремишься, ладно те, говори уже как есть. Молчишь.

Увидела — продается мороженка с лотка. Лоток такой еще красивый, нарядный, как будто из старых советских фильмов. Очередь небольшая, человек пять. Спросила у себя: хочется? Не знаю.

Тут пломбира в пачках не было, тут все было по-модному: продавщица в переднике и чепце набирала таким круглым черпачком шарики из мороженной палитры, выстраивала из разноцветных шаров в вафельных рожках чуть ли не целых снеговиков.

Дошла Ульянина очередь. Вкусы — манго, фисташки, страчателла, лимон, шоколад, какао, арбуз, ваниль, клубника, чего только нет. Думала фисташки и розовый лепесток попробовать, а потом нахмурилась. Страчателла — белая с черными прожилками — вроде как шевелилась. Ульяна пригляделась, а это мухи по

ней ползают. Перелезли с черного на коричневое, с коричневого на красное. Люди не замечают, берут. Мороженщица мух сгоняет, но лениво, только для виду.

У Ульяны опять подступило.

Не стала брать, отошла.

Ну и протелепалась еще на районе вот так неизвестно сколько: то присядет, то прислонится, то дальше пойдет. Несколько раз к ней тетя Марина пробивалась, но у Ульяны было ноль желания с ней общаться. И сообщения ее открывать не получалось. Мама еще перезванивала, но Ульяна ей написала, что занята. Надо раньше было подходить, мам. Теперь-то уже че. Тут уже абонент не абонент.

И вот только когда Татьяна Николаевна набрала ей, Ульяна почему-то решила ответить. С Татьяной Николаевной их теперь кое-что связывало. Надо было послушать.

— А ты ушла, да?!

Ульяну то, что Саша умер, высосало. А Татьяну Николаевну словно бы, наоборот, накачало. Уже на повышенных, с ходу.

— Ушла.

— А в морг ты не хотела бы зайти, провести его?

— Провести? Что там проведывать-то?

— Я с доктором поговорила.

— И че?

— Будь ты проклята, вот что! — крикнула Татьяна Николаевна.

— Все сказала? — ответила ей Ульяна.

Ульяна не вешала трубку, пускай та ее костерит. Не спорила. Ну поругай, поругай, а я тебя послушаю. Это было как руки себе тупой бритвой резать, чтоб спустить лишнее из распухших вен. От грязного лезвия заражение вышло, поехала гнилая кровь по сосудам, царапалась, воспаляла Ульянины внутренности, загустела, свернулась, не хотела цедиться наружу.

Это все Ульяна и сама про себя знала, что ей Сашина мать рассказывала. Надоело слушать. Она ведь там тоже не плакала, подумала Ульяна, только изображала.

— Че ты причитаешь? Когда в армию его посылала, ты не причитала, а теперь вот запричитала, да?

Только к вечеру зарулила к дому. Вошла, а там ее уже ожидают. Стол накрыт, все торжественные, чисто пионеры перед Лукашенко на линейке.

— Кушать будешь?

— Не хочется.

Вот не лезло, реально. Упала на кровать потная, в подушку лицом. Грязь пульсирует, глаза сухие. Полежала так без движения. Ничего не отпускало. Тетя Марина постучалась в дверь. Ульяна не разрешала ей войти, но та все равно вошла.

— Ульянчик... Мы вот тут с Максимом обсудили... Ты не читала мои сообщения, да?

— Неа.

— Ну вот. Мы, во-первых, поняли, что вчера все очень погорячились. Наговорили друг другу всякого... Зря. И мы хотели бы сказать, что мы, со своей стороны, не совсем правы были.

Чистый ангел.

Ульяна перевернулась, оттолкнулась, поднялась. Тетя Марина тут одна была, дядь Максим в извинениях не участвовал.

— Так, и?

— И во-вторых, мы тебе деньги сняли. Вчера у нас не было наличными столько, а сегодня сняли, всю сумму, которая тебе требуется. Возьми, пожалуйста.

— Это мне вчера надо было, тетя Марин, а сегодня мне не нужно уже, — сказала ей Ульяна. — Что же вы вчера-то не дали с дядей Максимом?

— Ну... Это и неожиданно было, и... Я тебя прошу, возьми, — тетя Марина выхватила откуда-то подарочный бумажный пакет,

какие в универсамах продаются, с золотыми ленточками и прочей хохломой, и протянула его Ульяне.

— А мы и так уже расписались, — сказала ей Ульяна.

— Как? — растерялась тетя Марина.

— А так. Мир не без добрых людей.

— Поздравляю! Правда... — улыбнулась ей тетя Марина. — А ну тогда на свадьбу... На свадьбу вам с Сашей... Вы же будете отмечать, да?

Что ты тут будешь делать, какие добрые люди. Загнали в угол и облагодетельствовать хотят. Воины света, блядь.

— А дядь Максим где? Он что не поздравляет? — поинтересовалась Ульяна.

— Он да, он тоже. Максим! Максим, подойди, пожалуйста... Вот, это от нас обоих.

Дядя Максим из кухни подтянулся, кивнул Ульяне невесело, глядя ей куда-то в рот.

— Да ладно, я шучу. Не будет свадьбы.

— Почему?

— А Саша умер потому что.

— Да ты что?! — ужаснулась тетя Марина; а дядя Максим аж посерел.

— Прикиньте.

Они переглянулись. А она их обоих подсекла и к себе вела, как лещей на спиннинге. По хуй им было обоим на Сашу, клоунам. Ульяна-то знала, о чем это был разговор. Уж не о Саше. Московские дядя и тетя.

— Господи, Ульянчик... Мы... Прими наши... Наши соболезнования...

— Да. Да.

— Мерсишки. Так что можете бабульки свои, бабосики, оставить при себе.

Но тетя Марина все стояла со своим дебильным сувенирным пакетом, не понимала, как это Ульяна его не хочет принимать. А Ульяна ждала, пока до нее дойдет, пока впитается.

— Я прошу тебя, Ульяна... Я прошу, возьми. Ну зачем ты так? Тебе ведь малыша еще растить... Точно лишним не будет. Не на одно, так на другое. Пока еще от нашего государства дождешься...

Не о ней они заботились. Это они ее своими подарочными рублями усыпить хотели, от нее откупиться. А от нее нельзя было больше откупиться. Там не про куплю и не про продажу уже все было, а они этого никак не могли вкумекать, сладкие москвичата. Ей другое теперь требовалось.

Чего просить?

И вдруг оно само ей в голову пришло, из ниоткуда, а вернее, из всего прожитого. И сразу зажглось, сразу захотелось на них это выплеснуть. Не просто уже уебать их похлеще, а сорвать с них это все белоснежное, от которого у нее глаза резало, догола их раздеть, как вот она сама перед ними голая была, а потом еще и шкуру с них спустить, чтобы стало видно, из чего они сделаны: да просто из мяса, как и Ульяна, как и все люди. А то, пока они с иголочки одетые стояли, рядом с ними, чистюльками, ей было неуютно, от себя самой неаппетитно.

— А знаете что? Я могу взять.

У дяди Максима лицо порозовело, а тетя Марина обратно задышала. Снова стала тянуть ей пакет, хотя у Ульяны руки еще висели вдоль тела. А Ульяне не пакетик с бумажками нужен был. Ей нужно было доказательство, что все люди одинаковые, а не одна она мразь. Ульяна хотела послушать, как у них хребет хрустеть будет, если на нем попрыгать.

— Я вот Саше хочу памятник поставить. На могиле. Что он герой. Герой СВО. Вот я на памятник бы взяла у вас. Дадите мне на памятник? От меня будет — и от вас, получается.

Они заюлили, скуксистись. Дядя Максим на тетю Марину аж фыркнул, он-то, видать, и на свадьбу жертвовать не хотел, но заставили.

— Ну что, дадите?

— Ульяновчик... Мы понимаем...

— Что «Ульянчик»? Чего вы там понимаете? Я спрашиваю — дадите на памятник? Без вас не поставить. Поможете. Ну? Чтобы его подвиги помнили. Нет?

— У тебя был ужасный день...

— Вы на вопрос мне можете ответить, тетя Марин? Не хотите? Да, дядь Максим? Не хотите? Потому что он — что? Убийца? Как вы там говорили?

— Я так не говорила... Он жертва, Саша... Жертва этой войны... И нам его жаль, безумно жаль, правда... Мы и не говорили, что убийца... Разве мы говорили такое, Максим?

— Бэээ... Мэээ...

Одеты вы только в красивенькое, а мясо-то гнилое. Вон там опарыши в вас уже вовсю шуруют, зато брючки светлые по стрелочкам отглажены.

— Безумно жаль им. Вот ведь. Пиздите как дышите, — усмехнулась Ульяна. — А я не хочу, чтобы вы его жалели. Я вот им, например, горжусь, ясно? Он ради своих родителей туда пошел, ради меня, ради нашего будущего. Он туда поехал, чтобы хохлы на нашу землю не пришли, чтоб вы тут дальше могли рыбку вашу гребаную кушать и винчиком запивать. А вы этого не хотите понять.

— Ульяна...

— Так да или нет?

Они все мялись.

— Ну тогда не о чем разговаривать. Не хотите — как хотите. Тогда че, уебен зи битте.

Потоптались и ушли, и пакетик свой с собой прихватили.

• • •

Они спрятались у себя в спальне; Максим закрыл дверь, прислушался — не стоит ли Ульяна с той стороны?

— Она же специально это делает!

— И что? Ну и вот что теперь?

— Она нас в это все хочет макнуть, ты что, не понимаешь?

— Максим. Максим. Успокойся. Давай... Давай мы спокойно. Давай все же будем держать в уме, что у нее жених сегодня умер. Что у нее срыв.

— Да она спокойна как удав! Это у меня срыв! У меня!

— Просто держим это в уме, хорошо? Я о другом.

Марина поймала его за руки, чтобы он не размахивал ими так. Поймала и держала. Цепко. Ему стало неловко.

— Я тебя прошу. Мы уже все равно с тобой все сделали. Мы уже согласились, мы уже деньги сняли, мы уже их отдали. Уже все, Максим. Понимаешь?

— Ты сняла.

— Неважно, кто снял. Мы отдаем ей эти деньги. Мы с тобой решили отдать ей эти деньги, и мы понимаем, почему мы это делаем. Мы это делаем, чтобы убереечь нашего сына. Вот и все. А почему она принимает эти деньги, что она там хочет услышать — это ее дело. Ты согласен со мной?

Максим высвободил свои запястья: да никакая это не паническая атака, все под контролем. Марина говорила с ним вкрадчиво, будто кобру заклинала, и как соблазнительно было бы согласиться с ней — жаль, никак не получалось.

— Я не хочу врать. Почему я должен врать? Только я умоляю, не надо никаких пошлостей про ложь во спасение.

— Ты и не должен врать. Тебя просят просто согласиться с тем, что она поставит ему на могилу что хочет. Ну поставит памятник и пусть поставит. Будет там какой-то нелепый памятник стоять за миллион рублей.

— Она там еще и напишет, что это от нас!

— Я тебя умоляю, Максим. Что она там напишет? Это она просто так говорит, чтобы тебя позлить. Из-за твоих этих нотаций.

— Нотаций?! Я еще теперь в этом виноват буду? Это ты, ты ее к нам притащила! Ничего бы не было, если бы ты не...

— погоди... Тебя это, что ли, волнует? Что она напишет? Что кто-то узнает? Да брось. Никто об этом не узнает, Максим. Никогда. Кому она об этом расскажет?

— Об этом я буду знать. Я, Марина! Я буду знать, что она меня заставила это сделать. Что заставила меня это сказать! Сделать!

— Послушай меня. Все ровно наоборот.

— Это как так?

— А так. Если Кирилла отправят на войну, на фронт если его отправят, вот это будет беда. И не дай бог что случится. Но даже если он без царапинки потом... Все равно это будет беда, просто другая. Навсегда. Вот об этом, вот это!

— Я понимаю это... Ты думаешь, я вообще ничего?..

— Ну вот. А она тебе предлагает возможность просто откупиться. Все, что тебе надо сделать, это танец перед ней станцевать. Ну? Ну и станцуй, господи, сложно что ли?

— Я не буду! Пусть она на хер идет со своими танцами! Я не буду унижаться! Перед кем — перед ней?!

— Ничего не изменится от этого в тебе, Максим. Ну? Ну я не так сказала. Пойдем, просто отдадим ей деньги, скажем, что на памятник, и завтра она уедет в свою Вологду. И эта история будет закончена. И мы про нее забудем.

— Я не могу... Я не хочу, Марин... Пожалуйста... Я не хочу в этом участвовать...

Марина отстранилась от него. Вдохнула. Посмотрела на него... Без надежды и с жалостью. С обидной какой-то жалостью.

— Бедный ты, бедный. Бедный ты человек. Ладно. Не хочешь — не участвуй, Максим. Не хочешь — не участвуй. Я сама

отдам и сама все скажу. Мне-то все же попроще. Я-то одной ногой уже там.

Она устало покачала головой, взяла опять этот треклятый пакет, мягко надавила на дверную ручку, вышла в коридор.

— Ульяновчик... Ульянов? Мы подумали. Конечно, давай. На памятник.

— Да ну? — спросила от себя далекая Ульяна.

Максима сначала теплой волной обдало: благодарность Марине. Что взяла все на себя. А потом горячей: стыдом. Он помялся еще и тоже выполз в коридор.

— Вот. И пусть, конечно, от Саши правильная память останется... Тут можно и гранитный будет поставить, тебе хватит...

Максим, хмурый, заставил себя сделать шаг вперед, к Ульяне. И еще шаг, и еще.

— Так пусть мне это дядя Максим все это скажет. С вами-то все и так понятно, — отдельно и четко произнесла Ульяна.

А он уже почти до них дошел, и не возвращаться же было, не убегать же. Он просто застыл на месте, и челюсть у него свело.

— Ну? — кивнула ему Ульяна. — Я слушаю.

Максим сжал кулаки и разжал. Сопли сглотнул. В голове колотилась птица, как в клетке, хотела улететь.

— Пожалуйста... — он мотнул тяжелой головой. — Не надо...

У Ульяны рот скривило. То ли улыбкой, то ли... То ли чем. Максим не смог ей в глаза глядеть.

— Ладно, дядь Максим, — сказала ему Ульяна. — Хуй с тобой. Живи. Давайте сюда свои бабки.

— А вот же, вот! — Марина сунула ей поскорей в руки пакет, пока та не передумала. — Тут все. Тут сколько нужно. На все хватит.

Легли в постель, не дожидаясь Кирилла. Каждый со своей стороны лежал, посередине граница. Молчали. Минут через двадцать Марина прошептала:

— Ты спишь?

— Нет.

— Я у нее спросила потом, когда ты ушел... Ульяна, ну ты же ведь не стала на нас писать донос? — она вздохнула.

— А она что? — Максим повернулся к Марине.

— А она мне говорит: ну а вы сами-то как думаете? Я ей — ну я думаю, Ульянич, что ты не стала, конечно, ты же добрая девочка, мы семья... Вот с мамой твоей только разговаривали...

— Ну и?

— А она плечами пожала.

Они лежали еще в полумраке, силуэтами. Окна открыли, чтобы дышать, а через них вваливался внутрь люминесцентный московский смог. Гоняли спортивные машины по Ленинскому, ревели моторами, а может, это украинские дроны летели. Во дворе кто-то то ли смеялся, то ли плакал.

— Слышишь? — приподнялась Марина. — Что это?

— Что?

— В ванной нашей. Вода течет, и...

Там Ульяниным голосом кто-то стонал. Открыли дверь, прислушались...

— Ее рвет там, — встревоженно сказала Марина.

Максим понятия не имел, что делать. А Марина прильнула к двери и тихонько спросила:

— Ульяна? Тебе плохо? Тебе помочь?

— Отъебитесь! — глухо крикнула им Ульяна. — Отъебитесь вы от меня все!

15.

— Вологда! Вологда, прибываем! — заглянула в купе проводница.

Ульяна оторвалась от рилсов, выглянула в сплошное, без форточек, окно: там плыли силикатные гаражи и пятиэтажки. Поезд мягко, скальпелем входил в Вологду. Она еще раз проверила сумку — не украли ли деньги — и встала.

Приехали.

Вагон застыл почти напротив сказочного вокзала, кремлевского сладкого подарка. Люди стали выливаться на перрон, разминать затекшие конечности. Кого-то встречали. Ульянина мать не смогла магазин оставить.

У вокзала стояла группка разновозрастных мужиков в военной форме. Ульяна только мельком их окинула взглядом и поняла — этих еще только туда везут. Это были пока что просто обычные мужики, на которых камуфляж напялили, а не ходячие мертвецы.

Удобно все-таки людей поездами возить, за раз много влезает.

Дядьки в форме на Ульяну никакого внимания не обратили. От Ульяны женского ничего не исходило сейчас, вообще. Еще когда с утра зубы чистила в вагонном сортире, в зеркале увидела тетку. И ничего, не испугалась даже. Вообще как-то было на все насрать.

Сколько она в Вологде не была? Неделю?

А казалось, что с детства не бывала. После Москвы тут было как-то пыльно, тихо, пусто, очень спокойно. Вот спокойствие Улья-

не понравилось. Понравилось, что машины едут медленно, что люди снулые, что голосов на улице так мало, что можно к каждому прислушаться и разобрать, что не склеиваются они все в единую массу. Понравились трещины на асфальте, а в них трава, понравились пузаны с борсетками через плечо, понравились потные женщины с красными харями, тонкие девчонки с пацанскими лицами, только обкорнанные парни с прозрачными глазами не понравились — Сашу напоминали.

Пошла домой, посидела. Потом легла, рилсы смотреть. Когда попадался гороскоп, Ульяна его сразу дальше проматывала, не интересно. Ржачные рилсы тоже все были тупые, не улыбало. Вставала только поблевать.

Потом ей написала Крис, позвала на пиво. И вот только тут какой-то добавили в день цвет. Кристинку ей хотелось увидеть и послушать хотелось. Кристинка была у Ульяны как щенок у беспризорника.

Ульяна собрала себя, стала накрашивать лицо. Сделала себе глазки, сделала себе губки. Реснички сделала. Выглядело как маска. Пока красила, забыла, зачем ей это было нужно. Но на встречу все-таки пришла нарядная.

Пригласила Кристинку в кафе. А че, деньги были — заняла у Саши из памятника. Взяли по «Балтике». Крис смотрела на Ульяну так, как будто Ульяна никуда не ездила, по-старому. Ульяну это устраивало.

— Жалко его, — ойкнула она, когда Ульяна ей сказала про Сашу.

— Ага.

— Ну не чокаясь тогда, да?

Вот и помянули, получается. Но Крис долго про смерть не могла, из нее слишком жизнь струячила. А Ульяна не знала, что рассказывать. Да и вообще, не за этим как бы.

— Ну ладно, а ты че?

— Да че я... Ну с этим все, понятно, тут еще один нарисовался, прямо на улице познакомился, Денис, короче, ну тоже, что называется, не семи пятен во лбу, экспедитор, зато подкачанный такой, приятно потрогать. Ну то есть, я его там про сериальчики спрашиваю, он вообще ни хрена не видел, чисто такой, знаешь, хуй-пизда-Джигурда, но на лето так вроде нормик, затусить, а то одной сидеть че-то как-то это...

Ульяна кивала, улыбалась ей даже, чтобы не спалиться, что плохо понимает, о чем Кристинка говорит. Но все равно, просто посидеть рядом с Кристиной уже было целительно. Кристинка крыльшками трепыхала, лапки потирала, по сторонам осматривалась, за три дня очухалась, и все ей было интересно, а Ульяна смотрела на нее из своего янтаря окаменелая и пыталась вспомнить, как это и зачем.

— Только жрать нечего, — вздохнула Кристинка, — а так все, в принципе, заебись. Ты сама-то чем теперь будешь заниматься?

А Ульяне ничем не надо было заниматься. Она могла теперь просто валандаться. Но представила себе, как круглые сутки валяется и рилсы крутит, и опять затошнило.

— Че там с салоном нашим, кстати? — спросила она.

— Ну ничего. Я мимо шла, на нем написано, что продается прям вместе с оборудованием. Но тут за три дня никто не купит сейчас.

Три дня назад Ульяне было весело и лихо думать о том, как она придет к Анатолию Сергеевичу и кинет ему бабки в лицо, как тот охренеет. Вот бы снова это почувствовать. На, сука, поувольный тут еще меня. Теперь я здесь буду хозяйка и я буду решать. А ты — ну-ка живо собрал манатки и съехался из кадра! Ульяна прислушалась. Вот как со дна колодца эхо от «Ау!» возвращается — так же аукнулось слабенько в ней давешнее предвкушение того, как она будет Анатолия Сергеевича топтать. Но это все же было что-то, хоть какой-то звук.

— Я его выкуплю, — сказала она Кристинке. — Выкуплю и обратно тебя на работу возьму. И платить тебе буду в два раза больше.

Кристинка аж вспыхнула, так обрадовалась.

— Реально?!

— Ну.

— Ульяныч! Можно я тебя поцелую? Если че, могу и взасос!

Они обнялись.

Кристинка прижалась к ней всем телом, трепетала от счастья. Получалось, что с этими бабками можно было что-то путное сделать. Ульяна не отпускала ее от себя, грелась.

• • •

В похоронном агентстве Татьяна вдруг забеспокоилась, что они Сашу так представляют, что будет всем видно: безногого хоронят. А ей не подходило, чтобы люди видели. Не потому что за Сашу стыдно стало, а просто вот... Ну чтобы ему еще что-то хорошее сделать напоследок. Чтобы красавцем хоронили.

Вот и стала с ними ругаться, чтобы дали еще две подушки и уложили их так, как будто ноги, а сверху покрывальце чтобы какое-то. Те стали говорить, что подушка полагается только одна, в голову, и так уж она атласная, хотите — из дома несите. И Татьяна принесла из дома две перьевых хороших подушки, только что купленных, и сделала из них Саше ноги под одеялом.

Так-то его и прихорошили, и расчесали аккуратно, чтобы шрамов на голове не было видно, а лоб спрятали под бумажный венчик с образом Христа. Хоронили в парадной форме, купили ему с отцом, а в руки Татьянина мать ему свою икону Николы Угодника дала.

Он лежал в гробу нарумяненный, только глаза глубоко запали, не похоже было из-за глаз на спящего. Сидела Татьяна рядом с ним, сидела и все вспоминала: и свинку, и краснуху, и слизней на

капусте, и как в лесу потерялся, и двойки по математике, и «Дядю Степу». Любовалась на пластмассового пупса в гробу, а только пупс этот не был Сашкой. А где Сашка ее тогда был?

Нигде.

Опять поправила ему значки на груди, погладила чужую руку. Проверила — не вылезает ли из-под бумажки уродливый бурый шов? Нет. Все красиво было, все было прилично. По-людски.

Не хотела вспоминать, а вспомнилось, как Сашка на нее смотрел от военкомата, от автобуса, куда она его привела. Смотрел так, как будто это розыгрыш, как будто сейчас все отменят и домой отпустят обедать.

Ну вот, потом все приехали, подняли гроб на плечи, погрузили его в автобус, попылили на Козицинское кладбище. Как с большой дороги свернули, автобус стало на ухабах покачивать, и люди все, сидевшие в автобусе у гроба, мотались тоже вправо-влево, а сам гроб был хорошо приделан, ровно стоял.

Приехали на кладбище, а там этих могил! С флагами белосине-красными. Даже как будто и не кладбище, а парад. И венки, венки. И фотографии, фотографии. Все мужские лица. Ну и где-то в самом конце, у деревьев уже, сделали для Сашки место. Вместе со всеми, на Аллее Героев. У Сашки уже устроено было, только гроб положить, а они там уже еще дальше копали.

Как вылезли из автобуса, матка зарыдала.

— Вот, Санечка, ведь сколько людей пришло с тобою проститься, все тебя любят, а ты и не увидишь, — говорила она ему.

— Мам! Иди хоть за гробом, а не обгоняй! — цыкнула ей Татьяна.

Ей тоже было Сашку очень жалко, но сейчас Сашке больше было нужно, чтобы все достойно прошло. Он все ж таки боец, погибший. Надо его было чинно похоронить, как положено. Вот она для этого все сделала, что могла, Виталья-то запил, как узнал, ну и поминай его как звали. А приготовления все на ком? На Татьяне. Татьяне и гробовщиков рассчитать, и место подтвердить, и с ба-

тюшкой договориться, и могильщикам бутылку, и всем. И захочешь поплакать, а в голову ерунда лезет. Специально вот пораньше перед гробом села, чтобы прочувствоваться, а вспомнила не то.

Ну вот, дошли. Поправила Виталю, дала Теме подзатыльник, матери сделала замечание. От военкомата был какой-то мужик в погонах, он подошел уже к погребению вместе с батюшкой.

Это хороший был день для похорон-то, не жаркий, облачка белые заслоняли солнце иногда, листва шуршала на деревьях, которыми могильное поле обсадили, спрятали от дороги, и птицы чирикали. В такой день на даче хорошо.

— Ну вот, Сашка, теперь тут будешь, — сказал сыну Виталю, когда гроб донесли.

— Лазаренко Александр погиб при выполнении своего воинского долга на специальной военной операции, — раскатисто произнес военный. — Защищая наше Отечество от врага. Вечная память герою.

Пожал руку Витале, передал слово попу и пошел к другим таким же людям через двести метров.

— Со святыми упокой, Христе, душу раба твоего Александра, — запел батюшка. — Идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная.

Батюшка был молодой, русый, в очках, бороденка у него была жидкая совсем, как будто он ее никогда не сбрасывал, а голос низкий, ладный. Прочитал первую часть, а потом шепотом подсказал тем, кто рядом с ним стоял:

— А теперь вместе... — и подал пример, как ноты петь. — Вечная память!

— Вечная память! Вечная память!

И только потому что Татьяна за всеми приглядывала, еще издалека увидела она Ульянку. По росту узнала ее и по походке. Ульянка торопилась, не по-кладбищенски шла, не чинно, а как будто за хлебом вышла. Добежала, встала, не поздоровалась. Одета она была черт-те во что, чуть ли не в джинсы. Татьяна ей

выволочку тут устраивать не стала только из уважения к похоронам. Позволила постоять. На Татьяну она не смотрела, смотрела на Сашку. Кто-то ей сказал, небось, Виталя.

Допели молитву.

А Татьяна, пока пели, поняла одну вещь. И эта вещь так стала ее колоть изнутри, так резать, что она ее в себе не удержала, хоть и пообещала себе похороны не портить. Встала у Сашкиного изголовья, и, когда Ульянка подошла к ней целовать на прощание Сашку в лоб, она ей прошипела:

— А ты меня обманула ведь. Сказала, что в другой день поедешь. Ты меня ведь если б не обманула, я бы еще его живым застала. Хоть поговорили бы с ним, успели.

— О чем? — спросила у нее Ульянка, не глядя.

— А о тебе. Отговорила бы, был бы живой сейчас. Если б не твоя свадьба, наш Сашенька жив бы был!

Ульяна пожала плечами.

И только тут у Татьяны глаза открылись, оттуда хлынула вода, и она зарыдала в голос.

• • •

Попросили Кирюху специально пораньше на сей раз вернуться; Марина запекла в духовке свинину с чесноком, которую он с детства обожал, картошечку обжарила. А он все равно опоздал, и свинина окоченела.

Забежал в ажитации. Телефон у уха, мурчит туда упоенно:

— Прости, кошечка, я сегодня на домашнем. Да я после вчерашнего просто битый пиксель. А завтра я восстану из мертвых и обещаю на твоём сете быть в фан-зоне со светящимися палочками и «порнстар мартини»! I'm your biggest fan, ты же знаешь! Да, мадам Диана, вы сможете меня наказать. Ну прости, пожалуйста. Живу мечтой о встрече.

Наконец, помыл руки и заскочил в кухню.

— Вау! Это в мою честь, что ли, такое пиршество?

— Ну конечно! — улыбнулась ему Марина. — Голодный?

— Как зверь.

Он набросился на эту свою детскую свинину, заурчал прямо, а Максим только подлил себе виски снова.

— Может, хватит? — попросила Марина.

Он сделал глоток — опять большой, больный — и сказал сыну:

— Кирюх... Мы с мамой с тобой хотели поговорить.

— Валяйте, говорите! — позволил Кирилл.

— Мы считаем, что тебе надо уехать из страны.

— Опять двадцать пять! Это с какого перепуга?

— Потому что... Повестка висит. И с Ульяной... Кто ее знает, Кирилл. Кто его знает.

Кирилл перестал рвать зубами мясо, отложил прибор.

— Вы че, фор риал? Это на сколько?

— Ну... Вообще уехать. Совсем.

— Я не могу, па! — засмеялся Кирюха.

— Ну не совсем, — вмешалась Марина. — Не совсем! Пока это все не успокоится...

— Я не поеду никуда, — запротестовал Кирилл. — Вы что, перегрелись, что ли? Куда я поеду?

— Не знаю, куда. Куда хочешь. Можно в Грузию сначала, по проторенной...

— Я не хочу ни в какую Грузию! — улыбка у него так и присохла. — Че мне там делать?!

— Ну не в Грузию, а в Таиланд! На Бали. Сколько вон нашего народу на Бали, — Максим сделал еще один глоток. — И всех все устраивает!

— Не хочу я никакого Бали, блин! Там тухло! Они старчиваются там все! Я не хочу в гриб превратиться!

— Париж, Нью-Йорк, Лондон... Да весь мир открыт, Кирилл! Весь мир!

— Кого я там знаю? Я там никого не знаю! Какой еще Нью-Йорк, ты бредишь, что ли?! — голос у него сорвался.

— Я так это... В качестве примера... — смутился Максим.

— Меня на работу взяли! Я хотел вам сказать... Я думал, в честь этого ужин... Я третий раунд прошел, с заместителем генерального... Меня на двести пятьдесят штук берут! Меня! Берут! И там перспективы...

Максим опять пригубил.

— Везде перспективы, Кирюх... Тут прошел, и везде пройдешь. Ты у нас мозг...

— Я никуда не поеду, — вдруг другим совсем голосом, жестким, взрослым, сказал ему сын.

— Поедешь, — таким же голосом ответил Максим. — Поедешь как миленький. Или поедешь, или в армию пойдешь.

— Бред! Да сколько можно-то? У меня девушка тут... У меня тут все. Друзья... Чего вы меня выпихиваете?

— Да потому что тут никогда уже не будет нормально!

— Тут и сейчас — окей! Мне все нравится!

— Окей? А мы не хотим тут сидеть и трястись за тебя! — крикнул ему Максим.

— А не надо! Не фиг сидеть и не фиг трястись! Это ты, ты ссышь! Ты, а не я! А со мной все нормально будет!

— Диана приедет к тебе. Если любит. И вообще... Девушки... Ну, девушки... — впервые сказала слово Марина.

— Ма! Ты-то куда?! Че ты лезешь в наш разговор?!

— Не смей так общаться с матерью! — рявкнул Максим. — Не смей, ясно тебе или нет?!

— Да иди ты на хер, па! Ты-то как сам с ней общаешься? Учить меня еще будет! Сидит бухает сам и еще че-то тут...

Он с отодвинул от себя тарелку со свиными ломтями, подскочил и хотел бежать, но Марина раскинула руки и поймала его.

— Пожалуйста! — попросила она. — Ну пожалуйста!

— Что «пожалуйста»? — загрохотал Кирилл басом. — Что?!

Это другой был человек, не Кирюша; посторонний кто-то.

— П-пиздюк! — взревел Максим. — Пороху ты не нюхал потому что! Что ты знаешь-то? У нас рефлексы потому что! С рождения! С молоком матери... «Ссышь!» А вашему вот поколению их приобретать еще! Ну ничего, приобретете... Никуда не денетесь!

— Мальчики...

— К-какие на хер мальчики? Посмотри вон, лоб какой! И ни-хера думать не хочет! Трахаться он хочет!

Марина всхлипнула.

— Это просто время такое... Нам надо его просто переждать... Оно не навсегда... Это скоро кончится уже. Скоро, я чувствую. Это не может долго продолжаться... Это противоестественно — то, что происходит. И он долго так не протянет. Он уйдет, или он умрет, и все вернется, все будет, как раньше. Нам просто нужно пересидеть... Переждать. Сберечь себя. Друг друга. Мальчики... Ну я вас прошу.

Кирилл аж передернуло. Он выкрутился из Марининых объятий, выпутался из них, фыкнул. Вырвался в коридор, хлопнул входной дверью. Максим долил себе виски.

— В-вот говно, — сказал он нетвердо.

Марина тоже ушла. Максим поднялся, подошел к окну, приоткрыл его. Зашел теплый летний воздух, сладкая московская гарь. В темном стекле отражался он, Максим — с перекошенной харей.

— Г-говно, — с ненавистью повторил Максим и хлестнул себя по щеке.

• • •

Очередь в гинекологию была небольшая: клиника частная, маленькая, Ульяна нашла такую, чтобы на улице ни с кем не встретиться; в чужом районе. Сидела какая-то таджичка, то ли казашка, сидела девчонка какая-то лет чуть не семнадцати, и еще женщина с животом.

Пока свою очередь ждала, Ульяна все в телефоне алмазики гоняла — надо было по цвету и по форме их подбирать, чтобы они рядами обнулялись. Хорошая игра: ни о чем другом не подумаешь, не отвлечешься, не то что рилсы. В алмазиках Ульяна далеко зашла, даже в топ игроков попадала.

Вот вызвали.

Ульяна одернула юбку, шмыгнула носом. Какой там врач будет? Дзагоев Тимур Михайлович.

Мужчина в возрасте там был, усы черные с проседью, очки как у интеллигента. Приятный как будто, но такой и в фирме какой-нибудь мог директором сидеть, не сказать сразу, чтоб именно врач. Лицо не слишком сочувственное. Это, может, и хорошо.

— Слушаю вас.

— Хочу сделать прерывание беременности, — глядя ему в глаза, сказала Ульяна. — Я вот прочитала, у вас есть вакуумное, одним днем, да? Амбулаторно. Мне нужно одним днем.

— Так-так, погодите, — доктор Ульяну мягкой ладошкой осадил. — Давайте мы хоть пообщаемся с вами для начала. Вакуумное! Вы же понимаете, что там у вас человечек сидит. У него там ручки, ножки, глазки... А вы — вакуумное. Душа у него есть, возможно. У вас какой срок, позвольте поинтересоваться?

— У меня срок тринадцать недель.

— Сколько?

— Тринадцать, — повторила ему Ульяна.

— Тринадцать! Ну вы что! Нет... На таком сроке мы уже точно ничего вам сделать уже не можем, — он заерзал в кресле. — Мы тут только до двенадцатой, дальше нам нельзя. И уж точно там никакого не вакуумное... Там уже аборт-аборт! Но, как я уже вам сказал, мы не имеем права.

Ульяна к этому разговору готовилась. На коленях у нее стояла сумка, она щелкнула замочком, открыла ее.

— Я сверх прайса дам, — сказала она тихо, но уверенно.

— Сверх прайса! Вот вы... Почему вы вообще решили это делать?

— Беременность тяжелая, — ответила Ульяна. — Токсикоз и вообще.

— Ну, знаете! Милая моя... Токсикоз! Мало ли, токсикоз. Это ведь пройдет все, это временное явление. Это точно не повод! И вообще... Тринадцать недель. У него там и пальчики на руках, на ногах, и выглядит он совсем как человек. Вот такой... — он показал на пальцах. — Сантиметров восемь уже.

— Я в курсе. Я интернет читаю.

Снаружи она еще держалась пока спокойно, хотя изнутри кололо по ребрам все злей, все быстрее.

— После двенадцатой недели у нас в стране только по социальным основаниям разрешается...

— У меня социальные основания, — уцепилась за подсказку Ульяна.

— Это какие?

— Мать-одиночка. Отца нет.

— Социальные это знаете какие? Сейчас урезали перечень очень, — внимательно разглядывая Ульяну, сказал Тимур Михайлович. — Сейчас социальные — это только изнасилование. С вами, я надеюсь, ничего такого не происходило?

— Нет.

— А где отец? Ребенка.

— Умер.

— Можно поинтересоваться, при каких обстоятельствах?

— Он на СВО погиб, — произнесла работавшее раньше закливание Ульяна.

Врач изменился в лице.

— Мы не можем. Я вас прошу, даже не стоит...

Ульяна запустила руку в сумочку и достала оттуда пачку: сто тысяч рублей. Стянутые банковской бумажной лентой. Дяди

Максима деньги, Сашины. Положила на стол, прочла ему надпись на ленте:

— Сто тысяч.

Тимур Михайлович от пачки аж шарахнулся.

— Вы, наверное, не понимаете, да, девушка? Нас тут всех к губернатору вызывают, инструктируют, что больше это нельзя делать. Всех сказано отговаривать. А тем более от участника СВО! Ну вы что, вы в себе вообще?

Ульяна пошебуршала в сумочке и выложила еще одну такую же пачку на стол.

— Двести.

— Я не могу, вы что, не слышите меня? У нас проверки идут, нас закроют к черту, если я вдове участницы СВО сделаю аборт!

— А не надо нигде писать. Просто сделайте. Триста тысяч, вот. Хватит?

Он вскочил.

— Я говорю вам, триста, не триста, тут речь о том, что меня сюда с прокуратурой закрывать придут, что вы меня провоцируете? Прием окончен, спасибо!

Ульяна швырнула ему еще две пачки. Тимур Михайлович посмотрел на них, на полмиллиона рублей на своем столе. Качнул головой вправо, влево.

— Вы не понимаете, какое сейчас время? Столько гибнет мужчин! Не только ведь у вас! Стране нужно восполнять... Программы вот специальные, президент говорит. И это не по-православному тем более. Традиционные ценности, семья... А вы? Вы вот — верующая?

Ульяну начало трясти.

— Я не хочу. Я не хочу его. Вам сколько надо? Что вы меня тут... Зачем? У меня вот еще, вот еще есть, все, больше нету, чего вам надо еще? Я не хочу его, дальше с ним внутри ходить, я хочу, чтобы вы убрали его, что тут непонятного?! Что?! Уберите это из меня! И мне не надо денег никаких, ничего! Ну что ты на меня

уставился? Ты тупой, что ли?! Это мое тело, я хочу его убрать! Вакуум, не вакуум, тебе что, денег мало?!

Доктор сгреб со стола все раскиданные бумажные пачки, отобрал у Ульяны сумку, запихал все внутрь. Схватил ее за руку, дернул вверх, потащил к двери. Она упиралась, но он был сильнее.

— Женщина... Спокойно! Тут ни я... Ни вы... Мы тут ничего уже не решаем... Ты меня слышишь? Все! Тихо! Тут от нас ничего не зависит уже!

— Я все равно все сделаю, ты или не ты, думаешь, других врачей нету?! Принципиальный он нашелся! Или ты просто ссышь? Ссышь, да?!

— Все... Все. Извините.

Выпихнул ее в коридор, встал в дверях, весь красный, перегородившая Ульяне путь обратно, и крикнул девчонке на ресепшен:

— Катенька... Катя! С этой не бери. Да... Отказалась от приема.

• • •

Потом Москву совсем уже разморило, людские потоки обмелели, а все те, кому некуда было ехать в отпуск, слонялись снулые. На выходные Максим с Мариной вяло барахтались на даче, влипнув в безделье, как в переслащенное варенье, и в город не собирались. Но позвонила с работы Галина Игоревна и сообщила, что пришло письмо с печатями. В письме говорилось, что назавтра им назначена прокурорская проверка по жалобам потребителей.

Марине Максим только сказал, что на работе случился очередной форс-мажорчик, собрался и поехал в город. Это как-то стремительно получилось, почти рефлекторно, и только стоя на Симферопольке в потоке других дачников, он вдруг вынырнул на секунду из потока сознания, в котором уже прикидывал, куда девать из магазина все иноагентские издания, и взглянул на это все как бы со стороны. Он же собирался идти до конца, защищая

свой ассортимент, сам призывал на свою голову эту проверку и был к ней, кажется, совершенно морально готов. Да он и по-прежнему был уверен, что никаких законов не нарушал, что любой проверяющий неизбежно придет к этому выводу и ничего Максиму предъявить не сможет.

Куда же ты едешь и зачем?

Слава богу, что хотя бы за день предупредили, — глухо и в диссонанс с голосом разума параллельно бубнил в нем второй голос. А вот представь, если бы они день в день пришли, напугали бы бедную Галину Игоревну, перевернули бы все вверх дном, нашли бы Невзорова, Быкова, Шульман, а вдруг там еще и «Лето в пионерском галстуке» на складе где-то валяется, тогда вообще что? Слава богу, что дали возможность навести порядок, припрятать всю запрещеночку, вывезти ее куда-нибудь, прикинуться шлангом.

Только на время проверки припрятать, строго сказал один Максим другому. Ну да, на время проверки, разумеется. Просто потому что нет никаких особых причин нарываться, просто потому что незачем привлекать именно сейчас к своему бизнесу, к себе, к своей семье излишнее внимание. Мы же не знаем достоверно, изучают нас сейчас тут, так сказать, под лупой или нет, и не является ли эта проверка частью какой-то большей проверки, правильно? А зачем помогать им, когда наша задача им всячески мешать? Марина, в конце концов, правильно тогда сказала, да и не она это придумала, три поколения советской интеллигенции так прожили — и выжили, и дождались пусть недолгих, но более счастливых времен, — что главное, это сберечь себя. Ну вот закроют они его магазин, кому от этого лучше будет? Когда утихнет, иноагентами можно будет из-под полы торговать все равно, а на полки так вызываяще их не обязательно выставлять. Но пусть сначала утихнет, конечно.

Конечно, закон на его стороне, но законы меняются каждый день, а их еще в этой волшебной стране научились и задним чис-

лом применять, это раз, а два, закон у них только для врагов, как Франко завещал, а если проверяющие захотят, а они захотят — уж наверняка они вместе с этими активистами заявятся, а те им нашепчут — предъявят ему что-нибудь еще что-то никак с книгами не связанное, к примеру, дискредитацию армии, а он и так в уязвимой позиции, зачем искушать? И при чем тут страх, страх как раз толкает к иррациональному поведению, к импульсивному, а тут наоборот, тут чистый рациональный расчет, тут взвешенная калькуляция рисков, это ведь как шахматная партия, которую Максим играет с гроссмейстером, в ней фигурами можно жертвовать, чтобы партию не проиграть, а стратегии могут быть разные, можно и затягивать, можно ждать, что гроссмейстера другие игроки изматывают и он зевнет, совершит оплошность, да и к ничьей привести игру при нынешних-то обстоятельствах было бы уже отличным результатом.

А потом он уперся в красный сигнал светофора, уже в городе, и протрезвел на секунду. Ну как же не страх, когда именно страх и есть? Чувствуешь, как поджался, чувствуешь, как суетишься, как злишься на этот светофор, что так долго красный горит, что не пускает тебя в твой книжный, будто задерживает, чтобы ты не успел неправильные книги с полки убрать? Что это, как не страх?

Мы переждем, мы пересидим, мы обязательно дождемся, помер тот — помрет и этот, как писали маркером на городской рекламе партизаны фигового подполья, кивнул себе Максим. Вот только будут ли те, кто дождался, теми же, кто надеялся переждать?

А потом загорелся зеленый, и Максим поехал дальше.

Машину бросил криво, с Галиной Игоревной поздоровался деловито, отпустил ее на перерыв, а сам притащил со склада картонную коробку и начал в нее аккуратно, без спешки, держа себя в руках, собирать с полки все сомнительное. Там все хорошие были книги, Максим всегда сам определял ассортимент, полагаясь, в первую очередь, на свой вкус. И он уж точно не соби-

рался их выбрасывать, просто увезти куда-то, да вот хоть на дачу, и там спрятать, укрыть их от прокурорской проверки, от расправы. В этом даже что-то поэтичное, пожалуй, было, если так подумать. Если так подумать.

• • •

Ульяна собралась уже ехать обратно в Москву — это в Вологде все гинекологи были запуганные, а в Москве у них за деньги все можно было купить; пока искала, время затянула. Потом маму навестила.

Дождалась, пока она закроет продмаг, двинулись домой. Мама все рассказывала ей про свои огородные дела, за соседней отчитывалась, а сама между делом — Ульяна чувствовала это — все поглядывала на нее так... Как на сироту.

Дошли, поставили чайник. Ульяна зашла в свою комнату, откуда вылупилась. Там все было нетронутым, как будто вот она еще школьница. До начала всей этой дебильной жизни. Легла на свою старую кровать. Встала: тесно.

— Есть покрепче что? — спросила она у матери.

— Какое? Покрепче она собралась! Ишь чего! А рожать кому?

— Не хочу рожать. Не буду.

— Ульяш... Ну вот коньячок есть. Как не хочешь-то?

Ульяна налила рюмку, выпила, сразу еще налила. Мать качала головой, но не спорила. Ждала. Ульяна опрокинула вторую. Опять затощило. А вот тебе, сука, терпи.

— Я это не хочу тащить все.

— Что тащить?

— Он мне напоминать будет.

— О Саше? — сочувственно спросила мать.

— Обо всем, мам! Обо всем!

— Ну а что теперь делать? Это ведь все было.

— А я, может, хочу, чтобы этого ничего со мной не было, ма-ма!

— Ну-ну... Тихо-тихо... — мать подошла, обняла ее. — Ну ты мне, мне роди, а я уж буду с ним возиться. Хочется внука потетешкать.

— Мам, ты не слышишь? Он там внутри меня сидит, меня мутит от этого.

— Слышу я все, слышу. Да ребеночек-то, он ведь не только из Саши сделан, он ведь и из тебя сделан, Ульяш, наполовину. Как же ты его... И из меня вот он тоже.

— И что? Что тут хорошего?

Она стала наливать себе третью рюмку, но мать остановила ее. Покачала головой и сказала ей:

— Ребенок тут ни при чем, Ульяна. Его-то за что наказывать?

• • •

На первое сентября Татьяну позвали в школу, куда Сашка ходил. На линейку. Сами из ниоткуда взялись, позвонили, пригласили. Сказали, мероприятие торжественное, надо нарядиться. Хотят, мол, почтить Сашкину память.

Витале она за неделю запретила пить, чтобы он к линейке хоть не такой опухший был, чтоб выглядел по-человечески. А сама пошла сделала стрижку и покрасилась еще в рыжий, вроде того, как у нее по молодости было. Потом со Светкой еще долго примеряли в магазине платья, пока не выбрали хорошее. На свадьбу она так не наряжалась, как на эту линейку. Все ж таки событие!

Витале в брюках и рубашке пошел, отгладила ему, он этих брюк с юбилея не надевал тоже. Причесала, стало вроде не стыдно. Ну вот и пошли.

Школа-то та же была, в которую раньше, до переезда на новую квартиру, и Светка ходила, и Тема. Всех учителей там знали по имени-отчеству за столько-то лет, каждому конфеты шоколадные

носили, чтобы к их обалдуям уж не так строго. А все равно — стеснительно было! То дак ведь ты матерью троечника приходишь, просить, а то дак это!

Утро было теплое, летнее почти что, даже листья еще не начали падать. Ковыляли первоклашки с букетами чуть не с себя ростом: девочки с белыми бантами, мальчики с челками, кого-то матери за руку тянули, кто-то плакал. Старшеклассники развинченные курили, матерились, целовались после расставания на каникулы. Давно ли вот и Сашка был таким старшеклассником, в десятый класс шел? А в первый? Тоже ведь вот только-только.

Директриса узнала Татьяну, сама подошла поздороваться — а раньше-то строгая какая была, подойти страшно!

— Так, здрасте. Вы у нас, — она заглянула в список, — Саши Лазаренко мама, да? Татьяна Николаевна? И Виталий...

— Геннадьевич. Лазаренки мы, да.

— Ага. Вот сюда, пожалуйста. Тут у нас все родители, у кого сыновья на СВО... Погибли. Скажете, может, слово? Про своего Сашу?

— Ох, да что я скажу-то? Ну ладно уж, скажу.

Сколько-то там еще стояло стариков разного возраста, а некоторые еще и не седые. Кто-то тут был почерневший от горя, а другие ничего, люди разные бывают. Татьяна рассчитывала, конечно, тут одна быть с Виталей, не так приглашение поняла. Но так тоже было правильно, справедливо: не у ней ведь одной Сашку убили.

Подошел какой-то мужчина в галстук, со значком «Единой России» и еще с Георгиевской ленточкой, покивал им, от горадминистрации вроде прислали.

Построили первоклашек в ряд, они стояли зашуганные, лупали своими глазищами, высматривали мамок в толпе. Открыла линейку директриса, поздравила мелюзгу с началом новой школьной жизни, сказала, что начинается новый важный этап, что

школа станет их новой большой семьей. Потом мужчина со значком выступил.

— Дорогие дети! Как вы знаете, сейчас наша страна живет в непростое время. Чтобы вы тут могли спокойно учиться, развиваться, расти, ваши отцы и старшие братья сражаются с противником в рамках специальной военной операции на Украине. Так сказать, на дальних рубежах отражают нападение врага, чтобы он не пришел к нам в дом. Чтобы вы могли спокойно сформироваться, возмужать и тоже стать защитниками нашего Отечества! И вот у нас тут присутствуют родители некоторых, как я понимаю, выпускников вашей школы. Которые пали смертью храбрых, сражаясь за нас с вами. Евгения Борисовна, — обратился он к директрисе, — прошу вас дать слово отцам и матерям этих героев.

Директриса осмотрела родителей и выбрала Татьяну с Виталей, пригласила их встать вместе с руководством перед линейкой. Они постеснялись, но вышли. Сначала слово, как мужчине, дали Витале.

— Виталий Геннадьевич Лазаренко! Отец Саши Лазаренко, который вот этим летом героически погиб... Прошу вас. Как вам удалось воспитать такого замечательного человека, такого патриота, защитника?

Татьяна сразу напряглась, встала в стойку. И не зря. Виталея передернул плечами, сначала не зная, что сказать, но потом решился.

— Ак это. Про Сашку-то. Вот был случай, он как раз еще пацаненком был, вот как тут ребяташки стоят. Помню, они у нас во дворе, вокруг гаражей в войнушку играли... — начал он.

— Уйди-ко хоть! — перебила и отодвинула его Татьяна. — Он не это хочет сказать. Он хочет сказать, что мы лично нашим Сашей очень гордимся. Что мы его таким воспитали с детства. А он всегда был очень храбрый и любил и родину свою, и семью. А мы сами очень благодарны и президенту нашему, и горадминистрации, и Минобороны вот, за поддержку. Потому что нас не

бросили. И у нас растет еще сын, а как вырастет, тоже служить пойдет, тут уже куда, потому что вот такая у нас семья. Потому что призвание всякого любого мужчины — это защищать свою родину!

Евгения Борисовна захлопала первой, потом и мужчина со значком посмотрел на Татьяну с уважением и тоже захлопал, потом все остальные учителя присоединились, а там уж и родители. И Татьяне стало так тепло, так волнительно, так хорошо, как никогда вообще, кажется, в жизни не бывало.

• • •

В Шереметьево приехали двумя машинами: Максим с Мариной отдельно, а Кирюха с Дианой на такси сами. Кирилл настоял. Хотел якобы с ней еще о чем-то поговорить, о чем-то договориться, как будто ему до этого времени не хватило. Хорошая девочка, думал Максим: и провстречались-то без году неделя, а вот, едет его в аэропорт провожать.

Приехали, а там все рейсы задерживаются — из-за украинских дронов небо закрыли. Ну что ж, поставили машину на парковку, зашли в терминал, поздоровались с Дианой, сели в кафе поодаль, чтобы не причинять молодым ненужной неловкости. У Дианы тушь потекшая была, она их стеснялась.

— Что там твоя проверка? Ничего не слышно?

— Ну все так же, Марин, со вчера ничего не поменялось.

Марина вздохнула и дотронулась пальцами до его руки. Он перехватил их, погладил. Бросил взгляд на Кирилла вскользь — тот на отца не смотрел. Они не разговаривали.

Три часа проторчали в аэропорту вот так. И «том-ям» уже поели в «Кофемании». И ассортимент книжных ларьков изучили досконально... А на табло только и писали, что «задерживается». И хотя брали пересадочный рейс с большим лагом, этого лага переставало хватать. Максим начал мандражировать, что билеты совсем пропадут.

— Ну вот не задолбали они?! — не сдержался он, в очередной раз молясь на табло.

— Кто? — спросила Марина.

— Да они, кто. Ну при чем тут гражданская-то авиация? Бейте вон по военным целям, люди-то почему должны страдать?

Она посмотрела на него, но ничего не сказала. А потом наконец сняли тревогу и пришло время прощаться. Подошел к Кирюхе, раскрыл объятия.

— Ну?

Тот покачал головой. Так Максим с распахнутыми руками и застрял. Марина пошептала сыну что-то, тот отнекивался. Ну нет так нет. Для его же блага, потом поймет. Она расцеловала Кириллу по-русски троекратно, перекрестила и вернулась к Максиму, а Диана подвела Кирюху уже к самому паспортному контролю, очередь отбыла с ним и только уже перед самой будкой отпустила после долгого поцелуя.

Черт знает, подумал Максим, а может, это настоящая история была, на всю жизнь? Каждая ведь история на всю жизнь начинается с какой-то несерьезной ерунды.

— Следующий, — гавкнула им пограничница из кабинки.

Кирилл еще раз обернулся к Марине, помахал ей: все, мол, идите уже! И отдал свой паспорт. Но Максим не хотел уходить.

И вот Кирилл стоял, что-то на пальцах Диане показывал, улыбался, шутил. Но время все шло и шло, и паспорт ему не отдавали, а на пограничной будке горела красная лампочка. Потом его подозвали к бойнице, он наклонился и стал из поклона что-то отвечать пограничнице. А ведь пограничная служба к ФСБ относится, вспомнил зачем-то Максим.

— Что она его там допрашивает? — забеспокоилась Марина.

— Марин, ну я откуда знаю? Хочешь, пойдем спросим...

Мурыжила она его там, мурыжила, прошло пять минут, шесть... А потом встала и вышла куда-то из кабинки с Кирилловым паспортом. Она была совсем пигалица еще, но форма делала ее старше.

— Здесь подождите, — неожиданно железно скомандовала она и пропала.

Кирилл растерянно огляделся, как проваливающийся под лед, который судорожно ищет, за что ухватиться; и уцепился взглядом за отца.

• • •

— Мам! Из банка звонют! — крикнула Светка.

— Поди, мошенники!

Но Татьяна все же подошла, хоть и подозревала всех, разучилась людям-то верить. А зря. Действительно звонили из банка, ничего не просили, сказали, что на счет упала сумма от Минобороны, четыре миллиона сколько-то. Татьяна опешила, стали проверять: оказывается, еще там были выплаты, о которых сразу не сказали, и вот это их родительская доля поспела, две трети.

Пока проверила, пока поверила, стала искать тот журнал, который с кирпичным коттеджем. Думала, выкинули, весь дом перерыла, в машине нашелся. Насилу отлегло.

Посмотрела цифры — вот теперь как раз хватало, если маткин дом продать. А матку кто спрашивать будет. Так что по оконцовке нормально все вышло, так-то.

ЭПИЛОГ

Тошнить больше не тошнило, зато в туалет все время бежала, Сашка на мочевого пузырь давил. Сашкой мать убедила, что надо будет назвать. Ну, Ульяна уступила, раз мать ее отговорила тогда. Для нее родит, пусть называет как хочет, своих вариантов у Ульяны не было. Будет, значит, Сан Саныч. Срок у Сан Саныча выходил под Новый год: Козерог, получается.

А сейчас вот был ноябрь. Погода паскудная стояла — мокрый снег и ветер ледяной при этом, вот никто и не шел. И вообще, видимо, кризис сказывался, денег у людей меньше стало, последний месяц совсем был дохлый, хотя при Анатолии Сергеевиче ноябрь хлебный бывал. Но главная надежда на декабрь была, на корпоративы, на елки — к елкам все сначала хотят красивыми стать, это и уход, и солярий, — а потом еще две недели в себя приходят. Там и массажик не лишний.

Кристинка сидела в своем гнездышке, на диване при входе, подобрав под себя ноги — залипала в телефоне, переписывалась с каким-то своим кавалером. Ульяна бухгалтерию сводила и живот гладила, чтобы он не пинался там, а чтобы глаза отдыхали, поглядывала время от времени на брезентовый баннер: на баннере простирались теперь сочные зеленые джунгли, среди которых затерялся древний индийский храм. Так более релаксово было.

Унылый такой буксовал вечер, но уже ничего от него ждать не стоило, досидеть бы до закрытия и домой смотаться. И тут лязгнула наверху входная дверь.

Ульяна с надеждой посмотрела вверх — и онемела.

По лестнице спускался одетый в тяжелую дубленку огромный мужчина. И хотя у него на голове шапка была — дорогая, чуть не соболья, — Ульяна его сразу опознала. Он спустился, шапку снял, сверкнул лысиной. Это тот самый был человек.

— Ну ничего ж себе! — улыбнулся он. — Закрывались же вроде. Это как так?

Кристинка уставилась на него, еле поверила, сообразила, пискнула, вцепилась в диван.

— Собственник сменился, — осторожно ответила Ульяна.

— А кто новый?

— Ну я, допустим.

Не успела просто придумать, что соврать.

— Ну, допустим...

Он отряхнул с шапки снег и водрузил ее прямо перед Ульяной на стойку. Шапка была как какое-то животное, которого на охоте застрелили. Клиент повернул к Кристинке свою блестящую кожаную башку, облюновывал ее всю глазами, как сосалку.

— На манеже все те же.

— Мы закрываемся уже, — сказала Ульянка.

— Ни хуя вы ничему не учитеесь, по ходу, — усмехнулся клиент. — Закрываются они. Не боишься накаркать, хозяйюшка?

Ульяна обмерла. Надо было срочно найти от этого человека заговор. Отвадить его отсюда раз и навсегда.

— У меня муж на СВО погиб, — сказала она.

— Соболезную. Но мы-то живы! — он выложил к Ульяне на стойку свои мясистые пятерни. — Значит, так. Пять штук вот тут. Это массаж полный всего тела. Всего. Тела. И чаевые еще десятка будет, если понравится.

— Я заяву на тебя накааю, — еще попыталась Ульяна.

— Заяву? Куда, интересно? — он осклабился.

— В ФСБ.

— Оп-па! В само аж ФСБ? Ну и что ж ты напишешь им? Про массаж? Курам на смех. Не, ну ты давай, конечно, пиши. Просто там оборот такой, что твоя заява ко мне и придет. Я рассмотрю. Слово даю.

Ульяна молчала. Не знала, что еще сказать. А больше, в принципе, тут и сказать-то было нечего.

— Так. Ладно. Что решаем? — спросил клиент.

— Я не буду, — пискнула Крис.

— Тебя-то кто тут спрашивает? Я с собственником разговариваю.

Ульяна не смотрела на Крис и на клиента не смотрела. Она изучала древний индийский храм в густых джунглях. В животе пинался Сан Саныч, ему ее тревога передалась.

— Ульян?

— Что «Ульян»? Что «Ульян»? Ты вообще ничего не соображаешь, что ли?! — крикнула на нее Ульяна.

Открыла шкаф, схватила пуховик. Накрыла ладонью пять тысяч.

— Я пойду перекурю.

— Ульян!! Это очень крысиный поступок! — заплакала Крис.

— Там погодка не ахти, — ухмыльнулся мужчина. — Можешь тут побыть, мне не мешает.

А Ульяна уже бежала вверх по лестнице, придерживая рукой живот; Крис дернулась тоже было к выходу, но клиент выбросил вперед ручищу, перехватил ее и загреб к себе. Дальше неизвестно, что было: лестница вид перекрыла.

— Ты конченная, что ли, совсем?! — пискнула напоследок невидимая Кристинка.

А потом захлопнулась железная дверь, так что и слышно уже ничего не стало. Ульяна привалилась к двери, словно оттуда еще кто-нибудь мог вырваться наружу, достала электронку и вдохну-

ла сладкий дым. Дынька. Подержала, выпустила. Пар повалил вверх. Пролетал неоновую витую надпись «СПА-САЛОН “УЛЬЯНА”» и расцвел, заразившись от нее, красным цветом.

glukhovsky.com

